

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

Д Е С Я Т Я

О К Т Я Б Р Ъ

---

М О С К В А  
4 . 9 . 3 . 1

СТАТ-формат В/5 178×250.

Уполн. Глав. 11722      Объем 13 печ. лист. по 64.000 знаков. Техн. ред. В. В. Попов. З. 1421.  
Типография им. И. И. Ожорцова-Степанова «Известий ЦИК СССР и ВЦИК», Москва.

## СОДЕРЖАНИЕ:

1. АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ. — Россия, кровью умытая, главы из романа	5
2. И. БАБЕЛЬ. — Гапа Гужва, из книги «Великая Криница» . . .	17
3. И. БАБЕЛЬ. — В подвале, из книги «История моей голубятни»	22
4. И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ. — Море, люди, дни, из книги «Поход Седова», продолжение, с иллюстрациями . . . . .	26
5. МИХАИЛ ГОЛОДНЫЙ. — Четыре стихотворения . . . . .	52
6. ЛЕВ НИКУЛИН. — Записки спутника, воспоминания, окончание	55
7. СЕМЕН ОЛЕНДЕР. — Вступление к поэме «Красная гвардия» .	89
8. НИК. ТАРУССКИЙ. — Стихотворение . . . . .	90
9. АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ. — Черное золото, роман, продолжение	91
10. П. ЖЕЛЕЗНОВ. — На курорте, стихотворение . . . . .	103
11. АЛЕКСАНДР ОЙСЛЕНДЕР. — Сквозняк, стихотворение .	104

### ЛЮДИ И ФАКТЫ.

12. ВЛАДИМИР ЮРЕЗАНСКИЙ. — Комсомольская лава, очерк	105
13. ДАНИИЛ ФИБИХ. — Бой за мясо, очерк . . . . .	111

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО.

14. ДИСКУССИЯ В ВССП	
I. Речь Л. ЛЕОНОВА . . . . .	123
II. Речь Л. СЕЙФУЛЛИНОЙ . . . . .	125
III. Речь В. ПОЛОНСКОГО . . . . .	128
IV. Речь П. СЛЕТОВА . . . . .	139
V. Речь П. ПАВЛЕНКО . . . . .	143
VI. Вторая речь В. ПОЛОНСКОГО . . . . .	147
15. ИНН. ОКСЕНОВ. — Пушкин и советская литература . . .	165
16. ИГН. ХВОЙНИК. — Мещанские тенденции в оформлении советской массовой посуды, с иллюстрациями . . . . .	169

## НАУКА И ЖИЗНЬ.

17. В. Е. ЛЬВОВ. — Альберт Эйнштейн в союзе с религией . . . 186

## ЗА РУБЕЖОМ.

18. С. ГАЛЬПЕРИН. — *Рушащиеся устои, очерки международной политики* . . . . . 198

## КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

- Т. НИКОЛАЕВА. — А. Чистяков «Боковой ход» . . . . . 205  
И. ПОСТУПАЛЬСКИЙ. — В. Цыкунов и Н. Чертова «Огненная  
земля» . . . . . 206  
Я. БУЧИЛОВ. — В. Ставский «Разбег» . . . . . 206  
Я. ФРИД. — Андрэ Жид «Путешествие по Конго» . . . . . 207  
Н. СЕДОВ. — Н. Телешев «Литературные воспоминания» . . . . . 208

# Россия, кровью умытая

Главы из романа

АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ

Над Кубанью - рекой

В России революция, по всей-то Расеюшке грозы гремят, воды шумят.

С таница уселась верхом на реку: по один бок жили казаки, по другой — мужики.

На казачьей стороне — и базар, и кино, и гимназия, и большая благолепная церковь, и сухой, высокий берег, на котором вечерами собиралась гуляющая и горлающая молодость, а по праздникам играл духовой оркестр. Чистые хаты и дома под тёсом и железом стояли строгим порядком, прячась в зелени вишневых садов и акаций.

Большая весенняя вода приходила к казакам в гости под самые окна.

Мужичья сторона водой заливалась. Кое-как, будто нехотя, огороженные камышевыми плетнями, подслеповатые саманные мазанки пятились на пригорок, уползали в степь. Летом пылица, осенью грязь коням по брюхо. Кое-где торчали чахлые деревца с оборванными на веники ветвями. И скотина мужичья была мельче, и сало на кабанах постнее, и шерсть на овцах грубее. Хлеб мужики ели простого размола, да и то многие не досыта.

Казаки почитали себя коренными жителями, на мужиков посматривали косо, редко ронялись с ними браками, чинили им всевозможные земельные утеснения и не допускали к управлению краем. Вראה велась издавна. Кладбище и то было два. Казачье — с чугунными решетками и высокими крестами, под которыми тлели кости атаманов, старшин, героев. По неогороженному мужичьему

кладбищу бродила скотина, и были на нем лишь две примечательные могилы — купца Митрясова, дикого обжоры, подавившегося на своей свадьбе говяжьей костью, да неуловимого разбойника и чертозная Фомки Кривопуза.

На крутом берегу Кубани, глазами на реку, стоял каменный дом старожилго казака Михайлы Черноярова. Славился дом крепким родом, конями, былой доблестью и богатством. Михайле перевалило за седьмой десяток, но здоровьем он обладал еще железным. Большой, черный, — лицо его было похоже на лоскут кошмы, — в старом, дозелена выгоревшем чекмене, туго перетянутый наборным поясом, спозаранок он расхаживал по двору, присматривая за работниками, снохами, внуками, всем находя дело и всех разнося за нерасторопность. В неположенное время при нем никто не смел засмеяться или сесть без разрешения. В свободный час Михайла запирался в угловой полутемной комнатке, куда бабам доступ был запрещен, и нараспев читал библию или выходил к воротам погуторить со стариками и выкурить окованную серебром трубку, в которую сразу заряжал осьмушку махорки. Русая с прочерью борода расстилалась по его могучей, как колокол, груди; из-под обкуренных дожелта усов сверкали в усмешке крупные и целые все до единого зубы; высоко поднятую голову с подрубленным в скобку волосом крыла форменная с захватанным козырьком фуражка.

Жизнь свою Михайла провел на коне. Он помнил Хивинский поход и последнюю, 1877 года, Турецкую войну, замирял непокорных горцев, был на польском восстании, служил в Петербурге, и когда, после Японской кампании, вернулся домой, его встретили бородатые сыны, подросшие внуки. Михайла пустил походного коня в войсковой табун и заделался домоседным казаком.

За окнами, под обрывом, сверкая, бежала река. Бежали годы, играя, как гребнем волны, днями печали и радостей... Умерла старуха, дочери повыходили замуж, кто куда разлетелись и сыны.

Старший, Евсей, был подсечен в Манчжурии пулей хунхуза.

Подстарший, Петро, без вести пропал на усмирении.

Третий сын, Кузьма, промотав выделенную ему долю и покинув на руки отца двух внуков, ушел к полтавскому помещику инаниматься в стражники и тоже как с камнем в воду.

У среднего, Игната, драгунский полковник сманил и увез невесту. Тихий от младости своей Игнат с великого горя ушел куда-то за Волгу в раскольничьи скиты и давным-давно не подавал о себе ни знака, ни голоса.

Сын Василий пристрастился к торговле и отбился от казачьего роду. Долгое время он барышничал лошадьми, наваривая на грош пятак, и все возил да возил в банк просаленные потом и дегтем мужицкие рублевки. Перед войною скупил на Азовском побережье несколько мелких рыбных заводов, сгрочал в городе каменный трехэтажный дом, на широкую ногу открыл торговлю, вырастил и вывел в офицеры двух сыновей. Однажды он прикатил в станицу на собственном автомобиле. Михайла запер ворота на железные болты и спустил с цепи кобелей. Разбогатевший сын покрутился под окнами отчего дома и уехал в смертельной обиде.

Отломленный кусок и надмладший сын Дмитрий. Рос он вялым и хилым, отца боялся пуще огня, пускаясь в слезы и впадая в дрожь от одного его голоса. С детства любил церковное пение, прислуживал в алтаре. Станичную школу окончил с похвальным листом, стал проситься в город. Отец призыкнул на него и целый год продержал взаперти,

приспосабливая к работе по дому. Покорный сын за все брался безоблыжно, но дело как-то не спорилось в его нежных руках. «Не выйдет из тебя ни доброго казака, ни крепкого хозяина, — сказал отец, выпроваживая его со двора. — Езжай, задохлец, учись». Пролетело время немалое, семья стала уже забывать оторвыша, но вот из столицы вернулся, отслужив срок, вахмистр Вавила Сердягин, и от него станичники узнали, что Митька Чернояров адвокатствует в Петербурге и обзавелся женой-барыней.

Младший сын Иван и нравом, и статью весь вышел в отца. Тот же крутой характер, природное удалство, любовь к движению. С юных лет он отбился от двора и вырос неграмотным. Дома жил только зимами. Каждую весну убегал в степь к чабанам или в приазовские плавни к рыбакам и лишь с первыми заморозками возвращался в станицу, обветренный и оборванный, с руками, истрескавшимися от цыпок, с рублями, звенящими в карманах холщевых штанов. В наше время ни на Кубани, ни на Тамани не осталось диких мест. Через горы и болота легли дороги, реки опоясаны мостами, распахан и затоптан каждый клочок земли, само море пятится перед человеком, и там, где еще на памяти стариков все тонуло в непролазных золотых камышах, ныне разрослись хутора, рыбацьи курени, станицы. В поисках забав Ванька забирался в такие чащобы, куда редко захаживал и заправский охотник. Путанные и неясные, как намек, тропы выводили его на подернутые дрязгом ржавые болота, на раздолье светлых лиманов. Над лиманами вились тучи чаек и бакланов, дремал камыш, шурша сухим листом. Ночевал на обсохших кочках, кормился чем придется. Годам к пятнадцати он умел вязать и насаживать сети, по звездам находил дорогу, по ветру предугадывал погоду, выслеживал кабанье гайно и, поколов поросят самодельной пикой, приносил их на рыбацкий стан. По весне, после спада воды, знал, в какое озеро и какая зашла рыба, куда сазан пошел метать икру, изучил повадки рыбы в водах проточных и стоячих, пресных и морских. С большой точностью по близким и далеким звериным крикам

определял возраст зверя, понимал язык птицы, знал, когда и какая птица живет в степи, какая в лесу. Плавал так неслышно и проворно, что ухитрялся подобраться в камышах к выводу и побивал утят палкой. Будучи уже парнем, повадился хаживать за Кубань, где, соследив волчиные и лисьи ходы, расставлял капканы на черкесской земле, что считалось у казаков особенным удалством. Там сдружился и с Шалимом, с которым после судьба крепко и надолго связала его. Стрелял он отменно, попадая пулькой в лезвие кинжала на сто шагов. Отлично работал и шашкой, на лету рассекая серебряный полтинник. Полевой и домашней работы с малодетства не признавал, зато в плясках, драках и джигитовке всегда был первым. В будни и в праздник шлялся по улице, горлая песни и сводя с ума девок. Одна ночка темная знала, откуда казак добывал деньги на гуеванье. Болтали, будто удалец водится с отпетыми конокрадами, но пойман он не был ни разу.

Война раздергала семью Черноярных.

Мобилизовали внука Илью, внука Алексея. За ними, не дожидаясь срока призыва своего года, увязался и Ванька. Михайла наложил на сыновнее решение запрет — он еще надеялся, что парень остепенится и примет на себя хоть часть забот по хозяйству.

— Батяня, благослови, — повалился Ванька отцу в ноги.

— И думать не мочи.

— Отпусти.

— Принеси-ка плеть, — загремел взбешенный его упорством старик, — отпущу тебе с полсотни горячих.

Этот последний памятный разговор происходил на базу. Сын усмехнулся и, храня видимую покорность, принес плеть.

— Ложись, сукин сын, спускай штаны.

Ванька заупрямился. Первый же удар просек ему кожу на лбу до кости. Ослепленный болью, он сшиб отца с ног и пинками покотил по базу. Старик выгнал его из дому и — самая большая обида — не дал строевого коня. Ванька наперекор отцовской воле добыл коня за Кубанью, сманил из аула своего од-

нолетка, дружка Шалима, и с казачьим эшеломом — на фронт.

Война качнула станицу, станица крякнула, расставаясь с молодежью. Не одно девичье сердце стонало голубем, надсадное рыданье жен и матерей мешалось с пьяными песнями и ревом гармошек.

А там пошли и бородачи призывных годов.

Кони понесли казаков в Персию, Галицию, под Эрзерум и с экспедиционным корпусом — через моря и океаны — в далекую Францию. Много чубатых голов раскатил ветер по одичавшим, залитыми кровью полям. Бабы слезы размывали каракули писем, присылаемых с фронта. В полутемной станичной церкви не одна трясущаяся рука ставила перед образом свечку и творила крестное знамение, вымаливая спасение родным и гибнущим.

Война пожирала людей, хлеб, скот.

С улицы словно выдуло смех и веселье. Поредели табуны коней и отары овец. Сорные травы там и сям затягивали степь, кошмой стлались поваленные осенними ветрами неубранные хлеба. Затем нежданно налетела революция и закружила, завертела станицу.

На Кубани, как и по всему лицу земли русской, новые песни принесли с собой фронтовики. В лохмотьях, во вшах и язвах они расползались по станицам и хуторам. Каждый из них, как пушка, был заряжен непримиримой злобой к старому-бывалому.

Проглянуло солнышко и на дом Черноярных.

Одним днем, ровно сговорившись, приехали сын Иван и сын Дмитрий с женой.

— Здорово, казаче, — встретил их отец.

— Здравия желаю, атаман, — устало улыбнулся Иван.

Старик расцеловался с сыновьями.

— Где Илюшку потеряли? — спросил он. — Где Алешка? Наши писали, будто его... того, да я не верю.

— Верь. Алексея под Перемышлем убили, батареец Степка Подлужный сам мне сказывал.

— Угу, пиши — пропал казак.

— Илька в плену.

— Так, так... Два брата, два мосла, а третьего собака унесла, — старик перекрестился, закусил бороду и, постояв короткую минуту в печати, повернулся к сыну Дмитрию: — Ну, а ты на войне был?

— Нет, папаша, меня освободили как слаборудого.

— Э-э, тухляй... И в кого ты, бог тебя знает, такой уродился... Позоришь наш род, племя. Я в твои годы лошадей в гору обгонял.

Дмитрий виновато опустил глаза и пробормотал:

— Я хотел... Но так вышло... Я не виноват... Теперь приехал в родные палестины отдохнуть и переждать, пока вся эта канитель кончится... Вот моя жена, Полина Сергеевна.

Михайла искоса глянул на остроносую молодую женщину, перебиравшую в руках серебряный ридикюль, и равнодушно сказал:

— Живите, куска не жалко. Около меня чужого народа сколько кормится, а ты, как-никак, нашего черноморского заводу.

Повел сыновей по двору.

Крепкая стройка, пудовые замки, псы, как львы. Пахло прелым навозом и нагретой за день сдобной землей. Под навесом, между двумя стояками, на деревянных крючьях была развешана жирно напоенная пахучим дегтем и остро сиявшая серебряным и медным набором сбруя. Всего противу прошлого поубавилось, но было еще достаточно и птицы, и скота, и хлеба. На погребе — кадки масла, тушки осетров своего засола, бочки вина своей давки, под крышей связки листового табаку и приготовленные на продажу тюки шерсти-шленки.

Старик нацедил из уемистого боченка ковш виноградного, отдающего запахом росного ладана вина и, отхлебнув, подал Ивану:

— Со свиданьем, сыны.

— Как оно, батяня, тут живете и чем дышите?

— Слава царице небесной, есть чем горло сполоснуть, есть чего и за щеку положить. Один казакою, а все тянусь, наживаю. Суета сует и томление духа, как сказал пророк. Гол человек приходит на землю, гол и уходит. Вы, сукины коты, на мою могилу и плюнуть ни

разу не придете. Из меня — душа, из вас — добры дни. Все до последнего подковного гвоздя без меня спустите, без штанов пойдете с отцова двора. Помните мое слово.

— Напрасно вы, папаша, так, — встрепенулся Дмитрий. — Я в Петербурге большие деньги зарабатывал. Имел свой выезд, свою дачу, дом собирався купить... Какое однако холодное вино — зубы ломит.

— Дача, выезд, миллионщик... А с поезда чемодан на горбу приволок.

— Что делать? Все отобрали. В пути остатки дограбили. Вы, тут сидя, и представить не можете, какой ералаш творится в столице, в городах и по дорогам. Сам не чаял живым выбраться.

— Тюря. Да я бы...

— Хитро жизнь повернулась, — весело сказал Иван. — Кто был чин, тот стал ничем.

Старик нацедил еще ковш и выпил, не отрываясь:

— Дисциплину распустили, оттого и бунт на Руси. Духу глупого развелось много. У нас, бывало, вахмистры представляли атаману ежемесячные реестры об образе мыслей каждого казака, и все было, слава богу, тихо... Дали бы мне казачий полк старого состава, живо бы усмирил мятеж на всей Кубани. Я бы им раздоказал.

Дмитрий замахал руками:

— Ай-яй-яй, да вы, папаша, — старорежимник... Так нельзя. Революция, если она не выливается из берегов благоразумия, крайне необходима для нашей темной Расеюшки. В Европе еще в прошлом веке происходило нечто подобное. Французы своему королю даже голову отрубили.

— Бунты у нехристей нас не касаются. Всяк по-своему с ума сходит: китайцы вон мышей, лягушек и всякую нечисть жрут, калмыки и падалью не брезгают. Да. Кубанское войско недаром когда-то песню певало: «Наша мать-Расея — всему миру голова». Все у нас должны жить под страхом. — Старик разгладил усы и заскорузыл пальцем погрозил невидимому врагу. — Дали бы мне регулярный казачий полк, м-м-м, зубом бы натянул, а свел бы с Кубани крамолу, только бы из них пух бы полетел. Потом выставил бы казакам



богатое угощение, те перепились бы на славу, тем бы и все кончилось. Ну, рассказывай, Ванька, об усердии по службе и об успехах по фронту.

За храбрость и сметку Ивана не раз представляли к наградам, но кресты и медали не держались на его груди. Парень он был огневой и дикий: то шутку какую выкинет, то начальству согрубит, — награды у него отбирали, из чина урядника и подхорунжего снова разжаловывали в рядовые. Однажды за неплату карточного проигрыша Иван в кровь избил своего сотника. «За оскорбление офицера действием» он попал под военно-полевой суд. Ему грозил расстрел. Революция распахнула перед ним ворота тюрьмы.

— Как же это вы немцам поддались? — допрашивал отец. — Опозорили седую славу дедов.

— Мы—немцам, вы—японцам, что о пустом говорить? Немцы нам глаза протерли, на разум дураков наставили. Царский корень, батяня, сгнил. Пришло время перепакивать Россию наново, пришло время ломать старую жизнь.

— Палку на вас хорошую.

— На драку много ума не надо.

— Чем же тебе, сынок, старые порядки не по нраву пришлись? Или ты нагбос ходил, или тебя кто куском обделял? Засучивайте рукава, приступайте к хозяйству. Умру — ничего с собой не возьму, все вам оставлю. Дом — полная чаша. Вам только придумать, заживете, как мыши в коробе.

— Богатства нам не наживать, мы враги богатства, — глухо сказал Иван. — Нас фронт изломал. Три года не три дня. Малодушные устали, да и крепким надоело. И во сне снится — вот летит аэроплан или снаряд, вскакиваешь и кричишь.

— На фронт тебя ни государь, ни я не посылали — сам пошел.

— Мне хоть и надоело, а с буржуями еще бы годик повоевал. Корниловы-Керенские: всех их на один крючок. Через ихние погонны и золото слезы льются. Новую войну надо ждать, батяня.

— Чего мелешь? Какая война и с кем?

— Направо-налево война. Тут тебе генералы, тут ученые, тут мужики... На-

гляделся я на казанские-рязанские деревни: плохо живут — теснота, духота. Он хоть и мужик, — кругом брюхо, — а есть пить все равно хочет. И иногородний крикнет: «Твое — мое, дай сюда».

— Дело не наше. Земля казачья, и права казачьи, а мужиков гнать отсюда в три шеи. Пускай идут с помещиками воюют, там угодий много. У них в России лес, мы за ним не тянемся. В Сибири золото, и золота нам не надо. Чиновники и мастеровщина жалованье получают, нам до того тоже дела нет. Мы тут с искони веков на корню сидим. Отцы и деды наши кровью завоевали эти земли, и мы никому их не отдадим.

— Горцы?

— Азиятцев загнать к чорту еще дальше в горы. Не давать им, супостатам, из Кубани и воды напиться.

— Тому не бывать, батяня.

— Думай всяк про себя, всех не жалеешься. Да что там много говорить, мы не спим, дело уже делается.

— Дело делается, да не пришлось бы его передыловать...

— Замолчи, брательник, ты ничего не смыслишь, — зашумел расхрабренный от вина Дмитрий. — Извини меня, Ваня, но ты еще молод. Ты не понимаешь всего величия и размаха казачьей души. Не подумай, что я барин... Старые сказания, песни, славная история казачества... Как это поется: «Садись, братцы, в легки лодочки; на носу ставь, братцы, по пушечке». В Петербурге у меня остались редчайшие книги о казачестве, вот тебе бы почитать... Смешно вспомнить, однажды я одел черкеску и так в черкеске прошел по всему Невскому проспекту...

— Нам надо жить так, как живет весь простой народ, — сказал Иван, обращаясь к отцу. — А вы, старые крычи...

— Ванька, не забывай бога и совесть. Держи руки по швам и не смей рассуждать, что тебе мило, что немило. Башку раскрою за твое грубиянство.

— Зачем соориться, — встал меж ними Дмитрий. — Мы так давно не видались. Пойдемте в хату, пора ужинать. И потекли размеренные дни.

Михайла не верил чужому глазу и порядок в доме вел сам. Подымался ни

свет, ни заря, шел по двору в первый обход, — заглядывал на баз, сажал на цепь кобелей Султана и Обругая, будил работников.

Казачки будто за делом забегали к Чернояровым, во все глаза рассматривали петербургскую барыню и поголовно оставались недовольны ею: и тоща-то она, ровно ее кто и спереди и сзади лопатой хватил, и шляпка смешная, и ноги тонки, ровно у козы.

Дмитрия осаждали мужики.

— Скажите вы нам, Дмитрий Михайлович, вы человек ученый, все законы наперекрест знаете, как оно будет? Сеяли мы с зятем Денисом тридцать десятин...

— Знаю, знаю... Ты уже сто раз рассказывал... Необходимо сперва устроить всю Россию, а потом можно говорить о твоих тридцати десятинах. Учредительное собрание, которое...

— Да как же оно так? На што она мне сдалась, Расея? Дочке чоботы новые я купил? Купил. Воз хлеба под крещенье ссыпал? Ссыпал. А теперь тот зять Денис мне и говорит: «Я тебе, такой-сякой, глаза повыбиваю». Это справедливо?

— Ты пойми, дядя Федор, я говорю тебе как адвокат. Земельные споры не могут быть решены ни нами с тобой, ни нашим станичным обществом. Учредительное собрание или наша кубанская Рада прикажут делить землю всем поровну — делать нечего, мы, казаки, подчинимся...

— А ежели не прикажут?

— Там видно будет.

— Да чего ж там видеть? Все делается с мошенской целью...

— Ну, с тобой, я вижу, не сговоришься. У меня даже голова разболелась. Приходи завтра, напишу жалобу атаману на зятя Дениса.

Дмитрий с женой уходили в степь.

Через всю станицу их провожали мальчишки. Как бесноватые, они свистали и вопили:

— Барин, барин, дай копейку.

— Барыня, барыня, строганы голяшки...

Мертва лежала степь, исхлестанная дорогами, в лощинах и на межах еще держались снега, но солнце уже набира-

ло силу, пригорки затягивало первым, остро пахнущим полынком. Тростью Дмитрий обивал почерневшие, прошлогодние дудки подсолнухов и шумно радовался.

— Простор! Красота! Степь, степь... Она помнит звон половецких мечей и походы казачьих рыцарей. Вон Пьяный курган: лет пятьдесят назад казаки сторожевого поста в троицын день перепились и были поголовно вырезаны черкесами... Сколько забытых легенд и славных былей... Да, не раз казачество спасало Русь от кочевников и ляха, ныне спасет ее от хама и большевика. Дух предков жив в нас, и, если будет нужно, мы все от мала до стара возьмемся за оружие...

— Ну, нет, — целовала его Полина Сергеевна в щеку, — под пули я тебя не отпущу. Ты должен беречь себя.

Иван нигде не находил себе места. Ничто не веселило его, и в своем доме он чувствовал себя как чужой. По вечерам встречался в садах с писаревой дочкой Маринкой и жаловался:

— Скушно мне, Маринуцка.

— Тю, дурной. С чего ж тебе скушно?

— А не знаю.

— Пойди до лекаря, он тебе порошок даст от скуки, — она смеялась, ровно цветы сыщала. Прыгала круглая — кольцом — бровь, во всю щеку играл смуглый румянец, икрыная была девка.

Было время, когда Иван бежал к ней на свиданку и от радости уши у себя видел, но теперь все было немилостиво.

— Воевать я привык, а у вас тут такая тишина...

— Ах, Ваня, какой ты беспокойник. С одной войны возвратился, о другой думаешь. Ни письмеца мне с фронта не прислал, звать, забыл совсем... Коли не любя, скажи прямо, я сама не погонюсь.

— Люба, — тянулся к ней Иван и со злостью щипал крепкую грудь.

Она взвизгивала, била его по рукам платком с семечками и шипела:

— Не лапай, не купишь.

— Зачем молодость под юбкой носишь? Засохнет, как мочалка.

— Я дочь хорошего отца-матери и до поры ограбить себя не дам. Коли лю-

бишь, выбрось затеи из головы, засылай сватов, — в темноте поблескивали ее соколиные очи, и, точно в ознобе поводя крутым плечом, она еле слышно договаривала. — Все твое будет.

— Ведьма.

Маринка выскальзывала из его объятий и, смеясь, убегала. Иван, матерясь на чем свет стоит, брел в шинок.

Дома встречал отец:

— Где шатался, непутевая головушка?..

— Собак гонял.

— Не наводи на грех. Пьешь?

— Али у меня рта нет? Пью. Али мне у тебя еще увольнительную записку просить? На службе надоело...

Старик оглаживал бороду и вздыхал:

— Женить тебя, Ванька, надо.

— Не хочу, батяня. От бабы порча нашему молодечеству. Казачество есть мой дом и моя семья.

— Золотое твое слово, сынок... А чего ты, я приметил, беса тешишь — дба не крестишь, в церковь ни разу не сходил?

Иван молчал.

— У-у, супостат... И как тебя земля носит? В библии, в Книге царств, о таком олухе, как ты, сказано...

— Что мне библия? Нельзя по одной книге тысячу лет жить, полевой устав и то меняется.

— Язык тебе вырвать с корнем за такие слова... Погоди, господь батюшка тебя когда-нибудь клюнет за непочитание родителя.

— Ну, батяня, будет он в наши с тобой дела путаться? Как первый раз сходил в атаку, так и отпал от веры. Первая атака... И сейчас кровь в глазах стоит. Ни в чох, ни в мох, ни в птичий грай больше не верю. Ничего и никого не боюсь. Душа во мне окаменела.

— И мы в походах бывали да страху божьего не теряли... Всему верить нехорошо, а не верить ничему еще хуже. — И долго еще старик скрипел, как сухое дерево на ветру.

На гулянках холостежи Иван целыми вечерами молча сидел где-нибудь в темном углу и посасывал трубку. Все, над чем смеялись парубки и девчата, казалось ему не смешным, а бесконечные разговоры мужиков о хозяйстве, о земле нагоняли на него смертную скуку.

Однажды Шалим привез на базар

убитого в кубанских плавнях дикого кабана. Отбазарив, он завернул к Чернояровым и через работника, калмыка Чульчу, вызвал Ивана.

Они отправились в шинок.

— Рассказывай, кунак, как живешь?

— Хах, Ванушка, сапсем палхой дела. Сакля старий, дождь мимо криши тикот. Отец старий, ни один зуб нет. Лошадь старий, тюх-тюх. Барашка нет, хлеп нет, сир нет, ничего нет. Отец глупий ругаит: «Шалим, ишак, тащи дрова. Шалим, ишак, тащи вода».

Ваньку корежило от смеха.

Шалим долго сетовал на свою судьбу и все уговаривал дружка бежать в горы. Худое, чугунной черноты лицо его дышло молодой отвагой, движения были остры, взгляд быстрый и тверд. В длиннополой фронтальной шинели и в тяжелых солдатских сапогах он путался, как горячий конь в коротких оглоблях. Перегнувшись через стол и сверкая белыми, как намытыми, зубами, лил горячий шопот, мешая русскую речь с родными словами:

— В ауле Габукай живет мой кровник Сайда Мусаев, — будем кишки резить! Янасына, воллаги... На речке Шебша живет кабардинский князь, богати-богатий, — будем жилы дергать! Биллаги, такой твой мат! Хах, Ванушка, наша будет разбойника, нас не будет поймал, нас будет все боялся...

Иван тянул рисовую водку, усмешка плескалась в его затуманенных хмелем глазах... Слушал и не слушал азията, был доверху налит своими думками, а думки эти в зареве пожаров, в трескоте выстрелов мчали его на Дон, Украину, от села к селу и от хутора к хутору... Как сквозь сон дорогой виделись ему степные просторы, взлески выстрелов, сверканье гинжалов, слышались яростные крики, и рожки горнистов, и грохот скачущих телег, и топот коней, и тугой свист шашки над головой...

Он схватил руку Шалима:

— Друг!

— Ходым?

— Ах, друг, мне тут тоже не житье. Такая скука — скулы ломит. Надо уходить...

Они поменялись кинжалами. В шинке просидели допоздна и на улицу вышли в обнимку с песней.

Вернулся домой Максим Кужель.

Марфа — босая, с подоткнутым подолом: полы мыла — выбежала во двор и бросилась ему на шею: сама плачет, сама смеется.

Максим целовал ее и не мог нацеловаться.

— Рада?

— Так-то ли, Максимушка, рада, ровно небо растворилось надо мной и на меня оттуда будто упало чего.

Вытопила баню, обрала с него грязь и, расчесывая свалянные волосы, все ахала:

— Батюшки, вши-то у тебя в голове, как волки... А худющий-то какой стал, мослы торчат...

— Злое зло меня иссосало.

В хате стоял крепкий дух горячего хлеба. Выскобленный и затертый, точно восковой, стол был заставлен домашней снедью, сиял начищенный до жару самовар.

— Садись, Максимушка, поди настоялся на службе-то царской.

Дверь скрипела на петлях — заходили сродники и так просто знакомые, спрашивали про службу, про революцию. Иные, поздоровавшись, извлекали из карманов кожухов бутылки с мутной самогонкой и ставили на стол. Забегали и солдатки:

— С радостью тебя, Марфинька.

И не одна украдкой смахивала слезу:

— Моего-то там не видал?

— Затевай пироги, скоро вернется. Война, будь она проклята, поломалась. Фронт рухнул.

В чистой, с расстегнутым воротом рубахе, досиза выбритый, Максим сидел в переднем углу и пил чай. Про войну он говорил с неохотой, про революцию с азартом. Тыча короткими пальцами в вытертый по складкам номер большевистской газеты, разъяснял — кто, за что, с кем и как.

Марфа с него глаз не спускала.

— В станице власть ревкома или власть старого казачьего правления? — спросил Максим.

— А не знаю, — улыбнулась Марфа, — говорили чего-то на собрании, да я, пока до дому шла, все забыла.

— Эх, ты, голова с гущей, — засмеялся Максим и близко заглянул в ее сияющие глаза.

— У нас по-старому атаман атаманит, — сказал кум Микола. — В правлении у них до сей поры портрет государя висит.

— Чего же народ глядит?

— Боятся. Известно, народ мученый, запуганный. Кто и рад свободе, да помалкивает, кто обратно ждет императора, а многие томятся ожиданием чего-то такого...

— Воскресу им не будет.

— Бог не без милости, — согласился кум Микола и оглянулся на станичников.

— Я так смекаю, мужики, ежели оно разобраться пристально, власть, она нам и ни к чему. Бог с ней, с властью, нам бы землицы. Скоро пахать время, а земли нет. Похоже, опять придется шапку ломать перед казаками?

— Не робей, кум, не придется, — с твердостью сказал Максим. — Али они — сыны земли, а мы — пасынки? Работаем на ней, а она не наша? Ходим по ней, а она не наша?

— Ты, Максим Ларионыч, с такими словами полегче, а то они, звери, и сожрать тебя могут.

— У них еще в носу не свистело, чтоб меня сожрать. Это раньше мы были, как Иисус христос, не наспиртованы, а теперь, испытав на позиции то, чего и грешники в аду не испытывают, теперь нам ничего не страшно. И в огонь пойдем, и в воду пойдем, а от своего не отступимся.

Наконец гости провалились.

Марфа кинула крепкие руки на плечи мужу и с пристонем выдохнула:

— Заждалась я тебя...

— Ы-ы, у меня у самого сердце, как золой переело, — он лепил ей в сухие истрескавшиеся губы поцелуй за поцелуем.

Она задула лампу и, ровно пьяная, натыкаясь на стулья, пошла разбирать постель.

...Максим пересыпал в руке ее разметанные, густые волосы и выспрашивал о житье-бытье.

— Жила, слезами сыта была... В степь сама, по воду сама, за камышом сама, тут домашность, тут корова ревет — ногу на борону сбрушила, дите помирает... Кругом одна. Подавилась горем.



«Купи, говорят, бутылку самогонки, а то з-з-з-зарезем». И ко мне с кинжалами. Ну, к-к-купил. П-п-провались в тар-тарары такая жизнь.

— Всякая кокарда с двухглавым орлом будет над тобой измываться... Взял бы грязное метло...

— О-б-б-обидно.

— Не дают нам вверх глядеть.

— Страдаешь за то, что живешь.

В кругу тесно сгрудившихся слушателей Максим громко читал истрепанный номер большевистской газеты, с которым не расставался уже с месяц. Почти все статьи он знал наизусть. Бегло читал по листу и, где было нужно, добавлял перцу от себя, так что получалось здорово.

Сдержанные голоса и шопот:

— Вот то ж большевики, сукины дети, каждым словом по буржуйам и по генералам бьют.

— Раз-раз—и в дамки.

— Шпиёны...

— То, дядька, брехня.

— Знаменитая газетка, она раздерет глаза темному народу... Слушаю, и злоба во мне по всем жилам течет... Эх ты, власть богачей золотого мира, и до чего ж ты нашу государству довела?

— Тише, Егор, не мешай слушать.

На плечо Максима с размаху упала тяжелая рука старого казака Леонтия Шакунова:

— Стой, солдат.

Максим обернулся и стряхнул с плеча руку:

— Стою, хоть дой.

— Как ты, суконное рыло, смеешь народ возмущать?

— А какая твоя, старик, забота? Ты что, начальник надо мной или старый полицейский?

— Га-га-га, — загремели многие глотки.

— Не пяль хайло и грубить мне не моги. Я есть полный кавалер, в трех походах бывал.

— Проснись, кавалер, открой свои глаза: свобода слова. Кругом имею право говорить, кругом—требовать.

Шакунов вытянул кадыкастую шею, взглядом выискивая в толпе казаков, потом откашлялся и, грозя седую бровью, заговорил:

— Чего вы, едрёна-зелёна, уши раз-

весили, всякую хреновину слушаете да еще и зубы скалите? Газетину эту надо арестовать, а солдата выпороть и выгнать из станицы к чортовому батьке...

— Не круто ли, дед, солишь?

— Послушайте, господа станичники, меня старого. Мне жить осталось недолго, врать грех, врать не буду. Кто такие большевики и красногвардейцы? То не бывалашная гвардия, в которую шли служить лучшие, отборные люди, как наши лейб-казаки. То — голодранцы, жулье, босая команда, золотая рота, отродье вечного похмелья. Ни дома, ни хозяйства у них нет и никогда не было. Дела никакого не знают. Говорят с ругней, едят и пьют с ругней. С Дону казаки их пугнули, и наша рада своих из Екатеринодара пугнула. Вот они и бродят по Кубани шайками, как волки, вынюхивают, где бараниной пахнет. Чего добудут, то и пропьют, прогуляют али на папироски растратят. Хай-май, ничего им не жалко. Нынче тут, завтра, бес знат, где. У вас и хаты, и кони, и коровы, и кабаны, и плуги, а, может, у кого и косилка с жнейкой. Так что ж, господа станичники, пустим большевиков на дворы, в хаты да и скажем: «Берите наше нажитое, спите с нашими женками?..»

— Слушаю я тебя, Леонтий Федорович, и диву даюсь,—перебил его седоусый вахмистр Луговый. — «Кони да коровы, кабаны да тягалки, кисель и сметана...» Как у тебя бесстыжие глаза не полопаются? Как ты ухитришься всех на свой салтык мерять? Я — казак, ты — казак. У тебя один сын в Армавире писарем служит, другой при генерале холуем, а мои соколы с первого шагу войны за Расею бьются и груди свои молодецкие крестами да медалями изувешали.—Грязной тряпичей он отер слезящиеся глаза и вскрипнул.—У тебя посеву четыреста десятин, трех годовых работников содержишь, а мне 65 годиков стукнуло, просятся старые кости на покой, ан нет: сам над своим наделом горб гну... Изпод ногтей пшеница растет. — Он поднял задубевшие от работы руки и показал их всем, потом чиркнул спичку о корявую ладонь: спичка вспыхнула. — Это ты можешь понять?

— Тут и понимать нечего... Ты, Лу-

говый, хоть и вахмистр, а на все стороны дурак. Ни одному ли мы государю служили и не одинаковыми ли пользовались правами? Кто тебе наживать не велел? Пьянствовать надо было полегче да слушать тех, кто старше тебя чином.

— Служба царская до богатства меня не допускала. Сам двенадцать годов на сверхсрочной отрубил, а сыны тут до самой женитьбы из ярма не вылазили, на таких, как ты, батрачили. Сам отслужился, деток стал на действительную собирать. Выставил трех строевых коней, справил три полных комплекта амуниции и закашлял, и до сего дня кашляю. Нынче сыт, а завтра, может быть, придется с сумкой на паперть идти? Каково это на старости лет?

— Ну, мой двор стороной обходи. Лучше кобелю кусок брошу, он хоть тварь и бессловесная, спасибо не скажет, а хвостом повилает. Через вас, таких дуруломов, и на нас такая туга пришла...

Луговой еще что-то хотел сказать, но побелевшие губы его задрожали, он наюнул и, повернувшись, ушел.

— Батюшка нынче в проповеди справедливо разъяснил: «Трусые и мятежи, и кровопролитные брани... На крови Кубань зачалась, на крови и скончается».

— Надо спасать революцию, а не Кубань. Останется жива революция, цела будет и Кубань.

— Ох, эта ваша революция... Переобует она казаков из сапог в лапти.

— Да, пойдет теперь кто туда, кто сюда... Сто лет будем враждовать и не разберемся.

— Не правда, — сказал Максим и снова развернул газету, — разберемся. Мы стали не такими темными, какими были в четырнадцатом году. Можем разобраться, где квас, где сусло, кто говорит красно да мыслит черно...

Шакунов покосился на газету:

— Ты, солдат, ее спрячь и сегодня же представь атаману на рассмотрение. Нас, казаков, не переконовалишь на мужичий лад. На каждое твое слово у меня десять найдется. Мой сказ короткий: шашка — казачья программа. Кулак мой — вам хозяин. Вот он, не моченый, десять фунтов, — он воздел

волосатый кулак и покрутил им над толпой.

Гвардеец Серега Остроухов, недавно вернувшийся из Финляндии, протискался к нему и сверкнул глазами:

— Ты, Леонтий Федорович, сперва руки отмой после 905 года... Твои руки в крови...

— Цыц, сукин сын! Всех вас разбойников лишим казачьего звания и наделов. Не допустим порушить порядок, который наши отцы и деды ставили. Не видать вам нашего покору, как свинье неба.

Остроухов схватил его за горло:

— Зараз глотку перерву...

Зашумели было, зарычали, но в эту минуту из правления на крыльцо в сопровождении станичного атамана и стариков вышел одетый в синюю черкеску гвардейского сукна Бантыш.

Площадь притихла.

Бантыш снял косматую папаху, поклонился и осипшим от многих речей голосом крикнул:

— Здорово, господа станичники!

Толпа качнулась и недружно в разноробой ответила:

— Здравия желаем, ва-ва-ва...

— Гляди, какой бравый?

— Орел.

— Он человек проезжий, стравил нас да и дальше, а нам расхлебывать.

— Этот наговорит... Одному такому же усачу мы на киевском вокзале добре мускулаправили.

— Тише вы, горлохваты, слушайте оратора. Никакого соображения в людях нет. Ведь это вам ни тюха--митюха и ни кляп собачий, а его высокоблагородие господин полковник.

Бантыш по-атамански отставил ногу и заговорил:

— Достохвальные казаки! Настало время сказать: то ли мы будем служить панихиду по казачеству, то ли все, как один, гаркнем: «Есть еще порох в пороховницах!» Был один Распутин и то сколько горя причинил, а ныне вся Россия распутничает, и ее ж сыны продают ее направо-налево: грабежи, убийства, партийная борьба, святых церквей разорение. Россия поскользнулась в крови и упала, пусть сама подымается, мы ее не толкали. Нам, кубанцам,

потомкам славных запорожцев, надо подумать, как бы утвердить добрый порядок у себя дома. В Екатеринодаре заседает наша войсковая рада. Есть у нас, слава богу, и свое казачье войско. Будет и казна своя и законы... Кубань сама себе барыня...

— Так, так, справедливо...—трясли бородами старики, а в дальних углах площади уже снова разгорались споры.

Фронтоник Васянин — глаза блестят, руками машет—кричал громко, ровно его окружали глухие:

— Тут тебе земля дворянская, тут—монастырская, тут—войсковая, а где ж наша, мужичья?

— Ваша в Рязанской губернии, там вам пуп резан, туда и валите новые порядки наводить.

— Я четыре раза ранен...

— Дураков и в церкви бьют.

— По-моему, надо порешить нам, фронтоникам, общим голосом — разделить пай по всем живым душам и греха больше не будет.

— Меня, друг, с мужиком, с бабой да с малым дитём на равняй... Мы за Кубань кровью своей разливались, костями своими ее сеяли. У нас на кладбище одни женки да матери лежат, а казаки — кто на Кавказе сгинул, кто в чужих землях утратился. Мы службой обязаны.

— И мы службой обязаны.

— Погоди, кривой, дотявкаешься.

— Не грози...

— И другой глаз тебе надо выхлестнуть.

— Ты мне глаза не выковыривай, хочу дожить и посмотреть на погибель таких барбосов, как ты.

— Не доживешь.

— Доживу.

— Не доживешь.

— Доживу!

Казак кулаком опрокинул кривого и начал топтать его. Более спокойные растащили и развели драчунов.

Около правления, по предложению Бантыша, довыбирали члена рады. Дмитрий Черноярлов, как того требовал обычай, отбрыкивался:

— Увольте, господа старики. Вы ме-

ня не знаете, не знаете, куда я вас поведу? Выбирайте коренного станичника.

— Мы тебя знаем, и батька, и дед твоего знаем, послужи.

— Не могу.

— Послужи, Дмитрий Михайлович.

А недалеко молодой казак стоял ногами на седле и, картинно скрестив на груди руки, говорил речь:

— ...Мы не против рады, но и с большевиками драться не хотим. Пускай рада сама себя защищает. Господа казаки, которые фронтоники! Пора нам опаматоваться, куда мы идем и за кем? Кресты и медали, награды и золотые грамоты, что нам, дуракам, навертывали на шею, тяжелее камней... Валили они нас царю под ноги...

— Не к делу, не к делу...

— Безотцовщина.

— Геть, чертяка!

— Остро говорит. Чей таков?

— Ванька Черноярлов.

— Эге... Так и печет им в глаза, так и печет. Ну, и бедовый, пес.

— ...Старики, до кой поры вы будете нас уговаривать и осаживать? Вы, верные слуги его императорского величества царя Палкина, привыкли протягивать руки за полтинниками, вам и жалко расставаться со старым режимом. Мы, ваши сыны и внуки, воевали, а вы на печках снохам фокусы показывали и блаженствовали?.. Через золотые погоны у меня сердце наядрило, как чирий! Не забудем, как они, эти полковники да генералы, над нами издевались! Сгорите вы вместе с ними! Долой! Долой! Долой!

— Геть.

— Плетей ему!

— Арестовать!

— Ура-а. Вра-а-а...

— Приступи! Хватай его!

Над головами стариков заколыхался целый лес палок.

Ванька пал на седло,

гикнул

и, сшибая

конем неувертливых, прорвался в улицу, поскакал в аул к Шалиму, только пыль завилась.

(Продолжение следует)



# Гапа Гужва

(Первая глава из книги „Великая Криница“)

И. БАБЕЛЬ

На масляной тридцатого года в Великой Кринице сыграли шесть свадеб. Их отгуляли с буйством, какого давно не было. Обычаи старины возродились. Один сват, захмелев, сунулся пробовать невесту — порядок этот лет двадцать как был оставлен в Великой Кринице. Сват успел размотать кушак и бросил его на землю. Пневста, ослабев от смеха, трясла старика за бороду. Он наступал на нее грудью, гоготал и топал сапожниками. Старика, впрочем, не из чего было тревожиться. Из шести моняк, поднятых над хатами, только две были смочены брачной кровью, остальным невестам досвитки не прошли даром. Одну моняку достал красноармеец, приехавший на побывку, за другой полезла Гапа Гужва. Колотя мужчин по головам — она вскочила на крышу и стала взбираться по шесту. Он гнулся и качался под тяжестью ее тела. Гапа сорвала красную тряпку и сехала вниз по шесту. На изгорбине крыши стояли стол и табурет, а на столе пол-литра и нарезано кусками холодное мясо. Гапа опрокинула бутылку себе в рот; свободной рукой она размахивала монякой. Внизу гремела и плясала толпа. Стул скользил под Гапой, трещал и разезжался. Березанские чабаны, гнавшие в Киев волов, воззрились на бабу, пившую водку в высоте, под самым небом.

— Разве то баба, — ответили им сваты, — это чорт, вдова наша...

Гапа швыряла с крыши хлеб, прутья, тарелки. Допив водку, она разбила бутылку об выступ трубы. Мужики, собравшиеся внизу, ответили ей ревом. Вдова прыгнула на землю, отвязала драмашую у тына кобылу с мохнатым

брюхом и поскакала за вином. Она вернулась, обложенная фляжками, как черкес патронами. Кобыла, тяжело дыша, запрокидывала морду; жеребий ее живот западал и раздувался, в глазах тряслось лошадиное безумие.

Плясали на свадьбах с платочками, опутив глаза и топчась на месте. Одна Гапа разлеталась по-городскому. Она плясала в паре с любовником своим Гришкой Савченко. Они схватывались, словно в бою; в упрямой злобе обрывали друг другу плечи; как подшибленные падали они на землю, выбивая дробь сапогами.

Шел третий день великокриницких свадеб. Дружки, обмазавшись сажей и вывернув тулупы, колотили в заслонки и бегали по селу. На улице зажглись костры. Через них прыгали люди с нарисованными рогами. Лошадей запрягли в лохани; они бились по кочкам и неслись через огонь. Мужики упали, сраженные сном. Хозяйки выбрасывали на задворки битую посуду. Новобрачные, помыв ноги, взошли на высокие постели и только Гапа доплясывала одна в пустом сарае. Она кружилась, простоволосая, с багром в руках. Дубина ее, обмазанная дегтем, обрушивалась на стены. Удары сотрясали строение и оставляли черные, липкие раны.

— Мы смертельные, — шептала Гапа, ворочая багром.

Солома и доски сыпались на женщину, стены рушились. Она плясала, простоволосая, среди развалин, в грохоте и пыли рассыпающихся плетней, летящей трухи и переламывающихся досок. В обломках вертелись, отбивая такт, ее сапожки с красными отворотами.

Спускалась ночь. В оттаявших ямах угасали костры. Сарай взъерошенной грудой лежал на пригорке. Через дорогу в сельраде зачал рваный огонек. Гапа отшвырнула от себя багор и побежала по улице.

— Ивашко, — закричала она, врываясь в сельраду, — ходим гулять с нами, пропивать нашу жизнь...

Ивашко был уполномоченный рика по коллективизации. Два месяца прошло с тех пор, как начался разговор его с Великой Криницей. Положив на стол руки, Ивашко сидел перед мятой, обкусанной грудой бумаг. Кожа его возле висков сморщилась, зрачки больной кошки висели в глазницах. Над ними торчали розовые голые дуги.

— Не брезговай нашим крестьянством, — закричала Гапа и топнула ногой.

— Я не брезговаю, — уныло сказал Ивашко, — только мне нетактично с вами гулять.

Притоптывая и разводя руками, Гапа прошла перед ним.

— Ходи с нами каравай делить, — сказала баба, — все твои будем, представник, только завтра, не сегодня...

Ивашко покачал головой.

— Мне нетактично с вами каравай делить, — сказал он, — разве ж вы люди?.. Вы ж на собак гавкаете, я от вас восемь кил весу потерял...

Он пожевал губами и прикрыл веки. Руки его протянулись, нашарили на столе холстинный портфель. Он встал, качнулся грудью вперед и, словно во сне, волоча ноги, пошел к выходу.

— Этот гражданин — чистое золото, — сказал ему вслед секретарь Харченко, — большую совесть в себе имеет, но только Великая Криница слишком грубо с ним обратилась...

Над прыщами и пуговкой носа у Харченки был выделан пепельный холчок. Он читал газету, задрав ноги на скамью.

— Дождутся люди вороньковского судьи, — сказал Харченко, переворачивая газетный лист, — тогда вспомнят.

Гапа вывернула из-под юбки кошель с подсолнухами.

— Почему ты должность свою помнишь, секретарь, — сказала баба, — почему ты смерти боишься?.. Когда это

было, чтобы мужик помирать отказывался?..

На улице, вокруг колокольни, кипело черное вспухшее небо, мокрые хаты выгнулись и сползли. Над ними трудно высекались звезды, ветер стлался по низу.

В сенях своей хаты Гапа услышала мерное бормотанье, чужой осипший голос. Странница, забредшая ночевать, подогнув под себя ноги, сидела на печи. Малиновые нити лампад оплетали угол. В прибранной хате развешана была тишина; спиртным, яблочным духом несло от стен и простенков. Большегубые дочери Гапы, задрав снизу головы, уставились на побирушку. Девушки поросли коротким, конским волосом, губы их были вывернуты, узкие лбы светились жирно и мертво.

— Бреши, бабуся Рахивна, — сказала Гапа и прислонилась к стене, — я тому охотница, когда брешут...

Под потолком Рахивна заплетала себе косицы рядками накладывала на маленькую голову. У края печи расставились вымытые изуродованные ее ступни.

— Три патриарха рахуются в свете, — сказала старуха, мятое ее лицо поникло, — московского патриарха заточила наша держава, иерусалимский живет у турок, всем христианством владеет антиохийский патриарх... Он выслал на Украину сорок грецких попов, чтоб проклясть церкви, где держава сняла дзвоны... Грецкие попы пошли Холодный Яр, народ бачил их в Остроградском, к прощеному воскресенью будут они у вас в Великой Кринице...

Рахивна прикрыла веки и умолкла. Свет лампы стоял в углублениях ее ступней.

— Вороньковский судья, — очнувшись сказала старуха, — в одни сутки произвел в Воронькове колгосп... Девять господарей он забрал в холодную... На утро их доля была итти на Сахалин. Доню моя, везде люди живут, везде христос славится... Перебули тыи господари ночь в холодной, является стража—брать их... Видчиняет стража дверь от острога, на свете полное утро, девять господарей качаются под балками, на своих опоясках...

Рахивна долго возилась прежде чем уলেখся. Разбирая лоскутики, она шепталась со своим богом, как шепчутся со стариком, который тут же лежит на печи, потом сразу и легко задышала. Чужой муж, Гришка Савченко, спал внизу на лаве. Он сложился, как раздавленный на самом краю, и выгнул спину; жилетка вздыбилась на ней, голова его была всунута в подушки.

— Мужичье коханья.—Гапа встряхнула его и растолкала, — я добре знаю мужичье це коханья... Отворотили рыло—чоловик от жинки и топтаются... Не к себе пришел, не к Одарке...

Пол ночи они катались по лаве, во тьме, с сжатыми губами, с руками, протянутыми через тьму. Коса Гапы перелетала через подушку. На рассвете Гришка вскинулсь, застонал и заснул, оскалившись. Гапе видны были коричневые плечи дочерей, низколобых, губатых, с черными грудями.

— Верблюды такие,—подумала она, — откуда они ко мне?..

В дубовой раме окна двинулась тьма. Рассвет раскрыл в тучах фиолетовую полосу. Гапа вышла во двор. Ветер сжал ее, как студеная вода в реке. Она запрягла, взвалила на дровни мешки с пшеницей, — за праздники мука подбилась у всех. В тумане, в пару рассвета проползла дорога.

На мельнице справились только к следующему вечеру. Весь день шел снег. У самого села, из льющей прямой стены, навстречу Гапе вынырнул коротконогий Юшко Трофим в размокшем треухе. Плечи его, накрытые снежным океаном, раздались и осели.

— Ну, просыпались, — забормотал он, подходя к саням, и поднял черное костистое лицо.

— А именно што?.. — Гапа потянула к себе вожжи.

— Ночью вся головка наехала, — сказал Трофим, — бабуся твою законвертовали... Голова рикю приехал, секретарь райкому... Ивашку замели, на его должность — вороньковский судья...

Усы Трофима поднялись, как у моржа, снег шевелился на них. Гапа тронула лошадь, потом снова потянула вожжи.

— Трофиме, бабуся за што?..

Юшко остановился и протрубил издалека, сквозь веющие, летящие снега.

— Кажуть, агитацию разводила про конце света...

Припадая на ногу, он пошел дальше, и сейчас же широкую его спину затерло небо, небо, слившееся с землей.

Под'ехав к хате, Гапа постучала в окно кнутом. Дочери ее торчали у стола в шалях и башмаках, как на посиделках.

— Маты, — сказала старшая, сваливая мешки, — без вас приходила Одарка, взяла Гришку до дому...

Дочери накрыли на стол, поставили самовар. Поужинав, Гапа ушла в сельраду. Там, усевшись на лавках вдоль стен, молчали старики из села Великая Криница. Окно, разбитое во время прошлых споров, заделали листом фанеры, стекло лампы было протерто, к щербатой стене прибили плакат—«Проханья не палить». Вороньковский судья, подняв плечи, читал у стола. Он читал книгу протоколов великокриницкой сельрады; воротник драпового его пальтишка был наставлен. Рядом за столом секретарь Харченко писал своему селу обвинительный акт. Он разносил по разграфленным листам все преступления, недоимки и штрафы, все раны, явные и скрытые. Приехав в село, Осмоловский, судья из Воронькова, отказался созвать сборы, общее собрание граждан, как это делали уполномоченные до него, он не произнес речи и только приказал составить список недоимщиков, бывших торговцев, списки их имущества, посевои и усадеб.

Великая Криница молчала, присев на лавки. Свист и треск харченкиного пера юлил в тишине. Движение пронеслось и замерло, когда в сельраду вошла Гапа. Голова Евдоким Назаренко оживился, увидев ее.

— То-есть, первейший наш актив, товарищ судья, — Евдоким захохотал и потер ладони, — вдова наша, всех парубков нам перепортила...

Гапа, щурясь, стояла у двери. Грима са тронула губы Осмоловского, узкий нос его сморщился. Он наклонил голову и сказал: «Здравствуйте».

— В колгосп первая записалась, — силясь разогнать тучу.—Евдоким сыпал

словами, — потом добрые люди подготовили, она и выписалась...

Гапа не двигалась. Кирпичный румянец лежал на ее лице.

— ...А кажутъ добрые люди, — произнесла она звучным, низким своим голосом, — кажутъ, что в колхозе весь народ под одним одеялом спать будет...

Глаза ее смеялись в неподвижном лице.

— ...А я этому противница, гуртом спать, мы по двоих любим, и горилку, батюшки нашему чорт, любим...

Мужики засмеялись и оборвали, Гапа шурилась. Судья поднял воспаленные глаза и кивнул ей. Он с'ежился еще больше, забрал голову в узкие рыжие руки и снова погрузился в книгу великокриницких протоколов. Гапа повернулась, статная ее спина зажглась перед оставшимися.

Во дворе, на мокрых досках, расставив колени, сидел дед Абрам, заросший диким мясом. Желтые космы падали на его плечи.

— Что ты, диду? — спросила Гапа.

— Жуюсь, — сказал дед.

Дома у нее дочери уже легли. Поздней ночью, наискосок, в хатыне комсомольца Нестора Тягая, ртутным языком повис огонек, — Осмоловский пошел на отведенную ему квартиру. На лаву брошен был тулуп, судью ждал ужин — миска простокваши и краюха хлеба с луковицей. Сняв очки, он прикрыл

ладонями больные глаза — судья, прозванный в районе «двести шестнадцать процентов». Этой цифры он добился на хлебозаготовках в буйном селе Воронькове. Тайны, песни, народные поверья облекали проценты Осмоловского.

Он жевал хлеб и луковицу и разостлал перед собой «Правду», инструкции райкома и сводки Наркомзема по коллективизации. Было поздно, второй час ночи, когда дверь его раскрылась и женщина накрест стянутая шалью, переступила порог.

— Судья, — сказала Гапа, — что с блядьми будет?..

Осмоловский поднял лицо, обтянутое рыбоватым огнем.

— Выведутся.

— Житье будет блядям или нет?

— Будет, — сказал судья, — только другое, лучшее.

Баба невидящими глазами уставилась в угол. Она тронула монисто на груди.

— Спасыби на вашем слове...

Монисто зазвенело. Гапа вышла, притворив за собой дверь.

Беснующаяся, режущая ночь набросилась на нее, кустарники туч, горбатые льдины с черным блеском в них. Просветляясь, низко неслись облака. Безмолвие распростерлось над Великой Криницей, над плоской, могильной, обледенелой пустыней деревенской ночи.

Весна, 1930 г.

## В подвале

(Из книги «История моей голубятни»)

### И. БАБЕЛЬ

Я был лживый мальчик. Это происходило от чтения. Воображение мое было всегда воспламенено. Я читал во время уроков, на переменах, по дороге домой, ночью под столом, закрывшись свисавшей до пола скатертью. За книгой я проморгал все дела мира сего, — бегство с уроков в порт, начало бильярдной игры в кофейнях на Греческой улице, плавание на Ланжероне. У меня не было товарищей. Кому было охота водиться с таким человеком?..

Однажды в руках первого нашего ученика Марка Боргмана я увидел книгу о Спинозе. Он только что прочитал ее и не утерпел, чтобы не сообщить окружившим его мальчикам об испанской инквизиции. Это было ученое бормотание — то, что он рассказывал. В словах Боргмана не было поэзии. Я не выдержал и вмешался. Тем, кто хотел меня слушать, я рассказал о старом Амстердаме, о сумраке гетто, о философях — гранильщиках алмазов. К прочитанному в книгах было прибавлено много своего. Без этого я не обходился. Воображение мое усиливало драматические сцены, переиначивало концы, таинственнее завязывало начала. Смерть Спинозы, свободная, одинокая его смерть, предстала в моем изображении битвой. Синедрион вынуждал умирающего покаяться, он не сломился. Сюда же я припутал Рубенса. Мне казалось, что Рубенс стоял у изголовья Спинозы и снимал маску с мертвеца.

• Мои однокашники, разинув рты, слушали эту фантастическую повесть. Она была рассказана с воодушевлением. Мы хотя разошлись по звонку. В следующую перемену Боргман подошел ко мне, взяв меня под руку, мы стали прогуливаться вместе. Прошло немного вре-

мени — мы сговорились. Боргман не представлял из себя дурной разновидности первого ученика. Для сильных его мозгов гимназическая премудрость была каракулями на полях настоящей книги. Эту книгу он искал с жадностью. Двенадцатилетними несмышленищами мы знали уже, что ему предстоит ученая, необыкновенная жизнь. Он и уроков не готовил, только слушал их. Этот трезвый и сдержанный мальчик привязался ко мне из-за моей особенности перевернуть все вещи в мире, такие вещи, прозе которых и выдумать нельзя было.

В тот год мы перешли в третий класс. Ведомость моя была уставлена тройками с минусом. Я был так страшен со своими бреднями, что учителя, подумав, не решились выставить мне двойки. В начале лета Боргман пригласил меня к себе на дачу. Его отец был директором Русского для внешней торговли банка. Этот человек был одним из тех, кто делал из Одессы Марсель или Неаполь. В нем жила закваска старого одесского негоцианта. Он принадлежал к обществу скептических и обходительных гуляк. Отец Боргмана избегал говорить по-русски; он объяснялся на грубоватом, обрывистом языке ливерпульских капитанов. Когда в апреле к нам приезжала итальянская опера, у Боргмана на квартире устраивался обед для труппы. Одутловатый банкир — последний из одесских негоциантов — завязывал двухмесячную интрижку с грудастой примадонной. Она увозила с собой воспоминания, не отягчавшие совести, и колье, выбранное со вкусом и стоявшее не очень дорого.

Старик состоял аргентинским консулом и председателем биржевого комите-

та. Он был очень умен. К нему-то в дом я был приглашен. Моя тетка, по имени Бобка, разгласила об этом по всему двору. Она придела меня, как могла. Я поехал на паровичке к 16-й станции Большого Фонтана. Дача стояла на невысоком красном обрыве у самого берега. На обрыве был разделан цветник с фуксиями и подстриженными шарами туи.

Я происходил из нищей и бестолковой семьи. Обстановка боргмановской дачи поразила меня восхищением. В аллеях, укрытые зеленью, белели плетеные кресла. Обеденный стол был покрыт цветами, окна обведены зелеными наличниками. Перед домом просторно стояла деревянная невысокая колоннада.

Вечером приехал директор банка. После обеда он поставил плетеное кресло у самого обрыва, перед идущей равниной моря, задрал ноги в белых штанах, закурил сигару и стал читать «Manchester Guardian». Гости, одесские дамы, играли на веранде в покер. В углу стола шумел узкий самовар с ручками из словой кости.

Картежницы и лакомки, неряшливые щеголихи и тайные распутницы с надутым бельем и большими боками, они хлопали черными веерами и ставили золотые. Сквозь изгородь дикого винограда к ним проникало солнце. Огненный круг его был огромен. Отблески меди тяжелили черные волосы женщин. Искры заката входили в их бриллианты, бриллианты, навешенные всюду, — в углублениях раз'ехавшихся грудей, в подкрашенных ушах и на голубоватых припухлых самочьих пальцах.

Наступил вечер. Прошелестела летучая мышь. Море чернее накатывалось на красную скалу. Двенадцатилетнее мое сердце раздувалось от веселья и легкости чужого богатства. Мы с приятелем, взявшись за руки, ходили по дальней аллее. Боргман сказал мне, что он станет авиационным инженером. Есть слух о том, что его отца назначат представителем Русского для внешней торговли банка в Лондон, — Марк сможет получить образование в Англии.

В нашем доме, в доме тети Бобки, никто не толковал о таких вещах. Мне нечем было отплатить за непрерывное это великолепие. Тогда я сказал Мар-

ку, что хоть у нас в доме все по-другому, но дед Лейви Ицхок и мой дядька об'ездили весь свет и испытали тысячи приключений. Я описал эти приключения по порядку. Сознание невозможного тотчас же оставило меня, я провел дядьку Вольфа сквозь русско-турецкую войну в Александрию, в Египет...

Ночь выпрямилась в тополях, звезды налегли на погнувшиеся ветви. Я говорил и размахивал руками. Пальцы будущего авиационного инженера трепетали в моей руке. С трудом просыпаясь от галлюцинации, он пообещал притти ко мне в следующее воскресенье. Запасшись этим обещанием, я уехал на паровичке домой, к Бобке.

Всю неделю после моего визита я воображал себя директором банка. Я совершал миллионные операции с Сингапуром и Порт-Саидом. Я завел себе яхту и путешествовал на ней один. В субботу настало время проснуться. На завтра должен был притти в гости маленький Боргман. Ничего из того, что я рассказал ему, не существовало. Существовало другое, много удивительнее, чем то, что я придумал, но двенадцати лет от роду я совсем еще не знал, как мне быть с правдой в этом мире. Дед Лейви Ицхок, раввин, выгнанный из своего местечка за то, что он подделал на векселях подпись графа Бранницкого, был на взгляд наших соседей и окрестных мальчишек, сумасшедший. Дядьку Симон-Вольфа я не терпел за шумное его чудачество, полное бессмысленного огня, крику и притеснения. Только с Бобкой можно было сговориться. Бобка гордилась тем, что сын директора банка дружит со мной. Она считала это знакомство началом карьеры и испекла для гостя штрудель с вареньем и маковый пирог. Все сердце нашего племени, сердце, так хорошо выдерживающее борьбу, заключалось в этих пирогах. Деда с его рваным цилиндром и тряпьем на распухших ногах мы упрятали к соседям Апельхотам, и я умолил его не показываться до тех пор, пока гость не уйдет. С Симон-Вольфом тоже уладилось. Он ушел со своими приятелями барышниками пить чай в трактире «Медведь». В этом трактире прихватывали водку вместе с чаем, можно было рассчиты-

вать, что Симон-Вольф задержится. Тут надо сказать, что семья, из которой я происхожу, не походила на другие еврейские семьи. У нас и пьяницы были в роду, у нас соблазняли генеральских дочерей и, не довезши до границы, бросали, у нас дед подделывал подписи и сочинял для брошенных жен шантажные письма.

Все старания я положил на то, чтобы отвадить Симон-Вольфа на весь день. Я отдал ему сбереженные три рубля. Прожить три рубля — это нескоро делается, Симон-Вольф вернется поздно, и сын директора банка никогда не лает о том, что рассказ о доброте и силе моего дядьки — лживый рассказ. По совести говоря, если сообразить сердцем, это была правда, а не ложь, но при первом взгляде на грязного и крикливого Симон-Вольфа непонятной этой истины нельзя было разобрать.

В воскресенье утром Бобка вырядилась в коричневое суконное платье. Толстая ее добрая грудь лежала во все стороны. Она надела косынку с черными тисненными цветами, косынку, которую одевают в синагогу на судный день и на рош-гашоно. Бобка расставила на столе пироги, варенье, крендели и прижалась ждать. Мы жили в подвале. Боргман поднял брови, когда проходил по горбтому полу коридора. В сенях тояла кадка с водой. Не успел Боргман выйти, как я стал занимать его всякими иковинами. Я показал ему будильник, сделанный до последнего винтика руками деда. К часам была приделана лампа; когда будильник отсчитывал половинку или полный час, лампа зажигалась. Я показал еще боченок с ваксой. Рецепт этой ваксы составлял изображение Лейви Иццока, он никому этого секрета не выдавал. Потом мы прочитали с Боргманом несколько страниц из рукописи деда. Он писал по-еврейски, на желтых квадратных листах, громадных, как географические карты. Рукопись называлась «Человек без головы». В ней описывались все соседи Лейви Иццока за семьдесят лет его жизни: сначала в Сквире и Белой Церкви, потом в Одессе. Гробовщики, канторы, еврейские пьяницы, поварахи на брисах и проходимцы, производившие ритуальную операцию, — вот герои Лейви Иццока.

Все это были вздорные люди, косноязычные, с шишковатыми носами, прыщами на макушке и косыми задами.

Во время чтения появилась Бобка в коричневом платье. Она плыла с самоваром на подносе, обложенная своей толстой, доброй грудью. Я познакомил их. Бобка сказала: «Очень приятно», протянула вспотевшие, неподвижные пальцы и шаркнула обеими ногами. Все шло отлично, как нельзя лучше. Апельхоты не выпускали деда. Я выволакивал его сокровища одно за другим — грамматика на всех языках и шестьдесят шесть томов Талмуда. Марка ослепили боченок с ваксой, мудреный будильник и гора Талмуда, все эти вещи, которых нельзя увидеть ни в каком другом доме.

Мы выпили по два стакана чая со штруделем, Бобка, кивая головой и пятясь назад, исчезла. Я пришел в радостное состояние духа, стал в позу и начал декламировать строфы, больше которых я ничего не любил в жизни. Антоний, склонясь над трупом Цезаря, обращается к римскому народу:

О римляне, сограждане, друзья,  
 Меня своим вниманием удостоите.  
 Не восхвалять я Цезаря пришел,  
 Но лишь ему последний долг  
 отдать...

Так начинается игру Антоний. Я задохся и прижал руки к груди.

Мне Цезарь другом был и верным  
 другом,  
 Но Брут его зовет властолюбивым,  
 А Брут — достопочтенный человек...  
 Он пленных приводил толпами в  
 Рим,

Их выкупом казну обогащая.  
 Не это ли считать за властолюбие?..

При виде нищеты он слезы лил,  
 Так мягко властолюбье не бывает,  
 Но Брут зовет его властолюбивым,  
 А Брут — достопочтенный человек.  
 Вы видели во время Луперналий  
 Я трижды подносил ему венец.  
 И трижды от него он отказался.  
 Ужель и это властолюбье?..  
 Но Брут его зовет властолюбивым,  
 А Брут — достопочтенный человек...

Перед моими глазами — в дыму вселенной — висело лицо Брута. Оно стало белее мела. Римский народ, ворча, надвигался на меня. Я поднял руку, — глаза Боргмана покорно двинулись за

ней, — сжатый мой кулак дрожал, я поднял руку... и увидел в окно дядьку Симон-Вольфа, шедшего по двору в сопровождении маклака Лейкаха. Они тащили на себе вешалку, сделанную из оленьих рогов, и красный сундук с подвесками в виде львиных пастей. Бобка тоже увидела их из окна. Забыв про gesta, она влетела в комнату и схватила меня трясушимися ручками.

— Серденько мое, он опять купил мебель!..

Боргман привстал в своем мундирчике и в недоумении поклонился Бобке. В дверь ломились. В коридоре раздался грохот сапог, шум передвигаемого сундука. Голоса Симон-Вольфа и рыжего Лейкаха гремели оглушительно. Оба были навеселе.

— Бобка, — закричал Симон-Вольф, — попробуй угадать, сколько я отдал за эти рога...

Он орал, как труба, но в голосе его была неуверенность. Хоть и пьяный, Симон-Вольф знал, как ненавидим мы рыжего Лейкаха, подбивавшего его на все покупки, затоплявшего нас ненужной, бессмысленной мебелью.

Бобка молчала. Лейках пропищал что-то Симон-Вольфу. Чтобы заглушить змеиное его шипение, чтобы заглушить мою тревогу, я закричал словами Антония:

Еще вчера повелевал вселенной  
Могучий Цезарь; он теперь во  
прахе,

И всякий нищий им пренебрегает.  
Когда б хотел я возбудить к вос-  
станию,

К отмщению сердца и души  
ваши,

Я повредил бы Кассию и Бруту,  
Но ведь они почтеннейшие люди...

На этом месте раздался стук. Это упала Бобка, сбитая с ног ударом мужа. Она верно сделала горькое какое-нибудь замечание об оленьих рогах. Началось ежедневное представление. Медный голос Симон-Вольфа законопачивал все щели вселенной. Он кричал то же, что и всегда:

— Вы тянете из меня клей, — громовым голосом жаловался мой дядька, — вы клей тянете из меня, чтобы запихать собачьи ваши рты... Камень вы

одеди на мою шею, камень висит на моей шее...

Проклинающая меня и Бобку еврейскими проклятиями, он сулил нам, что глаза наши вытекут, что деги наши еще во чреве матери начнут гнить и распадаться, что мы не будем успевать хоронить друг друга и что нас за волосы стащат в братскую могилу...

Маленький Боргман поднялся со своего места. Он был бледен и озирался. Ему непонятны были обороты еврейского кощунства, но с русской матерщиной он был знаком. Симон-Вольф не гнушался и ею. Сын директора банка мял в руке картузик. Он двоился у меня в глазах, я силился перекричать все зло мира. Предсмертное мое отчаяние и совершившаяся уже смерть Цезаря слились в одно. Я был мертв, и я кричал. Хрипение поднималось со dna моего существа.

Коль слезы есть у вас, обильным

Они теперь из ваших <sup>током</sup> глаз <sup>полюются.</sup>

Всем этот плащ <sup>даже,</sup> знаком. Я помню

Где в первый раз его <sup>накинул</sup> Цезарь:

То было летним вечером, в па-  
латке,

Где находился он, <sup>разбив не-</sup>  
врийцев.

Сюда проник нож Кассия; вот  
рана

Завистливого Каски; здесь в него  
Вонзил кинжал его любимец Брут,

Как хлынула потоком алым кровью,  
Когда кинжал из раны он извлек...

Ничто не в силах было заглушить Симон-Вольфа. Бобка, сидя на полу, всхлипывала и сморкалась. Невозмутимый Лейках двигал за перегородкой сундук. Тут мой сумасбродный дед захотел притти мне на помощь. Он вырвался от Апельхотов, подполз к окну и стал пилить на скрипке, для того верно, чтобы посторонним людям не слышна была брань Симон-Вольфа. Боргман взглянул в окно, вырезанное на уровне земли, и в ужасе подался назад. Мой бедный дед гримасничал своим синим окостеневшим ртом. На нем был загнутый цилиндр, черная восточная хламида с костяными пуговицами и опорки на слоновых ногах. Прокуренная борода



висела ключьями и колебалась в окне. Марк бежал.

— Это ничего,—пробормотал он, вырываясь на волю,—это, право, ничего...

Во дворе мелькнул его мундирчик и картуз с поднятыми краями.

Вместе с его уходом улеглось мое волнение. Мною овладели решимость и спокойствие. Я ждал вечера. Когда дед, исписав еврейскими крючками свой квадратный лист (он описывал Апельхотов, у которых по моей милости провел весь день), улегся на койку и заснул, я выбрался в коридор. Пол там был земляной. Я двигался во тьме, босой, в длинной и заплатанной рубахе. Сквозь щели досок острями света мерцали бульжники. В углу, как всегда, стояла кадка с водой. Я опустился в нее. Вода разрежала меня на-двое. Я погрузил голову, задохся, вынырнул. Сверху, с полки, сонно смотрела кошка. Во второй раз я выдержал дольше, вода хлопала вокруг меня, мой стон винтом уходил в нее. Я открыл глаза и увидел на дне бочки парус рубахи и маленькие ноги, прижатые друг к дру-

же. У меня снова нехватило сил, я вынырнул. Возле бочки стоял дед в кофе. Единственный его зуб звенел.

— Мой внук,—он выговорил эти слова презрительно и вятно, — я иду принять касторку, чтобы мне было что принести на твою могилу...

Я закричал, не помня себя, и опустился в воду с размаху. Меня вытаскила немощная рука деда. Тогда впервые за этот день я заплакал, и мир слез был так огромен и прекрасен, что все, кроме слез, ушло из моих глаз.

Я очнулся на постели, закутанный в одеяла. Дед ходил по конате и свистел. Толстая Бобка грела мои руки на груди. Я отдавал ей их.

— Как он дрожит, наш дурачок, наше дитя, — сказала Бобка. — где оно находит силы так дрожать...

Дед дернул бороду, свистнул и зашагал снова. За стеной с мучительным выдохом храпел Симон-Вольф. Навоевавшись за день, он ночью никогда не просыпался.

1929.

# Море, люди, дни

Из книги «Поход Седова»

И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ

## На белой земле

Двадцать седьмого июля, оставив на берегу смену зимовщиков, достраивавших домик радиостанции, «Седов» вышел в обход южных берегов Земли Франца-Иосифа, не посещенных экспедицией в прошлом году. По пути предполагалось побывать у мыса Флоры (на западной оконечности острова Нордбрук) и далее идти на восток к мало обследованной Земле Вильчека, не посещавшейся со времен американской экспедиции Уэлмана, устроившей на берегу этой земли склад продовольствия и экспедиционную базу. Кроме обследования южных берегов архипелага, целью похода «Седова» было устройство продовольственных складов в тех пунктах, которые должны посетить по весне остающиеся на станции зимовщики.

Оставшиеся на берегу наши бывшие спутники проводили «Седова» залпами из винтовок. «Седов» ответил им протяжным гудком, далеко покотившимся над белыми льдами.

Погода попрежнему стояла чудесная. В лучах ослепительного солнца стоявшие в Британском канале льды вздымались высокими стенами, похожими на стены и башни сказочных замков и городов. Высокое, светлоголубое, прозрачное небо покрывало неподвижный, казавшийся призрачным ледяной мир.

Я долго стоял на носу ледокола, грузно содрогавшегося от ударов, и смотрел, как разламываются, переворачиваются и ныряют в изумрудно-зеленой воде льдины и шумным потоком выхлестывает на снег вода.

«Красоту этих мест невозможно пере-

дать в слове, — думал я, чувствуя, что такое вижу единственный раз в жизни. — Быть может, неуловимую глазом призрачность этих белых гор, чистоту полярного неба, далекую синеву льдов могла бы изобразить музыка...»

Уже через несколько часов борьбы со льдами, обойдя остров Нордбрук с востока, «Седов» по чистой воде подошел к мысу Флоры. Это место, наиболее доступное для плавающих судов, особенное значение имело в истории полярных арктических путешествий. Со времени открытия Земли Франца-Иосифа здесь перебывало много полярных экспедиций. Здесь зимовали экспедиции Ли-Смита, Джексона, Фиала, Аbruццкого. Здесь же произошли две замечательные в истории полярных путешествий встречи: Нансена с Джексоном и штурмана Альбанова с возвращавшейся экспедицией Седова.<sup>1)</sup> В замечательной (к сожалению мало известной) книге Альбанова «Между жизнью и смертью» описан его поход по дрейфующим льдам. История этого похода такова. Шхуна «Анна», прекрасно снаряженная, вышла из Петербурга с целью пройти северо-восточным проходом к берегам Сибири. Командовал шхунной лейтенант Брусилов, племянник богатого помещика Брусилова, на средства ко-

<sup>1)</sup> В последние годы мыс Флоры повидному нередко посещается промысловыми норвежскими судами, приходящими бить зверя. Успели здесь побывать и всюду проникающие туристы. В пенале памятника Аbruццкого находится целый архив записок, оставленных лицами, посетившими мыс Флоры. Обращает на себя внимание обведенная черным траурным ободком карточка некоей американской скучающей мисс, посетившей мыс Флоры в 1928 году.

торого была снаряжена и оборудована экспедиция. Шхуна вышла в плавание в 1912 году. Год этот был исключительно тяжелым для всех плававших во льдах судов. «Анне» однако удалось проникнуть в Карское море, где она вмерзла в лед у Таймырского полуострова. Начался медленный дрейф со льдами. Зажатое во льдах судно медленно поднималось на север. Первая зимовка прошла в исключительно тяжелых условиях. Почти весь состав экспедиции был болен цынгой. Тяжелее всех болел сам Брусилов. На второй год дрейфа надежд на освобождение не прибавилось. «Анну» несло на север. Исключительная тяжесть жизни осложнилась враждою, об'явившеюся между начальником экспедиции и штурманом Альбановым. Вражда эта обострилась до такой степени, что враги не могли без ссоры встречаться. (Причину этой вражды, быть может, была женщина, отправившаяся на «Анне» в качестве сестры милосердия и ухаживавшая за больным Брусиловым). Во вторую зимовку сам собою возник вопрос о походе на землю. Во главе группы желавших отправиться в пешеходное путешествие по льду стоял Альбанов. Всю зиму шли приготовления к этому походу. Из столовых досок делались полозья для нарт, из парусины мастерились каяки. Собак экспедиция не имела, поэтому люди должны были тащить продовольствие своими силами. Наконец весной четырнадцатого года, получив на руки приказ от Брусилова, разрешавший ему покинуть судно, Альбанов с одиннадцатью спутниками тронулся в путь в надежде достигнуть берегов Земли Франца-Иосифа. В последние перед походом дни вражда между Альбановым и Брусиловым не улеглась, и они расстались врагами. В своем дневнике Альбанов с потрясающей искренностью и простотой рассказывает о невероятных трудностях похода по дрейфующим льдам. Невозможно перечислить лишения и ужасы, пережитые путешественниками. Только невероятная энергия Альбанова, кулаками и прикладом со всею беспощадностью заставлявшего подниматься своих ослабевших спутников, потерявших веру в спасение, помогла им добраться до Земли Франца-Иосифа. Но, уже ступив на землю,

будучи недалеко от окончательного спасения, спутники Альбанова погибли. В живых остались двое — сам Альбанов и матрос Конрад. Они вдвоем добрались до мыса Флоры, где нашли некоторые постройки Джексона, и из последних сил стали готовиться к третьей зимовке. Их подобрал «Фока», осенью возвращавшийся из своего бедственного похода и завернувший к мысу Флоры, чтобы разобрать на топливо пустующий джексоновский дом. Встреча Альбанова с возвращавшейся экспедицией Седова была такою же счастливою случайностью, как и знаменитая встреча Нансена с Джексоном<sup>1)</sup>. Поразительна судьба самого Альбанова. Уже во время гражданской войны, бедствуя в каком-то сибирском городке и выйдя однажды на улицу, он был убит шальной, случайно залетевшей пулей.

### Мыс Флоры

Уходившая до самого горизонта свободная ото льдов вода окружала мыс Флоры, прикрытый навалившимся за ночь туманом. Сквозь туман смутно виднелись очертания высокой, темной скалы и покрытый камнями плоский берег.

Чтобы не подвергать себя лишней опасности (именно в этом месте внезапно подошедшие льды раздавили «Эйру», прижав ее к береговому припаю), «Седов» остановился в значительном расстоянии от берега.

Прежде в этих местах водилось много моржей, и, по рассказам путешественников, посетивших мыс Флоры, моржи не раз грозили отплывавшим от корабля шлюпкам с людьми. На сей раз, подходя к берегу, мы не заметили ни одного моржа. Лишь птицы во всех направлениях пролетали над водою и стаями колыхались на волнах, так близко, что до них можно было дотронуться веслом.

Мы пристали к ледяному припаю и, оттащив шлюпки подальше, выбрались на покрытый камнями, заросший полярными маками берег. На краю берегового откоса, обращенный на север, высился вывезенный из Италии гранитный тесаный памятник с именами трех бесследно погибших во льдах спутников

<sup>1)</sup> Нансен зимовал на Земле Франца-Иосифа в 1895—96 гг.

герцога Аbruццкого, зимовавшего на мысе Флоры.

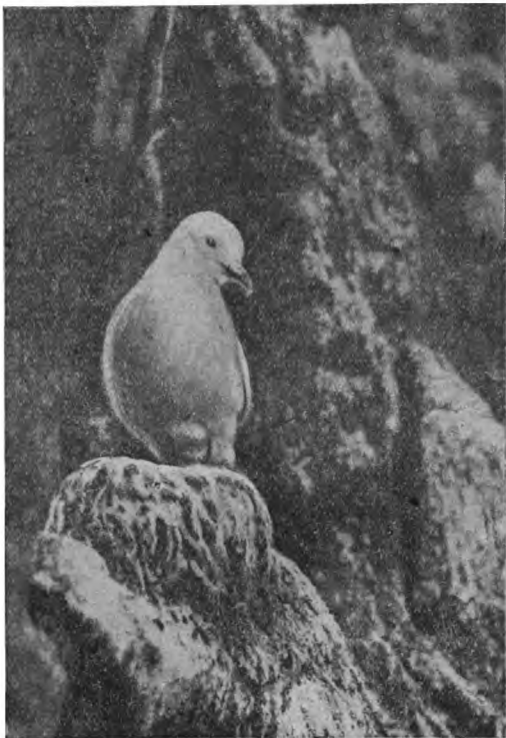
Торопясь осмотреть историческое место, мы недолго задерживались у итальянского памятника, напоминавшего нам о далекой и страшной трагедии. Пустынное и печальное зрелище представлял собой мыс Флоры. На небольшом клочке открытой земли, окруженной туманившимся холодным морем, под высоко возносившейся базальтовой скалою, населенной птичьим базаром, грудами и в одиночку лежали большие, покрытые лишайниками камни. Широкий и пустынный вид открывался на море с одинокими, стоявшими на мели льдинами, усеянными кричащими и дерущимися чайками. От построек великолепного джексоновского поселка почти ничего не осталось. Полуразрушенный домик (тот самый, в котором Альбанов готовился провести третью зиму), сооруженный из бамбуковых палок и оленьего мха, истерзанный любопытствующими медведями, одиноко торчал посреди разбросанного на земле никуда негодного хлама. Домик, видимо, часто посещали песцы, оставившие в нем много дурно пахнущего помета. Сбитый из досок высокий крест был прикреплен над развалившейся дверью. На перекладине креста, так же как в бухте Тихой, рукою Пинегина, посетившего мыс Флоры весной четырнадцатого года, было вырезано по-английски:

Экспедиция лейт. Седова  
1913—1914 г.

Вокруг разрушенной бамбуковой хижины и возле небольшого пресноводного, отражавшего пустынное небо озера валялось множество полуистлевших принадлежностей экспедиционного снаряжения. Ружейные окислившиеся патроны, стеариновые свечи, гнилые собачьи ошейники, лямки, ремни от лыж, лузатые бутылки от виски и медикаментов, проржавевшая дырявая посуда — все это было разбросано повсюду. От дома Джексона, разобранного на топливо возвращавшейся экспедицией Седова, остался прорубленный топорами пол и покрытый слежавшимся льдом деревянный фундамент. Тут же, в грязной, заваленной всяческим хламом луже валялась хорошо сохранившаяся, украшенная литыми изображениями чугунная печь,

быть может, та самая, у которой Джексон коротал долгие ночи и некогда сушился и обогревался Нансен, закончивший на мысе Флоры свое трехгодичное странствование во льдах...

Участники экскурсии во все стороны разбрелись по берегу в чаянии неожиданных находок. Некоторые из ученых справились исследовать птичьи гнездовья и собирать растения, которыми богат мыс Флоры, недаром получивший



На птичьем базаре. Мыс Флора.

от Джексона свое весеннее имя. Иные с горячим прилежанием взялись за установку железного флага на месте такого же прошлогоднего, исковерканного зимними выюгами и медвежьими лапами. Повсюду виднелись черные фигурки людей, бродивших среди камней по яркозеленому бархатному мху и внимательно смотревших под ноги.

— Смотрите, — изредка говорил кто-нибудь, поднимая с земли кожаный истлевший мешочек, — настоящий кисег Джексона!..

— Этой оловянной ложкой наверное хлебал сам Нансен...

— А вот сапоги Альбанова...

Мне захотелось остаться одному. Уклонившись от перекатывания тяжелых камней, служивших для укрепления железной стойки флага, я выбрал укромное место: огромный, лежавший на самом берегу камень. Отсюда отлично было все видно. Я уселся на камень, как в кресло, и стал наблюдать. Аспидно-темное, чуть зыблившееся, с белевшими островками льдин, простиралось пе-

оперения, в том, как распускал он над чайкою свой копьеобразный хвост, было что-то зловещее, мрачное. Я наблюдал борьбу птиц, продолжавшуюся, пока наконец чайка, выбившись из сил, с жалобным воплем не уронила заглотанную добычу и, бросившись камнем, поморник с изумительной ловкостью на лету не поймал падавшую в море рыбу.

Я еще долго сидел в моем укромном убежище, слушая и наблюдая проходив-



Встреча с норвежским ботом.

редо мной море. Странный, непрекращавшийся шум, похожий на звучание струн, слышался сверху. Там, высоко надо мною, срываясь со скалы, шумели крыльями бесчисленные птицы. Странное чувство одиночества, полной отверженности овладело мною.

Две птицы, падая и кувыркаясь, гонялись в воздухе над моей головой. Это поморник, воздушный пират, напал на спасавшуюся от него моевку-чайку. Черный разбойник настойчиво и молчаливо падал сверху на чайку, и чайка жалобно, по-женски кричала. В повадке поморника, в траурной раскраске его

шую надо мною незнакомую жизнь. Далекий и чуждый всему окружающему, слабо доносившийся с моря звук давно привлекал мое внимание. Взобравшись на камень, я увидел в сизом, накрывавшем море тумане идущее судно. Появление корабля в этих ледяных безлюдных краях казалось столь невероятным, что, покинув свой наблюдательный пост, я поспешил к товарищам, чтобы поскорее сообщить о приближении нежданного гостя. Оказалось, что уже все успели заметить подходившее судно и, оставив занятия (только один неутомимый ботаник, навьюченный пап-

ками, не желая терять даже одной минуты, невозмутимо продолжал копать в земле), стояли с биноклями в руках. Судно, мирно постукивая мотором, шло прямо к берегу. В рассеянном тумане отчетливо вырисовывались голые мачты и серый приземистый корпус.

— Норвежцы?

— Вон и номер на борту виден...

— Сюда валит...

Встреча с норвежцами сулила много интересных моментов. Однако ожидания были напрасными. Маленькое судно, точно не замечая толпившихся на берегу людей, спокойно прошло мимо и скрылось во льдах.

— Чорт их побери! — с досадою выругался кинооператор, уже приготовившийся к с'емке. — Какой зам-мечательный кадрик пропал!..

### Встреча с норвежцами

Появление норвежского промыслового корабля стало для нас событием, нарушившим установившийся ход нашей жизни. Это было одно из многочисленных моторно-парусных норвежских судов, которые ежегодно уходят на север. Небольшие эти суда, способные однако выдерживать тяжелые переходы, остаются во льдах целыми месяцами. Запас жидкого топлива позволяет им надолго оставлять берег. Затертые льдами, они терпеливо ожидают подвижки и, выждав благоприятное время, помалу пробираются дальше. Так, плавая весь летний промысловый сезон, они покрывают большие пространства. Убыль крупного зверя у берегов Земли Франца-Иосифа несомненно в значительной степени объясняется присутствием этих промышленников-норвежцев.

Вернувшись на «Седова», мы узнали, что норвежское судно остановилось в трех-четыре милих от мыса Флоры, в открытом проливе, где его поджидало другое такое же судно. Встреча иностранных кораблей повидимому была условлена заранее. Оба судна, прикрытые дымкой тумана, виднелись в глубине пролива за мысом Флоры. Ноежиданное появление двух промышленяющих судов казалось достаточным поводом, чтобы напомнить норвежцам о принадлежности промыслов Земли Франца-Иосифа Со-

ветскому Союзу, и на передней мачте «Седова», надуваемые ветром, взвились сигнальные флаги:

«Немедленно остановиться!»

Приближение ледокола и поднятый сигнал смутили мирно беседовавших стоявших обочь норвежцев. Было видно в бинокль, как на палубы обоих судов высыпали люди без шапок и, заложив руки в карманы, остановились у борта. Видимо, неожиданная встреча с русским ледоколом не обещала норвежцам ничего хорошего, и, не отвечая на поднятый сигнал, оба судна прибавили ходу. Поведение норвежцев, не пожелавших подчиниться сигналу, рассердило нашего капитана. В нем объявилось чувство соревнования, которое спокон веку носят в себе промышленники-поморы к соседям своим норвежцам. Круто повернув ручку машинного телеграфа, он скомандовал рулевому:

— Право на борт!

— Есть право на борт!.. — в тон ему откликнулся рулевой.

Делая широкий круг по открытой воде, «Седов» очень скоро догнал и отрезал путь ухидившим норвежцам.

— Кэптен, плиз комм май борд!.. — сердито, с трудом выговаривая английские слова, закричал капитан в рупор, когда мы поравнялись с норвежцами, и, заметив, что там началось движение, удовлетворенно похлопывая рукавицами и лукаво улыбаясь, промолвил дружески:

— Теперь, голубчики, не удерут!..

На норвежском судне, застопорившем машину, матросы спускали шлюпку. Вблизи хорошо были видны палубы обоих судов, увешанные сушившимися медвежьими шкурами. Норвежские моряки, высыпав наверх, стояли у борта и, с любопытством разглядывая наш ледокол, насасывали трубки, переговаривались и изредка сплевывали за борт.

— Вот это ребята, — сказал кто-то из наших, — видать, настоящие...

В шлюпке, быстро подходившей к борту «Седова», находилось четыре человека, одетых в синие вязаные свитеры и широкополые шляпы. Двое из них стояли и, подняв обветренные, кирпично-красные лица, смотрели на борт ледокола, густо усеянный людьми. Остановившись у трапа, ловко сгаяя через банки

(скамейки), они выскочили из колымавшей на воде испачканной кровью и ворванью шлюпки, стуча деревянными башмаками, неторопливо поднялись на палубу. Неожиданное многолюдство, воротники шуб, длинные бороды, множество нацелившихся объективов на минуту смутили и остановили их. Окруженные разглядывавшими их людьми, не зная, куда девать руки, они в недоуме-

лись оставшимися в шлюпке двумя матросами-гребцами. Это были отличные парни с суровыми молодыми лицами и голубыми глазами. Их затащили в каюткомпанию. Стиснутые навалившейся толпой, они сидели на привинченных к полу стульях и на все стороны улыбались. Беседа шла на невообразимом языке, смешанном из русских, английских и норвежских слов. Однако это не мешало



Медведи.

нии остановились. Мне очень понравились их суровые, изрезанные глубокими морщинами, точно высеченные из камня лица, их широкие, не вмещавшиеся в карманах, покрытые мозолями, рабочие руки.

Обоих капитанов-норвежцев, не выпустивших из зубов обкуренных трубок, попросили пройти в капитанскую рубку. Неторопливо шагая, улыбаясь окружающим их людям, они степенно и с достоинством поднялись по трапу.

Беседа с норвежскими капитанами затянулась на долгое время, и мы заня-

нам понимать друг дружку. От наших гостей узнали мы, что уже второй месяц как вышли они из Норвегии, что их суда здесь повстречались случайно, а сюда они пришли от берегов Гренландии, где промысел в этом году был неудачный.<sup>1)</sup> Коньяк, усердно подливаемый гостям, действовал, они делались все веселее и разговорчивее. Часа через два, когда закончилась официальная беседа, происходившая в капитанской рубке

<sup>1)</sup> Мы впоследствии узнали, что одно из встреченных нами судов было зафрахтовано на поиски остатков экспедиции Андре и успешно выполнило задачу.

кинуть берега названной земли, а в будущем испрашивать разрешение на производство промысла в береговых зонах: это предложение однако ничуть не нарушило дружеских отношений с нашими нежданно гостями). мы расстались с друзьями. Повеселевшие, расчувствовавшиеся от товарищеского приема, матросы долго махали нам шапками, отплывая. Мы отвечали им тем же.

— Вот теперь расскажут своей братве, как у большевиков в гостях гуляли...

— Завидовать будут.

— А, чай, побайвались, когда подезжали. А ну, большевики живьем слопают.

— Теперь будут знать.

— А все же ребята отличные.

— Отличные-то, отличные,— заметил кто-то из недоверчивых, — только палец в рог не клади. Зверя-то поубавили...

### Медведи

Дружески распростившись с норвежцами, которым однако было предложено убраться, «Седов» взял курс на север к острову Белль, находившемуся в нескольких милях от мыса Флоры. На этом небольшом островке экспедицией английского путешественника Ли Смита в 1881 году был сооружен дом, служивший для хранения провианта. В книге Пинегина, посетившего о. Белль весной 1914 года, помещена фотография этого отлично сохранившегося домика.

Гавань «Эйры» оказалась забитой непроходимым льдом, и все старания капитана ближе подойти к острову окончились неудачей. Уткнувшись в лед носом, «Седов» остановился в полутора милях от берега, видневшегося над льдами узкой и темной полоской.

Место, где остановился «Седов», оказалось замечательным по изобилию медведей, то и дело появлявшихся на гладкой, покрытой снегом и редкими ропками ледяной равнине. Не успели матросы занести ледяной якорь, как кто-то, стремглав ворвавшись в кают-компанию, завопил:

— Медведи!

Этого слова было достаточно, чтобы очередные охотники, роняя ножи и вил-

ки (к великой досаде буфетчика Ивана Васильевича, не одобрявшего всяческий беспорядок), кинулись за винтовками. Два больших медведя медленно шли (как мы потом узнали, норвежцам, заявившим, что им ничего неизвестно о присоединении Земли Франца-Иосифа к владениям СССР, было предложено по вдоль ледяной стены острова. Их хорошо было видно простым глазом. Они следовали друг за дружкой, не останавливаясь и не обращая внимания на корабль. Казалось, они шли своею нагоренной и привычной дорогой. Хорошо было видно, как они неторопливо шагают, плавно раскачиваясь на своих толстых, коротких лапах. Охотники, выстроившиеся на баке, напрасно ждали приближения медведей. Звери прошли в нескольких стах шагах от борта «Седова» и, не меняя направления, скрылись за туманившейся грядой торосов. Эти медведи оказались первыми нашими гостями. Мы не успели доесть простывший ужин, как за дверями послышался неистовый топот, вновь возвещавший о появлении медведей. На сей раз по льдам шествовала медведица с парой больших медвежат. Она останавливалась, старательно нюхала воздух и, видимо, была в нерешимости, следует ли приближаться к привлекавшему ее внимание кораблю. Она подвигалась в том же направлении, как и первая пара медведей, и в самом деле, можно было подумать, что там пролегает медвежья большая дорога, соединяющая какие-то неведомые медвежьих пункты...

Захватив винтовки, мы отправились по льду к темневшей полосе острова, накрытого дымкой тумана. Лед был ровный, без высоких, мешающих продвижению ропаков и торосов. На мокром снегу, рассыпавшемся под ногами стеклянной крупью, было много свежих, с отпечатавшимися когтями и пальцами и расплывшихся давнишних медвежьих следов. Некоторые следы были так велики, что в них помещались две человеческих ступни, поставленные одна за другою. Обилие медвежьих следов показывало, что медведи избрали остров Белль для своих частых прогулок.

Берег острова Белль оказался плоским и унылым. Густой, оседавший на камнях холодный туман не позволял далеко ви-



деть. Ступая по хрустевшему, дравшему сапоги щебню, мы разбрелись в тумане по всему берегу, на котором не было приметно никаких признаков жизни.

Домик «Эйры», на который мы удачно набрали в тумане, был точно таким же, каким шестнадцать лет назад видел его Пинегин. Снаружи он был так чист и свеж, что казался поставленным совсем недавно. Иное впечатление производила внутренность домика. Целый сугроб обледенелого снега, на котором каждый из нас неизбежно оскользался и падал, возвышался посреди дощатого мокрого пола. Здесь, кроме любознательных медведей, кое-где поцарапавших наружные стены дома, успели похозяйничать неизвестные люди. Дверь и окно были выбиты. От письма Ли Смита, хранившегося в жестяной коробке и оставленного Пинегиним в неприкосновенности, остались торчавшие в стене ржавые гвозди, которыми была приколочена коробка. Стены хижины были густо покрыты карандашными надписями. Среди надписей я нашел подпись Пинегина и сопровождавшего его матроса. На средней стене одним из спутников Ли Смита была подробно описана история гибели «Эйры».

Кроме нескольких валявшихся на полу порожних бутылок, поломанной керосинки, и вырезанных из дерева самодельных шашек, в которые когда-то играли потерпевшие крушение путешественники, мы ничего не нашли в опустевшем домике «Эйры». Снаружи, у обшитою досками крыльца домика, валялось несколько кусков каменного угля, и ближе к берегу лежала килем кверху разбитая, отлично сохранившаяся шляпка. (Чистота полярного воздуха, отсутствие гнилостных бактерий удивительно способствуют сохранению дерева, остающегося крепким и нетронутым гниением иногда многие десятки и сотни лет.) Тут же позеленелые от времени и глубоко вросшие в землю, лежали огромные кости кита, неведомо когда выброшенного на берег. Один из спутников наших, Муханчик, приняв эти кости за остатки доисторического мамонта, в припадке исследовательского азарта взвалил себе на спину огромное двухпудовое китовое ребро и, изнемогая под ношей, обливаясь потом,

усердно тащил свою драгоценную «находку» до самого корабля.

Очистив от снега внутренность домика, оставив в нем три ящика с продовольствием, исправив и залперев дверь, мы отправились в обратный путь. Уже у самого берега мы услышали в тумане беспорядочную пальбу. Две пули, циркнув о камни, просвистели близко. Сквозь туман мы разглядели корреспондентов, занятых азартною стрельбою из винтовок. Подойдя ближе, мы увидели, что охотники стреляют в поморника, с жалобным криком носившегося над их головами. Черная птица то останавливалась в воздухе, трепеща крыльями, то камнем падала на землю. Убить из винтовки летящую птицу нелегкое дело, и выстрелы щелкали безрезультатно. Этот одинокий поморник, с отчаянной смелостью старавшийся отвести людей от своего скрытого в камнях гнезда, был единственным живым существом, встреченным нами на берегу пустынного о. Белль.

Навалившийся густой туман задержал нас до утра в гавани «Эйры». Ночью дежурившие охотники видели медведей, но ни один зверь не подошел близко. Наконец, крупная медведица, шествовавшая в сопровождении медвежонка, свернула с обычной дороги и стала приближаться к «Седову». Не доходя шагов пятисот и как бы размыслив, она спустилась на воду. Мы видели, как за нею скользя медвеженок, и они поплыли в открытое море. Повидимому медведи решили переплыть большое, в несколько миль разводье. Такое дальнее плавание для белых медведей — обычное дело.

Чтобы не терять добычи, мы решили попытаться догнать медведей на воде в шляпке. В шляпке нас было трое стрелков и два гребца. Матросы крепко нажали на весла. В море маленькими точками были видны головы медведей, то показывавшиеся, то исчезающие на волнах. Шляпка их настигала. Скоро мы хорошо могли видеть плывших медведей, их вытянутые шеи и просвечивавшие под зеленой водою белые спины. Подойдя шагов на сорок, мы стали стрелять. Моя пуля пробила медведице шею. Я видел, как ее голова погрузилась в воду и во-

круг заалела, замутилась от крови вода. Медвежонка, не покидавшего убитую мать, уже в упор прикончил промышленник Журавлев...

Мы прибуковали медведей к борту ледокола. Они тянулись за шлюпкой, как два белых меховых мешка. На палубу их подняли лебедкой. Моя первая добыча оказалась огромным, еще не вылинявшим зверем; на задних ляжках убитой медведицы висела длинная, цвета кипяченого молока зимняя бахрама.

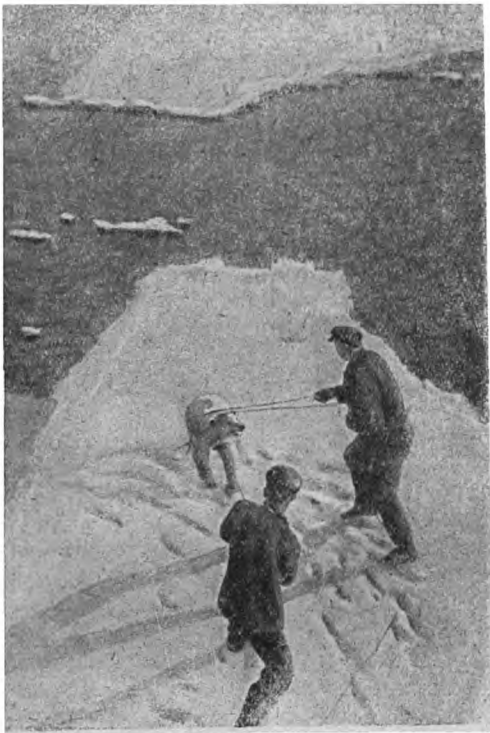
Этот день оказался для охотников особенно счастливым. Часам к девяти, когда туман над морем и льдами стал подниматься, об'явился еще один медведь. Он шел прямо на нос корабля. Очередные стрелки, положив винтовки на железный фальшборт, приготовились к встрече. Медведь подвигался неспешно, обнюхивая снег и обходя блестящие на льду лужи. Шагах в двухстах кто-то не вытерпел и пустил пулю. Было видно, как, разбрызгав воду, пуля шлепнулась в лужу. Медведь остановился и, вытянув шею, с любопытством стал нюхать место, в которое ударила пуля. Вторая пуля уколола медведя в переднюю лапу, и он, вздрогнув, с недоумением стал разглядывать и нюхать свою раненую ступню. Выстрелы щелкали градом. Понявши опасность, зверь попытался бежать. Пули засыпали его. При каждом удачном попадании он оседал, вздрагивал всем своим телом. Большое розовое пятно расплывалось на его плече. Мне неприятно было смотреть на беспощадный расстрел зверя, и я поспешил спуститься в каюту<sup>1)</sup>.

### Льды

Мы уже привыкли к несомлаемому проходу льдин о железные, с обозначившимися шпангоутами-рёбрами, до блеска обтершиеся борта ледокола и спим крепко. Иногда меня будят особенно сильные, похожие на залп многих орудий, раздающиеся у самой головы

<sup>1)</sup> Интересно отметить, что в желудках добытых нами у острова Белль трех медведей ничего, кроме следов переваренного мха, не оказалось. Желудки были пусты. Это обстоятельство показывает, что медведям нередко приходится поститься и не всегда на обед у них бывает мясное.

удары, и на мгновение кажется—рушится над головой небо и стремглав летишь в преисподнюю. Невольно вскакиваешь с койки и протираешь глаза. Сосед, укрывшись с головой малицей, мирно спит на своей койке. В подвешенное над изголовьем ведро сочится с потолка во-



Поймали медвежонка

да. Под столом и за обшивкой каюты корабельные крысы устраивают свой обычный карнавал. Я быстро прихожу в себя, вижу в иллюминатор: за мутным, покрытым потеками стеклом, в каком-нибудь аршине, вплотную медленно пропльывает, страшно скрежеща по стальному борту, зеленая, закрывающая свет светящаяся фосфорически ледяная громада.

Спать больше не хочется, тянет из сырой полутемной каюты на воздух и свет. Наспех одевшись, прикрыв почерневшую от угольной пыли подушку, выхожу на палубу и поднимаюсь на мостик, где неуставно, ступая мягкими валенками, ходит из угла в угол наш бессменный водитель капитан Владимир Иваныч.

— Доброе утро.

— Доброе утро, — приветливо собирая морщинки у носа, говорит капитан. — Какое спалось?.. — По его лицу мы привыкли угадывать о наших успехах. Сегодня лицо капитана сосредоточенно-сурово. Густой, почти непроницаемый туман покрывает море и льды. Из седой, сливающейся пелены то и дело выныривают под носом идущего малым ходом ледокола и медленно проплывают зеленые и белые льдины. Кажется, ледокол и льды и ослепляющий нас туман все это — видение и призрак. И странным показывается спокойный и уверенный голос капитана, приказывающий рулевому:

— Легонько левой.

— Есть легонько левой...

Путь к Земле Вильчека оказался тяжелым. Густой туман и скопившиеся у восточных берегов архипелага тяжелые льды окончательно загородили «Седову» дорогу, и, чтобы пробиться на чистую воду, капитан был вынужден несколько раз изменять курс.

Управление судном, плавающим во льдах, требует большого опыта и неослабного напряжения внимания. Нужна многолетняя практика, чтобы разбираться в многообразных свойствах полярного льда. Труд ледового капитана, плавающего в совершенно необследованных морских пространствах, неизмеримо ответственнее и сложнее привычных обязанностей капитанов кораблей, делающих обычные рейсы. Плавание во льдах требует почти ежеминутных приказаний. Мало безостановочно долбить окружающие ледокол льды. Такое «долбление» могло бы безнадежно погубить судно. Нужен опытный и зоркий глаз, чтобы в окружающих льдах безошибочно найти наиболее проходимый путь. Только при крайней надобности, когда нет иного выхода, ледокол приступает к «форсированию» льдов. Чем грузнее судно и сильнее машина, чем прочнее стальной корпус, тем легче справляется оно со льдами. Чтобы разбить преграждающее путь ледяное поле, ледокол должен взять разгон. Закругленный нос ледокола въезжает на лед, и под его тяжестью ломаются и крошатся толстые льдины. Потеряв ход, ледокол отступает, чтобы опять ударить с разбегу теперь

уже в соседнее место. Так, удар за ударом, как долото в дереве, ледокол медленно пробивает себе во льдах достаточно широкую для прохода дорогу...

Наконец сплошное ледяное поле, преграждавшее путь к более разреженным льдам, пробито, и, содрогаясь от ударов, оставляя на льдинах последнюю краску с бортов, корабль ползет дальше. Капитан в бочке на мачте. Он в овчинном тулупе, с тяжелым биноклем в руках, и сверху привычно слышатся его приказания (иной раз приправляемые соленым словечком):

— Лево руля!.. Одерживай!.. Так держать!..

Такое продолжается недолго. Опять подходят тяжелые льды, и поминутно звонит в машину с мостика телеграф, валится от сотрясения и ударов в кают-компанию со стола посуда.

### «Лагерь Циглера»

Пробиваясь во льдах к Земле Вильчека, 31 августа мы посетили небольшой островок Аагад, расположенный в юго-восточной части архипелага. По рассказам с'езжавших на берег, этот каменный и пустынный островок, накрытый густым туманом, отлично годился бы для высылки самых закоренелых преступников. Наши путешественники недолго оставались на нем. Закончив сборы и наблюдения (флора и фауна островка оказались очень бедны), они скоро вернулись на судно. Экскурсия на пустынный остров, как водится, не обошлась без приключений. На обратном пути самые заядлые из охотников (к таковым принадлежали главным образом газетные корреспонденты), досадуя на отсутствие белых медведей, занялись пальбою по опорожненным консервным коробкам. Пули в тумане свистели во всех направлениях. Один из ученых, сбиравший на берегу каменные породы, нечаянно угодил под обстрел. Ради спасения жизни почтенный профессор был вынужден спрятаться за камни. Только вопль профессора, кричавшего высоким тенором «караул», прекратил наконец азартное состязание в стрельбе...

Потеряв всякую надежду пробиться к Земле Вильчека, испробовав все пути, «Седов» направился к острову Альджер, где в 1901—1902 гг. зимовала амери-

канская экспедиция, снаряженная на средства миллиардера Циглера. Эту экспедицией, оборудованной с невиданным богатством (на снаряжение было затрачено около миллиона долларов), руководил американский метеоролог Болдуин. Однако, несмотря на великолепное оборудование, экспедиция Болдуина не только не достигла своей цели — Северного полюса, но и вообще была самой неудачной из всех экспедиций, зимовавших когда-либо на Земле Франца-Иосифа. Зимой участники экспедиции — американцы и норвежцы — перессорились между собою, и всей экспедиции, оставшейся на острове большие склады продовольствия, пришлось вернуться на другой же год...

Пройдя открытой водою к берегам острова Альджер, «Седов» остановился в полутора милях от берегового припая, за которым виднелся низкий берег с сохранившимися постройками «лагеря Циглера». Над плоским берегом и пустынным морем не было видно ни одной птицы. Даже провожавшие нас чайки скрылись бесследно. Только на зеркально-спокойной воде, отражавшей высокое, бесцветное небо, плавал и нырял единственный морской заяц. Посылая круги, он то высовывал из воды усатую голову, то скрывался, на мгновение показав над водою толстую блестящую спину. Чтобы привлечь его внимание, стоявшие на палубе охотники стали свистать изо всех сил, но заяц, занятый своими упражнениями, не пожелал приблизиться к кораблю.

На берег мы съехали в двух шлюпках. Шагая по вязкому илу, нанесенному с горы ледниковым, быстро струившимся потоком, мы поднялись к покинутому и разрушенному лагерю. Вся просторная площадь была завалена остатками экспедиционного снаряжения. Подле сохранившейся постройки, имевшей форму двух небольших цирков, соединенных сепями, на оттаявшей земле в беспорядке валялись части ветряного двигателя, свинцовые и деревянные ящики и резные архангельские дуги (в экспедиции Болдуина были лошади-пони). В прыгавшей к помещению, наполненной слежавшимся снегом кладовой мы нашли несколько ящиков с консервами, оказавшимися еще годными к употреблению,

и несколько пудов испортившегося, рассыпанного медведями кофе. Некоторые предметы удивляли своею исключительною добротностью. Особенно хорошо сохранились пеньковые плетеные тросы и целые рулоны великолепного толя. К сожалению, незадолго до прибытия «Седова» остров успели посетить неизвестные люди, повидимому промышленники-норвежцы, следы которых были отчетливо видны на береговом песке. Крыши обоих покрытых толем цирков были варварски проломлены топорами, а внутренность их кем-то тщательно «обследована»...

Пока я занимался фотографированием и рассматриванием дома, вся наша компания разбрелась по берегу. Черные фигуры с торчавшими стволами винтовок то и дело кланялись над землею. Кто — неведомо для какой надобности — собирал крылья ветряной мельницы, кто катил тележку, сделанную из доньев распиленной бочки, кто просто позировал перед объективом киносъемочного аппарата, неизбежно сопровождавшего каждую нашу экскурсию. От бродивших по берегу то и дело слышались веселые замечания:

— Эка добра пропадает...

— Одного свинца сколько можно собрать...

— Здорово собирались американцы...

Уже перед возвращением на ледокол кем-то из копавшихся в маленьком полуразрушенном домике, находившемся в стороне от главного помещения, было сделано неожиданное открытие. Голос Григория Петровича возвестил:

— Товарищи, шоколад!

В случайно открытом ящике оказались продолговатые жестяные банки, наполненные шоколадом и каким-то вкусно-пахучим порошком, похожим на консервированный бульон. При каждой баночке было приложено пояснение, из которого мы узнали, что баночка содержит пищевой рацион, достаточный для суточного пропитания человека. Шоколад был отличного вкуса, и кто-то, пробуя его на язык, в шутку поблагодарил миллионера Циглера, приготовившего угощение для скромных советских путешественников.

Пробыв около трех часов на берегу острова Альджер, нагруженные «трофея-

ми», мы благополучно вернулись на ожидавший нас ледакол. Нужно было торопиться. В бухте Тихой наверно заканчивались последние работы. Впереди был долгий и самый трудный путь.

### В проливах

Очнувшись после короткого сна под грохот разбиваемых льдин, я вышел на палубу. Над льдами прозрачно пеленою висел тонкий, поднимавшийся туман, а за туманом призрачно стояли снежные круглые горы. Долго вглядывался я в эти парящие призрачные горы, и мне стало казаться — вот сгинет видение, и берег расееется вместе с туманом. Топя в черной воде раздробленные льдины, «Седов» пробирался в пролив Аллен-Юнга. Просторное, ровное, серо-ледовое простиралось впереди поле. Направо и налево виднелись лунки тюленей<sup>1)</sup>. У многих лунок лежали неподвижно черные туши, тотчас незримо исчезающие в темных отверстиях лунок.

Одинокий тюлень остался дремать у своей лунки. Нам было видно его лежавшее на снегу, маслянисто блестящее продолговатое тело, круглая его головка, поднятая на короткой шее. Чтобы взять, зазевавшегося зверя, на «Седове» остановили машину. Мы быстро спустили шторм-трап и, захватив ружья, побежали по мокрому льду, покрытому жидкой, хлюпавшей под ногами снеговой кашей. Зверь напустил близко. Он лежал у самого края темневшей глубокой водою лунки. Переводя дух, бежавший впереди Ушаков остановился, вскинул к плечу винчестер. Мне было видно, как, встряхнув тушу, пуля впилась в жирный тюлений загривок. Мы окружили лежавшего на льду смертельно раненого зверя, смотревшего на нас своим огромными, темнолиловыми глазами. Трудно забыть взгляд этих неморгавших подводных глаз, со смертным ужасом смотревших снизу вверх на людей... Промышленник Журавлев с размаху ударил по круглой

голове тюленя острием багра и, став на колени, ножом проколол губы и продел в рану ремень. На длинном, тонком ремне мы поволокли мертвого зверя по льду. Туша тюленя тащилась, мятко содрогааясь, оставляя на льду розовую от крови дорогу, а мокрые ласты зверя тряпками волочились по жидкому снегу.

— Это наверно старый зверь, — решили промышленники, когда добыча была поднята на борт. — Молодой не напустил бы. Этот старый и глухой. Вот погляди, зубов нету...

Сидя на корточках, Журавлев тотчас принялся за с'емку шкуры. Собаки, в ожидании подачи, следя за каждым движением человека, звездой уселись вокруг лежавшего на палубе тюленя. Журавлев с удивительной ловкостью действовал острым самоедским ножом, и под его руками с теплой туши быстро сползала мокрая окровавленная шкура.

Охота на зазевавшегося тюленя отняла немного времени. Ранним утром мы опять остановились, упершись в непроходимый лед, наполнявший с западной стороны пролив Аллен-Юнга. Похожие на фантастические башни и стены, освещенные косыми лучами солнца, высокие торосы уходили в глубокую даль. Место было подходящее для медвежьих прогулок, и скоро дежурившие на мостике, бодрствовавшие люди заметили подвигавшегося по дальним торосам первого зверя.

Медведь на сей раз шел особенно неторопливо. Наверно он позавтракал жирным тюленем и шел, чтобы промяться. Мы видели, как он, лениво раскачиваясь, взбирается на торосы и любуется снежной сверкающей панорамой. Стоявший во льдах корабль только на время привлек внимание прогуливавшегося медведя. Задрав высоко голову, стоя на вершине тороса, он долго обнюхивал воздух. Медведю, видимо, не хотелось сворачивать с привычной дороги, и, окончательно раздумав, он неспешно спустился и повернул вправо. «Я сегодня сыт и мне незачем рисковать и приближаться к этой черной подозрительной штуке!» — объяснил нам его равнодушный и сытый вид. Показав переваливавшийся, обросший желтою бахро-

<sup>1)</sup> Каждый тюлень имеет несколько таких лунок, необходимых ему для дыхания. Спасаясь от медведя, иногда с поразительной настойчивостью часами подкрадывающегося к добыче, тюлень мгновенно скрывается в воду и появляется на поверхности нескоро — где-нибудь далеко в другой, заранее приготовленной лунке.

мою зад, перебравшись через груды рогатых торосов, медведь выбрался на ровную, залитую солнцем площадку и, завалившись на спину, на глазах охотников стал кататься по голубоватому снегу. Казалось, он принимает солнечные и снежные ванны. Охотникам хорошо было видно, как шагах в восьмистах от ледакола переваливается с боку на бок его тяжелая туша и над нею чернеют подошвы задранных кверху лап.

— Точно блинов нажрался, — смеясь и любуясь на медведя, дразнившего наших охотников, сказал проходивший по палубе матрос.

Напрасные надежды охотников скоро вознаградились появлением второго зверя, двигавшегося необыкновенно быстро. Он шел следом за первым и, казалось, спешил догнать своего ленивого друга. Заметив корабль и зачуяв доносившийся из камбуза соблазнительный запах, медведь изменил курс и напрямки направился к борту. Он шел не останавливаясь, с высоко поднятым носом, как собака по дичи. Решительное поведение голодного зверя, соблазненного запахом кухни, не оставляло сомнения, что он подойдет вплотную.

Собаки, дежурившие у железной камбузной двери, заметили двигавшегося по льду медведя и, сбившись у поручней, подняли отчаянный лай. Лай этот еще более растравил аппетит проголодавшегося мишки. Он подошел к краю лужи и, остановившись в пяти шагах от борта, стал обнюхивать воду и осматриваться, точно соображая, откуда удобнее взобраться на палубу корабля. Сверху отлично было видно каждое его движение, каждая прядь его густой сливочно-желтой шерсти. Покачиваясь на коротких лапах, маленькими черными глазками он внимательно разглядывал толпившихся на борту людей и свирепо лаявших, ошалевших от ярости собак. Зверь был так близко, что до него можно было достать концом спущенной с борта веревки. Нетерпение охотников, давно приготовивших винтовки и державших на прицеле зверя, достигло предела, когда медведь пошевелился, готовясь ступить в лужу, отделявшую его от борта. В этот момент всеми силами ненавидели охотники кинооператора, возившегося с испортившейся кассетой.

Как на грех, в большом, неуклюжем аппарате фотографа заело, и, не выдержав испытания, кто-то из нетерпеливых выругался громко:

— К чорту эту шарманку, он всю охоту нам испортит!..

— Долой киношников!..

— Долой, долой!..

Дрожаящими руками выдирая из кассеты заевшую пленку, кинооператор жаловался, почти плача:

— Я работать так не могу... у меня руки трясутся... Вы мне картину побудите!..

— Чорт побери тебя и твою картину!..

Пока на палубе разгоралась ссора, медведь продолжал спокойно исследовать борт «Седова». В тот самый момент, когда кинооператору уже угрожал подзатыльник и напряжение на палубе достигло самой высшей точки, где-то за бортом неожиданно грянул выстрел. Мы видели, как пуля шлепнулась в снег возле медведя и, потоптавшись на месте, зверь начал обходить лужу...

Неожиданный выстрел нарушил строжайшее предписание начальства, и по отходившему зверю началась неудержимая беспорядочная пальба. Выстрелы сыпались градом, и, кажется, никогда еще не получалось у нас такой сумбурной и бестолковой охоты.

Скоро раненый в пах зверь лег. Осыпаясь градом пуль, он умирал очень долго, мучительно вытягиваясь и переваливаясь на порозовевшем от крови голубом снегу. Затих он, когда было расстреляно несколько десятков патронов.

После того, как мертвый и изрешеченный пулями медведь был поднят на палубу и, окруженный собаками, с раскинутыми лапами навзничь лежал под шлюпкой, я спустился на лед, чтобы застрелить пару белых полярных чаек. Эти птицы обладают невероятной способностью на громадном расстоянии учуивать добычу. Постигнуть невозможно остроты зрения белых чаек, на расстоянии нескольких миль способных видеть выброшенный за борт кусок тюленьего сала или медвежьего мяса. Они появляются везде, где промышленяют медведи, и кормятся остатками медвежьих трапез. По обилию белых чаек безошибочно

можно определить присутствие медведей. Несколько птиц с жалобными криками (крик этих чаек до бешенства доводил когда-то Альбанова) падали над пятнами медвежьей крови. Две чайки сидели на острых окончаниях покрытых снегом торосов, своєю белизною совершенно сливаясь со сверкающей белизной снега. Мне удалось подкрасться, и двумя выстрелами я свалил обеих. Тотчас оставшиеся в живых птицы стали виться над местом охоты. Выполняя просьбу Григория Петровича, собиравшего зоологический материал, я убил еще пару круживших надо мною чаек, белыми комочками упавших в прозрачную лужу, и, собрав добычу, вернулся на ледакол.

В горячих спорах охотники забыли о выстреле, чуть не испортившем охоты и погубившем лучший кадр будущего фильма, которому предстояло изображать наши охотничьи подвиги. За утренним чаем все негадано разъяснилось. Сидевший за чаем один из североземельских зимовщиков признался, что первым выстрелил он.

— Я проснулся, ничего не зная, что делается наверху, на палубе, не подозревая о ваших приготовлениях к охоте, — рассказывал он слушавшим его охотникам. — Спокойно умывшись, держа в руках полотенце, я случайно взглянул в иллюминатор. Можете представить мое удивление, когда в кружочке иллюминатора я увидел медвежью, почти в упор смотрящую на меня морду. Мало раздумывая, боясь упустить зверя, я схватил со стены винтовку и...

— И промазал?..

— И промазал!... — конфузливо улыбаясь, протирая роговые очки, покорно согласился рассказчик.

История с медведем разрешилась к общему удовольствию. Над неудачным стрелком мы долго шутили. Больше всех страдал и волновался кинооператор. Еще очень долго под шутки и смех, чуть не плача, с досадою вспоминал он, как охотники загубили самый замечательный кадр его будущего фильма.

Только второго августа, обойдя значительную часть архипелага Земли Франца-Иосифа, сделав необходимые наблюдения, «Седов» вернулся в Тихую бухту. Дом радиостанции был закончен.

Струганым деревом весело белели на берегу среди камней свежие стены. Валялись на земле пахнущие смолою сосновые щепки.

Работы оставалось немного, и мы последний раз съехали на берег, чтобы проститься с оставшимися на смену новыми зимовщиками. Прощание было не менее торжественным, чем самая встреча. Вечером мы сидели за большим, празднично убранным столом. Новые хозяева угощали нас щоальным обедом.

Ночью кое-кто из прощавшихся вернулся на ледакол в самом веселом настроении. Лучи полярного солнца действуют удивительно на человеческий организм. Повидимому именно этим обстоятельством объяснилось, что некоторые из наших спутников, вернувшись, почувствовали желание немедленно принять морскую ванну. Один из наиболее упрямых любителей морских купаний, несмотря на уговоры, тут же спустился на плавающий у самого трапа лед. Мы долго следили, как он балансирует на мелких льдинах, тонувших и вертевшихся под его ногами. Увлечшегося купальщика, успевшего окунуться с головой, с помощью матросов наконец удалось водворить в каюту. Как и следовало ожидать, добровольное купание в морской воде с температурой ниже нуля не принесло любителю острых ощущений ни малейшего вреда. Через час он уже сидел в кают-компании как ни в чем не бывало.

На следующий день «Седов» окончательно покидал бухту Тихую. На берегу белел новый домик, по камням с лаем катались провожавшие нас собаки. Люди в кожаных куртках — уже другие — с винтовками в руках стояли на вышке. Удалявшийся берег нам казался своим, знакомым. С искренним сожалением смотрели мы на Рубини, отражавшийся в зеркальной глади. «Чудесные места, необычайные ощущения!» — думал почти каждый из нас. Пегие кайры, с трудом отрываясь от воды, как маленькие гидропланы, разбегались по зеркальной поверхности бухты. В последний раз посмотрел я на остров Кельти, сверкавший на солнце. Там, окруженный птицами, я еще недавно сидел на камнях, смотрел и слушал, как идет-движется, живет таинственной жизнью кажущийся застылым и мертвым полярный мир. Ост-

ровок Мертвого Тюленя, окруженный льдами, темнел по левому борту. Стайка лориков, свистя крыльями, пронеслась над водой близко, как бы прощаясь.

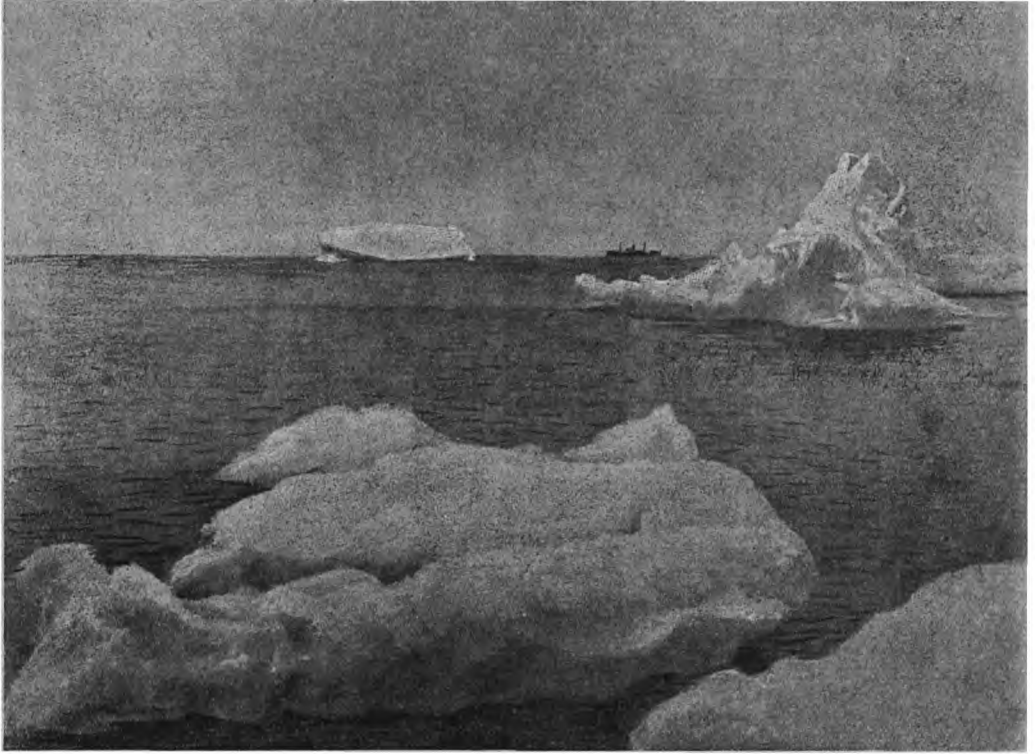
## ПОЛЯРНАЯ ВЕСНА

### Бухта Тихая

На седьмой день пути мы увидели сверкающую в лучах солнца, покрытую снегом и льдом вершину одного из островов архипелага Зем-

ва» от белого острова, казавшегося призраком в прозрачной чистоте полярного воздуха. Почти в самых этих местах более полувека назад первые путешественники Пайер и Вайпрехт с борта дрейфовавшего во льдах «Тегетгофа» с величайшим изумлением увидели эти серебряные горы, принадлежавшие еще неведомой в те времена полярной земле.

В самом деле, открывшиеся горы показывались сказочными. Было похоже,



У Земли Франца-Иосифа.

ли Франца-Иосифа. Тот самый путь, на который шестнадцать лет назад экспедиции лейтенанта Седова понадобилось более года, мы проделали в неделю. Такому успеху помогло исключительно благоприятное для плавания в нынешнем году состояние льдов Баренцева моря и замечательная способность мощного ледокола справляться со льдами, непроходимыми для простых кораблей.

Сверкающее, покрытое снегом и ропками ледяное поле отделяло «Седо-

точно серебряное широкое облако спустилось на лед и застыло. Яркое светило солнце. Ослепительно блистали вокруг льды. На мостике капитан старался определить, к какому именно пункту архипелага вышел «Седов». Оказалось, что открывшийся берег был южной оконечностью острова Хукера. Путь «Седова» к Бухте Тихой лежал левее.

Мы взяли курс к западу, в Британский канал. Все медленнее, одолевая каждую пядь, пробивался «Седов» к



Бухте Тихой, где нас ожидали оставленные ровно год назад зимовщики, по радио уже знавшие о приближении смены. Участники экспедиции не сходили с палубы. Хотелось покрепче запомнить каждую подробность ледяного пути. Немногим людям выпало любоваться на эти сверкающие серебряные горы и берега...

Поразительной показывалась призрачная белизна ледяных гор. Это не было похоже ни на что виденное прежде. На высоком светлоголубом небе, как легкий дым, висели далекие облака. Полярное солнце отражалось во льдах и снегу. И снега, и горы, и розоватые льды казались спустившимися на землю замерзшими облаками.

В черневших во льду полыньях одиночные плавали птицы. Когда леδοкол, кроша и раскалывая лед, наваливался близко, они торопливо и беспомощно пытались взлететь и внезапно исчезали под запенившейся темной водою. В глубине открывавшегося пролива, куда хватал глаз, зубцами и башнями, бесчисленными колокольнями поднимался ледяной, сверкающий город. Чаще встречались высокие айсберги, похожие на неприступные белые замки. Над сказочным ледяным городом, окруженное мерцающим кругом, неподвижное высилось солнце. Все было необычайно, смешались представления времени, пространства и места, казалось, видишь это во сне...

Я на минуту представил бескрайность окружавшей нас белой пустыни и маленький, населенный людьми железный кораблик, крошечной точкою затерявшийся в ней, и мне стало страшно. Упорно пробирался этот кораблик на север, а перед ним, точно легкая декорация, раздвигались призрачные стены и города.

«Идем Британским каналом, — записывал я в дневник. — Вокруг льды, пустыня. Я смотрю на эти окружающие нас ледяные нагромождения и, чем больше смотрю, — отчетливее видится, что именно такую была земля в свой доисторический ледниковый период...»

— Смотрите по правому борту прямо, — сказал мне один из спутников, побывавший на Земле Франца в про-

шлом году и хорошо знавший места. — Это остров Скотт-Кельти. Он закрывает вход в Бухту Тихую. Видите направо белый берег? Это мыс Медвежий. Дальше скала Рубини-Рок, главное украшение Бухты Тихой. Против Рубини, на северном берегу бухты находится станция. Сейчас ее закрывает от нас остров Скотт-Кельти...

Некоторые названия мне были знакомы по книге художника Пинегина, которую я взял с собою в путешествие. По книге представлялось другое. Я всматривался в открывавшиеся, покрытые льдом берега той самой Бухты Тихой, в которой (шестнадцать лет назад) разрешилась трагическая судьба первой русской экспедиции к Северному полюсу, и никак не мог представить ужасов полярной полугодовой ночи, сокрушающих бурь и голодной, уничтожающей человека цынги. Все сияло белизной и светом. День был на редкость прозрачный и солнечный. Невозмутимая стояла над льдами и берегом тишина. Это было так величественно и прекрасно, что я невольно подумал — какое здесь прекрасное для отдыха место!

— Однако здесь не худо, — точно угадывая мысли, сказал мой сосед, вместе со мною любовавшийся на сказочный ледяной край.

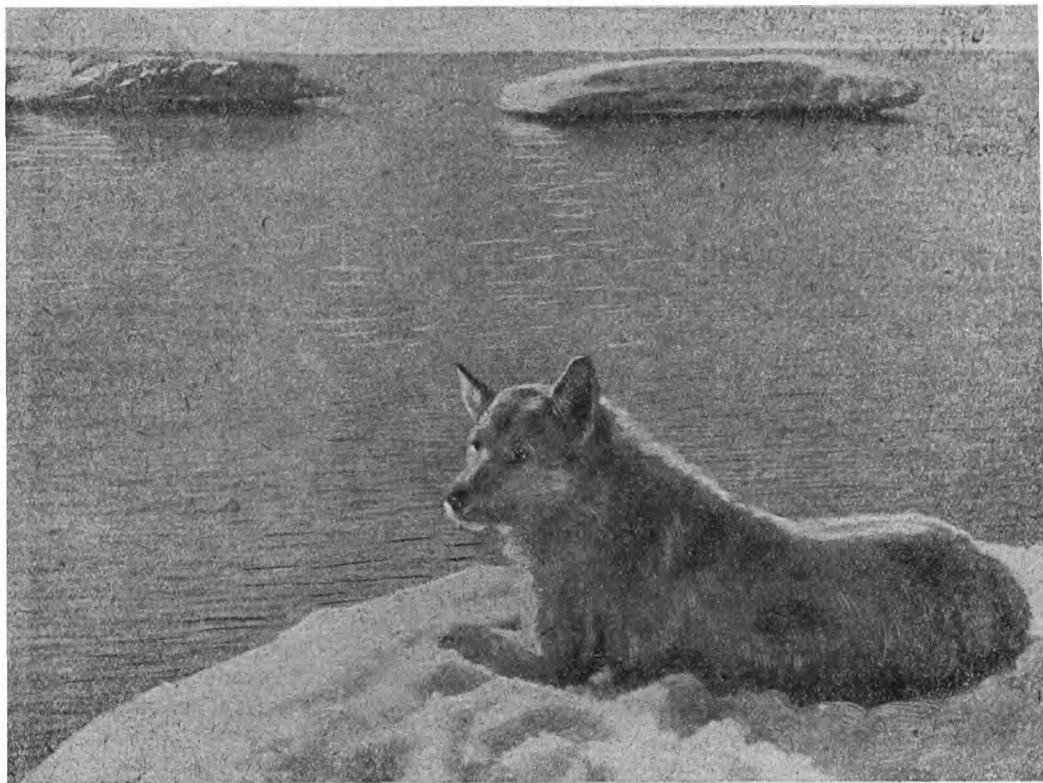
Тишина и прозрачность воздуха в самом деле были поразительные. Самые дальние берега, лед и пловучие ледяные горы были видны со всюю отчетливостью, как в хороший бинокль. Даже самые близорукие видели дальше, точно здесь само собою исправлялось зрение и глаза видели зорче.

С большими усилиями приближался «Седов» к Бухте Тихой. Остров Скотт-Кельти, оставшийся слева, был виден со всюю отчетливостью. Со своею плоской вершиной и скалистыми берегами он был похож на праздничный стол, застланный белой скатертью. На крутых обрывах, как узор на белом полотне, краснели на фоне освещенных солнцем снегов обломки и выступы скал.

Еще по пути к Земле Франца-Иосифа капитан получил от зимовщиков радио, предупреждавшее о трудной проходимости канала Мелениуса, со-

единяющего Бухту Тихую с Британским каналом. Этот южный путь был для нас наиболее коротким. Чтобы попытать счастье, капитан пошел этим кратчайшим путем, но очень скоро вынужден был уступить тяжелым, нагроможденным в узком проливе льдам. Пришлось вернуться и идти в обход острова Кельти, у северных берегов ко-

брошен последний кусок угля. Седов задумался, помолчал и, как бы решившись, отдал приказание идти в открывавшуюся за островом небольшую круглую бухту, чтобы стать здесь на вторую зимовку.<sup>1)</sup> Маленькая бухточка, хорошо защищенная от северных и восточных ветров, приветливо встретила несчастных путешественников. Седов



Бухта Тихая

торого вход в бухту был свободен. Это вынужденное удлинение пути на несколько часов отсрочивало прибытие «Седова» на место.

Мы шли в обход острова, название которого памятно по книге Пинегина, охотившегося в этих местах на медведей, и мне припомнились подробности давнишнего несчастного похода. Именно здесь, в этом месте, механик «Фоки» Зандер поднялся на мостик из машинного отделения и, вытирая катившийся с лица пот, доложил начальнику экспедиции лейтенанту Седову, что в топку

назвал ее Тихой. Здесь деревянному суденышку «Фоке» было суждено про-

<sup>1)</sup> Экспедиция лейтенанта Седова к Северному полюсу отправилась из Архангельска летом 1912 года. Этот год оказался особенно тяжелым для плазания во льдах (как теперь установлено рядом научных наблюдений, режим льдов в Ледовитом океане подвержен периодическим колебаниям, продолжающимся по нескольку лет сряду). Вместо того, чтобы дойти до северной оконечности Земли Франца-Иосифа, откуда Седов предполагал двинуться на собаках к полюсу, «Фока» был вынужден зазимовать у берегов Новой Земли, у Панкратьева полуострова. Только на второй год несчастный «Фока» добрался наконец до Белой Земли.

вести зиму, вторую после выхода в полярное плавание. Отсюда после тяжелой зимовки, замученный цынгой, не дождавшись выздоровления и не слушая предостережения друзей, по первому рассвету, весной 1914 года, в сопровождении двух матросов Седов отправился в поход к полюсу на собаках. Это путешествие оказалось для него роковым. Измученные до последней крайности, больные и обмороженные, матросы вернулись в Бухту Тихую к стоявшему во льдах «Фоке» и рассказали молчаливо слушавшим их людям о гибели начальника, который почти до самой смерти, лежа на нартах, впадая по временам в забытие, не выпускал компаса из рук и упорно заставлял матросов идти на север. Матросы — Линник и Пустошный — похоронили скончавшегося Седова на берегу неизвестного острова и с большим трудом сложили над могилой каменный холмик. Они вернулись на корабль после долгих блужданий в ледяной пустыне. Смерть Седова решила судьбу экспедиции. Нужно было возвращаться. С величайшим напряжением сил, топясь тюленьим и моржовым салом, разбирая на топливо палубы и переборки, летом 1915 года «Фока» тронулся в обратный путь. Только поздней осенью, ничего не ведая о начавшейся мировой войне, путешественники увидели пустынный мурманский берег. Возвращение было не менее печально: над миром полыхало зарево чудовищной войны. Царские чиновники и архангельские купцы, снабдившие в свое время экспедицию гнилыми продуктами, встретили возвратившихся героев по-своему. «Фока» и все имущество экспедиции, вплоть до медвежьих шкур и уцелевших музыкальных инструментов, пошло за долги с молотка.

Имя лейтенанта Седова — замечательного русского человека и исследователя — воскресло, когда Земля Франца-Иосифа была присоединена к владениям СССР, а место несчастной зимовки «Фоки» — Бухта Тихая — было выбрано для основания первой научной и постоянной станции на берегах еще и до сих пор времени не вполне исследованной, покрытой снегом и вечными льдами белой земли. Здание советской полярной

станции, самой северной в мире, построено точно в том месте, где в 1913—1914 гг. зимовала русская экспедиция лейтенанта Седова и похоронен умерший от цынги механик «Фоки» Зандер, которому не довелось вернуться.

Много раз обманывались мы, стараясь разглядеть на приближавшемся берегу признаки человеческой жизни. Прозрачность воздуха, непривычно скрадывавшая расстояния, обманывала глаз. Наконец самый зоркий из нас увидел теряющуюся на фоне каменного берега воздушную стрелочку радиомачты.

Поразительно было увидеть на этих застывших берегах живых, двигавшихся людей. Домик станции, поставленный под высоким береговым обрывом, показывался не более спичечного коробка. В большой бинокль мы разглядели людей, теснившихся на вышке. Темные фигурки людей и собак двигались внизу у самого берега.

Расцветенный по-праздничному, пестрыми флагами, надувавшимися по ходу, «Седов» входил бухту. Все участники экспедиции не отрываясь смотрели на приближавшийся, покрытый камнями берег. Любители ружейной пальбы, набив патронами карманы, выстроились на крыше радиорубки и приготовились приветствовать зимовщиков. Три залпа горохом рассыпались над гладью бухты. Грузно и пустынно, захлебываясь паром, заревел пароходный гудок.

Было видно, как у крыльца засуетились, выстраиваясь, люди. Звук ответного залпа показался слабым. По береговому припаю клубочками катились собаки, привечавшие «Седова» радостным лаем.

С искренним восхищением разглядывали мы Тихую Бухту, походившую на зеркальное озеро, окруженное ослепительными льдами. Впереди сиял ледник Юрия, челом своим незримо сливавшийся с небом, справа, опрокинувшись в зеркальной глади, высилась базальтовая скала Рубини. Целая флотилия льдин, белых и зеленых айсбергов, точно лебяжье стадо, наполняло бухту. Множество птиц, отражаясь в воде, плавало и пролетало над поверхностью бухты.

«Седов» не успел отдать якоря, когда от берега торопливо отвалила маленькая шлюпка. В ней сидели два человека. У сидевшего на корме была большая рыжая борода. Никто из прошлых участников экспедиции не мог признать бородатого гостя.

— Эка, за зиму обросли!..

— Бородища-то, борода!..

— Как борода.

— Да ведь это Илляшевич так оброс!..

Бородатого признали, когда, выпрыгнув из лодочки, качавшейся под бортом «Седого», он стал подниматься по спущенному шторм-трапу. Гость с берега действительно оказался начальником станции Илляшевичем. Густая русая борода решетом лежала на его груди. Он бодро поднялся по трапу и перескочил через поручень. Его окружили, здороваясь и целуясь.

— Не похудел!

— Поправился!

— Видать, сытое было житье...

По цветущему виду гостя можно было предположить, что зимовка не пошла ему в большой вред. Он сиял здоровьем и свежестью и с удивительной легкостью вбежал на мостик. Гости были одеты почти по-летнему. Их засыпали вопросами:

— Как зимовали?

— Сколько убили медведей?

— Заждались смены?

Окруженный толпой, румяный, улыбающийся Илляшевич наскоро успел доложить, что зимовка прошла благополучно, медведей перебили более двух десятков (одного мишку довелось убить на крыльце бани, куда он забрел неведомо для какой надобности). Люди почти не скучали и, что самое главное, ссорились мало. Все были здоровы, за исключением самого Илляшевича, всю зиму страдавшего язвой желудка и вынужденного держаться строгой диеты. Меня еще более удивил цветущий вид гостя, выдержавшего столь длительный пост.

— Ну, — сказал он, улыбаясь, когда улеглась горячка первой встречи, — теперь позвольте вас всех просить к нам на обед. У нас и стол накрыт, давно ждем дорогих гостей...

«Седов» уже стоял на якоре недалеко

от берегового припая, заполнявшего самый «кут» бухты. По крайним льдинам, перепрыгивая трещины, туго закрутив пушистые хвосты, бежали береговые собаки. По веселому виду собак, по их закрученным хвостам и звонкому лаю, которым переключались они с нашими собаками, столпившимися у борта, было похоже, что и собакам жилось недурно. Стараясь пробраться, они заглядывали в воду и визжали от нетерпения.

Пока мы беседовали с гостем, матросы успели спустить шлюпку, и в нее набился народ. Желających ехать на берег было так много, что для всех нехватило места. В шлюпках сидели и стояли. Как водится, впереди всех с треногою в руках хлопотал и сутился кинооператор, успевавший первым всюду и всегда.

Так и не довелось побывать мне первый день на берегу на званом обеде, который торжественно приготовили для нас зимовщики Бухты Тихой. Все желающие не могли уместиться в двух больших шлюпках, и мы, оставшиеся, уговорились с партией отъезжавших, что с берега за нами пришлют шлюпку. А недаром опыт полярных путешествий учит не доверять погоде и, пока ходили шлюпки, все несказанно переменилось: с юга потянул ветер, по еще недавно зеркальной глади пошла крутая темная зыбь, и мы видели с борта, как у самого берега взявшиеся за весла гребцы были вынуждены повернуть обратно. Нам, оставшимся на ледоколе, не удалось принять участие в торжестве, и время мы провели, любуясь замечательной красотой солнечной ночи. За время похода я успел привыкнуть к непрекращавшемуся скрежету льдин, бившихся о железные борты ледокола, и наступившая тишина показывалась необычайно глубокой. Впечатление этой глубокой тишины было особенно сильно на опустевшем корабле, недвижно стоявшем посреди наполнявшейся редкими льдами бухты. Ночь я провел на палубе не смыкая глаз, изредка заходя в кают-компанию, где до утра толкались и пили чай бодрствовавшие люди. О том, как проходил на берегу обед, мы узнали под

утро. Там были цветы на столе, вино и торжественные речи. Утром бухта наполнилась пловучим льдом, и кое-кто из обедавших вернулся на ледокол пешком, выптисывая на снегу легкие вензеля, что впрочем не помешало вовремя начать работу.

(Впоследствии мы все хорошо убедились, что незаходящее солнце и чистый полярный воздух действуют удивительно на человека. Никто из нас, проработав или пропутешествовав целые сутки, почти не ложась спать, не чувствовал тяготившей усталости. Та самая работа, на которую в обычных условиях требовалось много усилий, давалась с особенной легкостью и быстротой. Это замечательное действие полярного солнца на организм человека, быть может, объясняется обилием живительных ультрафиолетовых лучей в свете полярного вечного дня. «Точно помолодели» — говорили мы друг дружке, сами не узнавая себя. Даже наш почтенный профессор, Борис Лаврентьевич, самый из нас пожилой, держался таким молодцом и героем, что иному юноше зависть).

Работа по разгрузке началась с утра. Матросы спустили на воду большие просмоленные лодки, стоявшие на палубе и на люках трюмов. Первыми сошли на берег собаки, выдержавшие трудное путешествие из Сибири. Обрадовавшись снегу, они с лаем и визгом стали кататься на льдине, стараясь освободиться от накипевшей в длинной шерсти грязи. Со своими собратьями, встретившими их на берегу, приплывшие на «Седове» собаки знакомились по правилам собачьего церемониала. Они подходили друг к дружке с туго закрученными хвостами и, осторожно обнюхавшись, начинали драть лапами снег. Мы с большим интересом наблюдали за этой церемонией собачьего знакомства. Нам хотелось узнать, кто из предводителей собачьих партий (среди прибывших собак власть пока делили два сильнейших и ободранных кобеля) останется на земле главным, но вожди на сей раз разошлись мирно. Эта мирная встреча впрочем не обозначала, что в дальнейшем обойдется без злой потасовки. По неписанным собачьим законам рано или поздно один

из вожаков непременно должен уступить власть сильнейшему. Свержение старой власти редко обходится без кровопролития, и, ежели не вмешается во-время человек, дело может окончиться смертью.

Что на первый раз собаки разошлись мирно, было несомненным признаком близкой и решительной схватки.

— Весною у нас произошла драма, — сказал наблюдавший происходившее на льду собачье знакомство опытный зимовщик, — собаки разорвали лучшего нашего пса Грейфа. Это было отвратительное преступление...

Зимовщик рассказал подробно о трагической гибели Грейфа. Это был замечательный пес из породы немецких овчарок. В экспедицию его взяли на пробу, чтобы испытать в охоте на медведей. Среди ездовых собак, живших на улице в снегу, Грейф держался особняком и, несмотря на общую собачью ненависть (Грейф обитал в комнатах с людьми и пользовался привилегиями), никому не давал спуска и заставлял относиться к себе с уважением. Все собаки боялись его крепких зубов. В охоте на медведей Грейф оказался надежной собакой. Он бесстрашно в одиночку бросался на медведя. Зимой его тяжело поранил большой медведь, забредший близко к постройкам. Врач сделал ему операцию, зашил прорванную на животе рану, и к весне Грейф стал поправляться. Весною его выпустили на волю. Однажды вместе с другими собаками он убежал на лед и не вернулся. По виду возвратившихся собак люди догадались, что случилось недоброе. Собаки вернулись, как-то особенно подло облизываясь, и тотчас зарылись в снег. Отправившиеся на розыски зимовщики по следам нашли место недавнего побоища. На окровавленном и затоптанном снегу все было хорошо видно. Повидимому собаки предательски напали на ослабевшего от болезни Грейфа и, почувствовав его слабость, расправились с ним по-свойски. Так трагически погиб надеждавшийся на свои силы великолепный и смелый Грейф<sup>1)</sup>.

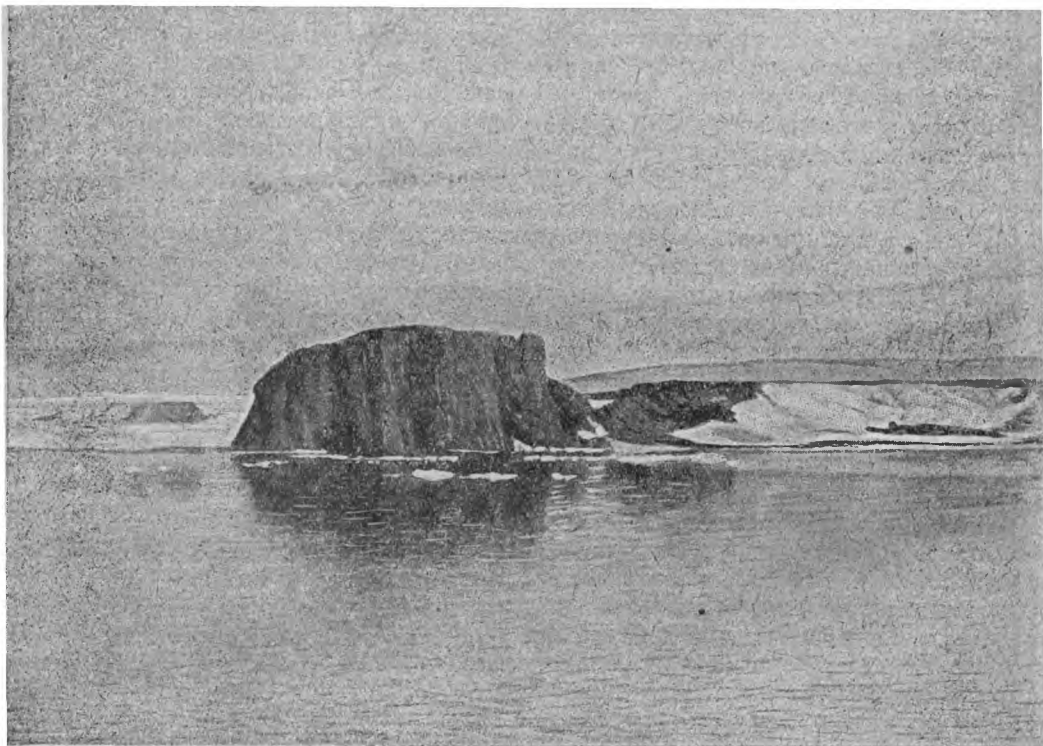
<sup>1)</sup> О собаках и неписанных собачьих законах и обычаях, карающих слабейшего смертью, я слышал много интересного. К сожалению, не

## Скала Рубини

Нашей первой экскурсией на берегах Земли Франца-Иосифа руководил Григорий Петрович, наш экспедиционный орнитолог, отлично знавший места по прошлому году. Он занимался исследованием птичьих базаров, и наш первый

путь лежал к скале Рубини<sup>1)</sup>, где в великом множестве жили и гнездились всевозможные птицы.

Захватив на всякий случай ружья (третьим с нами отправился доктор, с пылом юноши повсюду искавший необычайных приключений), мы с удовольствием разместились в большой новой шлюп-



Скала Рубини.

было никакой возможности мало-мальски внимательно наблюдать собак, живших на «Седове» в самой ненормальной обстановке. Мы видели собак или выжидательно толпящихся у полуоткрытой двери камбуза или бесцельно слоняющихся по всей палубе. Их обычным занятием было часами стоять друг против дружки и угрожающе рычать. С началом охоты на медведей собаки стали для нас подлинным бедствием, отравлявшим существование. Слишком усердные хозяева перекармливали собак медвежатинной, и на палубе не оставалось места, куда можно было без опаски ступить ногою. Всю дорогу собаки страдали расстройством желудка. Было подлинным наслаждением, когда мы наконец избавились от этих надоедавших нам, путавшихся под ногами неизмеримо грязных существ.

ке, предоставленной в наше распоряжение новым начальником станции, руководившим на берегу разгрузкой.

— Настреляйте сотенки три кайр для наших собак, — сказал он напутствуя нас. — Здесь это очень просто...

Нам показалось невозможным стрелять небоющихся человека птиц, позволяющих брать себя руками. Такая

<sup>1)</sup> Название скале дал исследователь Земли Франца-Иосифа англичанин Джексон в честь знаменитого итальянского певца. Нужно думать, что поводом для такого названия был необыкновенный шум птичьих голосов, которые услышал Джексон, приблизившись к величественной скале, украшающей Бухту Тихую.

стрельба не дело настоящих охотников, и мы решительно отказались выполнить просьбу, тем более, что не было настоятельной нужды в корме собакам, всю дорогу хорошо питавшимся мясом убитых медведей.

— Еще в прошлом году население птичьих базаров здесь было значительно гуще, — сказал Григорий Петрович, когда мы уселись на весла. — На северном берегу бухты, над самой станцией был большой базар люриков. Теперь там живут одиночные птицы. Повидимому убавилось и население Рубини. Соседство человека дает себя знать. Быть может, в ближайшем будущем для сохранения базаров скалу Рубини придется объявить заповедником, неприкосновенным для охоты...

Не заезжая на станцию, где уже кипела работа и слышались громкие голоса, странно звучащие в прозрачной тишине полярного дня, мы направились прямо к Рубини, высоким пирогом поднимавшемся над зеркальной поверхностью бухты. Непривычная прозрачность воздуха обманывала зрение, и выскокая, отражавшаяся, как в зеркале, освещенная солнцем каменная стена обманчиво показывалась близко. Понадобилось более часу, чтобы переплыть, казалось, совсем небольшое расстояние, отделявшее «Седова» от красно-бурых базальтовых обрывов Рубини. Чем ближе мы подгребали, гуще носились над нами пролетавшие во всех направлениях птицы. Белогрудые кайры садились близко на воду и, извернувшись, быстро ныряли. Под шлюпкой в иззелена-прозрачной воде глубоко было видно, как быстро плавают они, вытянув шею и загребая крыльями, как плавниками. Маленькие чистики, свистя крыльями и протянув морковно-красные лапки, неумоимо носились над нашими головами. Серый глупыш-буревестник, отражаясь в воде, грузно кружил подле шлюпки.

Чем ближе подплывали мы к выраставшей над водой скале, слышнее доносился шум большого птичьего базара. Казалось, близко шумит многоголосая ярмарка. В сливавшемся шуме и гомоне множества птичьих голосов отчетливо слышались отдельные вскрики. Было похоже, что это спорятся и кри-

чат на ярморочных возах сердитые бабы.

Бесчисленное множество птиц населяло отвесную часть скалы, стеною возвышавшуюся над водой. Птицы кричали, ссорились, непрерывно слетали и возвращались, и над скалою немолкаемый слышался шум. Вся скала от верха и до низа была покрыта ветрившимся многолетним пометом. Тяжелый запах грязного птичника чувствовался все сильнее. В абсолютной чистоте полярного воздуха этот запах казался отвратительным.

Окруженные плававшими и пролетающими птицами, не обращавшими на нас внимания, мы подгребли под самый базар. Недоступная человеку отвесная стена представляла замечательное зрелище. От самого верха птицы тесно лепились на каждом карнизе, на всяком выступе камня. Невозможно понять, как ухитрялись они держаться! Случалось, иные срывались, падали в воздух и опять с криком садились, расталкивая недоброжелательных соседей. Группы лепившихся по карнизам и выступам птиц представляли собою самые затейливые фигуры.

Птицы лепились в разнообразных позах и положениях. В бинокль можно было разглядеть, как самые крайние, раскинув смешно крылья и вытянув шею, балансируют на краешке камня. Тысячи птиц вились над скалою, и нам казалось, что мы стоим у подножья гигантского улья, из которого в жаркий полдень выходит рой. На воде под скалою хлопьями плавал пух. Известковый дождь непрерывно сыпался сверху на шлюпку, казавшуюся крошечной скорлупкой у подножия каменной гигантской скалы, глубоко уходившей в прозрачную, зеленоватую воду.

Птицы (главным образом кайры), от верха и до низа занимавшие отвесные скалы Рубини, ни малейшего внимания не обращали на проплывавшую внизу шлюпку. Положив весла и отдавшись течению, мы занялись наблюдениями. Над общим гнездовьем, на краю зеленевшего мохом обрыва я заметил сидевших попарно больших белых птиц. Эти птицы сидели отдельно и, казалось, с высоты наблюдали за общим порядком. Несколько больших птиц, махая крыльями, летало над базаром, и там,

куда они приближались, пронзительнее слышался птичий гомон и крик.

— Этих больших чаек называют бургомистрами, — сказал Григорий Петрович, — они — злейшие враги и разорители птичьих базаров. Птицы их ненавидят. Они отнимают добычу у птенцов и воруют яйца. Промышленники Новой Земли считают бургомистров своими заклятыми врагами, и ни один промышленник, завидев пролетающего или сидящего бургомистра, не пожалеет патрона, чтобы прикончить разбойника. Бургомистры так умны и проворны, что умудряются воровать рыбу из мережей, поставленных рыбаками. При этом не было случая, чтобы бургомистр запугался в рыболовных снастях, что нередко бывает с другими чайками, охотящимися за рыбой...

Над нами, на краю покрытого мохом карниза, сидела пара этих птиц с большими светло-лимонными клювами. Мне хотелось достать для набивки экземпляр полярного разбойника. Я поднял ружье.

— Стреляйте, чтобы поменьше задеть сидящих на базаре птиц — заметил Григорий Петрович, жалевший птичье население базара.

Совет орнитолога однако оказался напрасным. Я целился со всею осторожностью, однако вместе с убитым бургомистром, долго валившимся по выступам скалы и ломавшим перья, на воду пало несколько убитых и раненых птиц. После выстрела, много раз отразившегося в прозрачной тишине бухты, со скалы сорвались десятки тысяч птиц. Небо потемнело над нашими головами. Реденький известковый дождик, сыпавшийся на шлюпку, превратился в сплошной ливень. Срываясь с базара, птицы испражнялись, и под лодкой замутилась вода. Несколько подранков плавало подле шлюпки. Мы взяли плававшего у скалы невредимого и отчаянно свистевшего кайренка-птенца и подняли убитого бургомистра, оказавшегося величиною с гуся, и бросили на дно шлюпки. Тотчас оставшийся в живых супруг-бургомистр с яростным криком бросился на нас сверху. Он видел лежащую на дне шлюпки убитую птицу и с угрожающим воплем долго падал над нашими головами так смело и грозно,

что мы невольно наклоняли головы и приготавливались к защите.

Быстрое течение, огибавшее Рубини, гнало шлюпку вдоль каменного основания скалы, уходившей глубоко в воду. Поднимавшаяся над морем и заслонявшая собою небо высившаяся над нами скала вблизи казалась сложеной из тесаных каменных брусев. Правильными рядами, одно к одному лежали тяжелые колонны базальта, некогда вывернутые землетрясением из недр земли. Было трудно представить, что в этих ледяных застывших краях некогда бушевала огненная подземная сила, а в пламени извержений создавались и рушились горы...

Бурые колонны базальта, бездонная глубина неба, призрачные, окружавшие нас ледяные горы, сверкающие вокруг льды создавали впечатление сказочной страны. Шлюпка медленно плыла у подножия возносившейся в небо скалы. Птицы продолжали кричать и носиться над нами. Самый многочисленный и шумный базар кайр, занимавший западную часть Рубини, сменился базаром моевок-чаек. Эти белые и легкие птицы гнездились высоко над морем, у самой вершины скалы, в глубине темной расщелины, по каменным уступам которой, блестя и дробясь на солнце, тоненькой струйкой свергался водопад. Снизу казалось, что над вершиной скалы хлопьями кружится снег. Чайки висели высоко над скалою, освещенные ярким солнцем.

Каменные обрывы Рубини были строго поделены между различными видами гнездовавших птиц. Больше всего здесь было кайр. Эти черноспинные крикливые птицы занимали весь западный выступ Рубини. На южной стороне жили моевки-чайки и белогрудые люрики, густыми стайками носившиеся над водою. Последними на полуденном склоне гнездились черные изящные чистики.

Маленькие эти птички во множестве плавали у кромки остававшегося в «куту», еще нерастаявшего льда. Завидев приближавшуюся шлюпку, они со всех сторон стали собираться, точно для того, чтобы получше разглядеть неведомое существо. Чтобы не пугать, мы переста-



ли грести и положили на воду весла. Тогда они приблизились к самой шлюпке, и нам были видны их черные, точно лакированные головки и разглядывавшие нас бусинки-глазки. Мы долго наблюдали, как они вертятся под самыми бортами шлюпки, стараясь заглянуть внутрь, потом я протянул руку, и, как по команде, они мгновенно пропали под водой. Мы долго ждали, пока одна за другою шагах в двухстах плаваточками стали выскакивать на поверхность их черные фигурки. Мы положили весла, и опять, одолеваемые любопытством, черные птички одна за другою стали собираться вокруг притягивавшей их шлюпки. Так мы повторяли несколько раз: кто-нибудь поднимал руку, и окружавшие шлюпку птицы ныряли, а, вынырнув, опять приближались.

Насмотревшись на маленьких чистиков, настойчиво провожавших шлюпку, мы подгребли к краю ледяного припая, примыкавшего к свободной от ледяного покрова земле. Нужно было исследовать стекавший из ледника ручей, на котором могли быть гуси, изредка гнездящиеся на островах Земли Франца-Иосифа. Лед, на который мы вышли, был изъеден июльским солнцем. В широких промоинах по-весеннему быстро бежала ледяная вода. В прохладном и чистом воздухе чувалось движение весны, пахло галым снегом и весенним ветром. Раннюю весну напоминал яркий свет и журчание воды, сочившейся в размытом и разрыхленном льду.

Вытащив на лед тяжелую шлюпку, мы отправились к берегу по припаю, во всех направлениях перерезанному трещинами и глубокими полыньями. Наш вожатый с привычной легкостью перепрыгивал через широкие трещины, преграждавшие нам дорогу. Хождение по разбитому льду требует особенной сноровки и ловкости. Мне в первый раз пришлось путешествовать по льду, и, признаюсь, нелегко одолевал я встречавшиеся препятствия, сулившие на каждом шагу ледяную ванну.

На берегу, усеянном мелкими и острыми камнями, заросшем зеленым глубоким мхом, еще приметнее чувствовалась полярная весна. Под тонкой ледяной коркой звонко пели ручьи. По отлогому

склону, обращенному на полдень, ярко зеленел мох, похожий на великолепный бархат. Нога тонула и вязла. Наверху, между камнями, покрывавшими потрескавшуюся землю, пучками росли цветы, — яркие полярные маки, своею нежностью напоминавшие наши подснежники.

По каменистому скату мы поднялись на вершину пригорка, соединявшего Рубини с покрытою снегом горою Чурляниса. Отсюда открывался вид на бухту, наполнявшуюся льдами, на станцию и окруженного льдами «Седова», казавшегося не больше подсолнечного зерна. Два наших спутника-седовца встретились нам у ручья за пригорком. Они пешком обошли бухту и, завязая по колени в грязи, занимались вылавливанием «планктона»<sup>1</sup> в мутном сбегавшем из ледников потоке. К нашей компании присоединился навьюченный добычею ботаник. Он то-и-дело опускался на колени и маленькой лопаточкой ковырял землю.

— Как ваши лишай?

— Лишайники, — поправил он, вытирая катившийся по лицу пот. — Лишайями называется нечто другое, менее приятное.

— Ну, как ваши лишайники?

— Прекрасно, — отвечал он, показывая нам полные папки. — Здесь я нашел несколько видов, еще неизвестных по Земле Франца-Иосифа. Посмотрите, какие богатые экземпляры...

От сборов ботаника, доверху наполнявших тяжелые папки, пахло землей и весною. Соблазненный успехом его сборов, я сорвал на память о скале Рубини пучок росших у моих ног цветов. Это были полярные маки. Каждый цветок был похож на настоящий, знакомый мне мак, и от них также пахло весною. В корнях вырванного цветка копошилось, поблескивая крылышками, какое-то насекомое.

— Самое замечательное, — сказал я, — что эти по виду нежнейшие цветы могут уживаться обочью с вечным снегом и льдом.

— Все растения, живущие в холодных странах, умеют накапливать и бе-

<sup>1</sup>) Микроскопическое население вод.

речь теплоту солнца, — ответил ботаник. — Если измерить температуру под корнями растения, окажется, что там — как в нагретой оранжерее. Поэтому насекомое забралось в корни. Не будь этих растений, оберегающих солнечное тепло, здесь наверное не могли бы существовать насекомые, не переносящие холода...

— Взгляните на это растение, — продолжал он, вынимая из папки зеленую травинку, покрытую крошечными листками. — Не узнаете? Это — ива. Сколько понадобилось тысячелетий, чтобы обыкновенная ива, растущая в наших широтах, приняла такой вид? Однако все качества и признаки обыкновенной ивы это крошечное растение великолепно сохранило, оно так же цветет и размножается, так же сбрасывает на зиму свои листья...

Я положил на ладонь зеленую былинку, которую ботаник назвал полярной ивой. Это было крошечное деревцо длиной в спичку. По форме листочков в нем можно было узнать нашу иву, уменьшенную почти до микроскопических размеров.

Признаков гусиного гнездовья мы не нашли на берегах мутного потока, бежавшего из поднимавшегося над нами высокого ледника, ни в двух пресноводных озерах, блестевших в глубине каменистой долины. За самое короткое время, пока мы скитались по берегу, многое успело измениться в этом обманчиво показывавшемся неизменным мире. На обратном пути к оставленной на льду шлюпке нам пришлось преодолевать новые негаданные трудности. Наши следы, по которым мы надеялись найти кратчайшую дорогу к покинутой шлюпке, расплылись по снегу так, что их почти нельзя было заметить. Много новых трещин, наполненных водой, образовалось в разрушавшемся от солнечных лучей льду. Надо было опять перепрыгивать с льдины на льдину и переходить в брод глубокие озера скопившейся на льду кристально прозрачной пресной воды.

Пробираясь по льдинам и перепрыгивая через трещины, мы не сразу обратили внимание на ожидавшую нас нечаянную неприятность. За время нашего

путешествия на берег тяжелая шлюпка, которую мы вытащили на льдину, соскользнула в воду и отошла от края. Первый заметил струсившую беду шагавший впереди Григорий Петрович.

— Чорт возьми! — воскликнул он, останавливаясь и показывая на море, где шагах в десяти от края, окруженная стайкою любопытствующих чистиков, покачивалась шлюпка вместе с шубою доктора, отправившегося на берег налегке.

Негаданое приключение озадачило нас. Было трудно понять, как сама собою могла сползти на воду тяжелая шлюпка, которую мы с таким трудом выволокли на припай. Быть может, нагретая солнцем, под нею раскололась или растаяла льдина. Такие шутки льды нередко вышучивают над неосторожными путешественниками.

— Вспомните Нансена, — сказал я в утешение досадовавшим спутникам. — Здесь с ним произошла точно такая же история. Тогда он, не задумываясь, успевши только сунуть в руки своему спутнику Иогансену карманные часы, бросился в воду и после долгой борьбы с ветром и ледяной водой догнал уплывавшие каяки, уносившие в себе все их имущество. Этим была спасена жизнь обоих путешественников. Кто из нас способен быть Нансеном?..

Нансенов среди нас однако не оказалось. Мы беспомощно толклись на краю льдины, надеясь на перемену ветра, легонько рябившего зеркальную поверхность бухты. Шлюпка, дразня нас, спокойно покачивалась в нескольких шагах от края.

Потеря шлюпки, предоставленной в наше распоряжение начальником станции, порядочно нас огорчила. Особенно досадовал Григорий Петрович, самый опытный из нас путешественник. Из создавшегося положения нам оставался единственный выход — возвращаться на своих на двоих в обход Бухты Тихой. Это была довольно значительная прогулка. Однако мешкать было некогда, мы рисковали совсем потерять шлюпку, которую течение могло угнать во льды и, больше не обращая внимания на трещины, преграждавшие нам путь, во всю прыть пешком пустились в об-

ратную дорогу. Пот градом катился по нашим лицам, рубахи прилипли к спине. Это было наше первое серьезное путешествие по льду. Мы бежали напрямки через лед в обход Бухты Тихой. Помню, на пути я успел застрелить полярную чайку, сидевшую на вершине покрытого снегом тороса. Эта замечательная чайка белизною своего оперения совершенно сливалась с ослепительной белизной снега. Две капельки крови,

точно рубины, повисли на ее серебристо-белой груди.

Мы прибежали на станцию под вечер и, никому не признаваясь в стряпней над нами беде, поспешили переправиться на ледокол, чтобы немедленно взяться за поиски шлюпки. С мостика «Седова» я с трудом нагядел в бинокль у гряды подвижных льдов чуть красневшую теряющуюся на волнах точку.

# Четыре стихотворения <sup>1)</sup>

МИХАИЛ ГОЛОДНЫЙ

## I. Облава

Стонут скрипки. Ходят пары.  
Ни вперед и ни назад.  
Молча пляшут коммунары,  
Семеро моих ребят.  
«Кто ты, хлопец, мне по нраву  
Шуба, шашка и наган.  
Батьку Дулю знала, право,  
Ты не хуже, атаман!  
Погляди в глаза мне прямо,  
К нам откуда занесло?  
Ты ли это у Абрама  
Подносил мне барахло?  
Я людей видала столько,  
Что забудешь — наш, не наш.  
Ну-ка, раз! Еще раз польку!  
Ну-ка, два! Даешь чардаш!»  
Стонут скрипки. Ходят пары.  
Ни вперед и ни назад!  
Молча пляшут коммунары,  
Семеро моих ребят.  
«Слушай, хлопец, под рубахой  
У тебя следы штыков.  
Нагонял ты видно страху,  
На Кирпичной на жидов.  
Набивалось хлопцев триста,

Всех к тебе в отряд отдам.  
Не поддайся мне чекистам!  
Не пойти служить жидам!  
Хлопец, хлопец, я сырая,  
Обогрей меня, прижми,  
У дверей держись к сараю,  
Ляжем в сено за дверьми».  
Стонут скрипки. Ходят пары.  
Я стреляю молча в тьму:  
— Братъ живьем их, коммунары,  
Атаманшу сам возьму!  
Хватит баловаться, ну-ка!  
Попляши одна пока.  
Мне ли спать с тобою, сука,  
Я—работник Губчека!

---

Мы по улице шагаем  
Александровскою вниз.  
Лунный серп над самым краем  
Молодых небес повис.  
— На, Валякко! будь доволен,  
Дело сухо — восемь нас.  
Но устал я поневоле,  
Выполняя твой приказ.

## II. Партизан Мельников

А с танком дело было так:  
Мы вовсе без орудий,  
Нас косит тиф, нас гонит враг,  
Как мухи,дохнут люди.

Гляжу, от нас за полверсты  
Танк вырос — сыплет градом, —  
Мы—кто в канаву, кто в кусты:  
Ответить нечем гадам.

<sup>1)</sup> Решив написать книгу о героях гражданской войны, приуроченную к 15-летию Красной армии, я отправился в Харьков, где на частной квартире встретился с группой партизан и бывших красногвардейцев. Среди них я встретил много затерянных во времени товарищей, с которыми не виделся с двадцатого года. Находясь вместе с ними в течение трех суток, я поразился, до какой степени могут томить невысказанные воспоминания. Мы вспоминали всюду и везде: за обедом, после обеда, по улицам, в трамваях, перед сном до трех часов ночи, утром, вечером, снова утром. Я уехал в Днепропетровск, где написал с десяток стихов на рассказанные эпизоды. Каждый из эпизодов—факт. Я сохранил имена участников, как это хотелось моим товарищам. Один из эпизодов принадлежит мне и несколько отступает от формы других по методу выполнения. Совершенно ясно, что факты обобщены мною ровно настолько, насколько это необходимо для того, чтобы они стали поэзией.

М. Г.

Мы ночь лежим, мы две лежим,  
 Попить, пожрать охота.  
 Но что поделаешь — режим,  
 Военная работа.  
 Болтаю как-то сам с собой,  
 Болтаю интересно.  
 И что это за танк такой,  
 Что вырос—и ни с места?  
 Да. Пролетарии всех стран,  
 Такое вышло дело.  
 За честь рабочих и крестьян  
 Душа моя горела.  
 Беру японский карабин,  
 За пояс две гранаты,  
 Ползу ползком на танк один.  
 — Прощай! кричат ребята.  
 Ползу, молчу я. Что за чорт!  
 Неужто неудача?  
 Броня на танке первый сорт,  
 Ошибка, не иначе.  
 Подполз поближе я—позор!  
 Позор всему отряду!

Из дикта танк, а в нем дозор,  
 Нас обманули гады.  
 Рванул что было мочи я  
 Гранатой по позору!  
 Взлетает танк, нога моя  
 Взлетает тоже в гору.  
 Ребя, берите пулемет!  
 В глазах туман ли, темь ли.  
 Тепло, и юшки полный рот,  
 И я, как пей, на землю.  
 С ногой ошибка вышла. Да.  
 Ее рвануло малость.  
 Но видишь — ноги хоть куда,  
 Она цела осталась.  
 С тех пор шофером семь годов  
 Держусь при арсенале.  
 Но, если надо, я готов  
 Опять нажать педали.  
 И так не будет, знаю, верь,  
 Чтоб я— и без трофеи!  
 Я кончил. Сыпьте вы теперь.  
 Я подожду. Поспею.

### III. Партизан Грач и его ад'ютант Фрейман

Просит Фрейман у Грача:  
 В лошадях у нас нехватка,  
 План мой в боевом порядке,  
 Слушай-ка не горячься.

В тридцати верстах завод  
 У помещика, у гада.  
 Кони там стоят что надо.  
 Заберу я пулемет  
 И немного — треть отряда.  
 Не прибуду к сроку — гроб!  
 Тридцать суток! Пуля в лоб!

— Ладно, — отвечает Грач. —  
 Сутки сроку — и не плачь.

Сутки нету ад'ютанта,  
 Двое нету ад'ютанта,  
 Трое — нету ад'ютанта.  
 А отряд без провианта,

Под Одессою Антанта,  
 С боку напирает банда.

— Ладно, — размышляет Грач—  
 Бей их, Гриша, и не плачь.

Ночью слышен стук копыт,  
 Пыл столбом, далекий топот,  
 Армия коней храпит,  
 Ад'ютант их гонит скопом.

— Здравствуйте, товарищ Грач!  
 — Здравствуйте, товарищ нач!  
 Забирайте, кони ваши.  
 Подавайте мне калач  
 И четыре миски каши!  
 Пулемет с отрядом цел,  
 Но с неделю я не ел.

— Ладно, — отвечает Грач.  
 Тридцать суток — и не плачь.

### IV. Жеребег

Я не против, если надо  
 Впишем жеребца в балладу.

Полковой наш жеребег—  
 Красногривый жеребег,  
 Нет теперь таких, боец,  
 Чтоб сто верст в один конец!

Говорят, от Примакова  
 Был он к нам командирован,  
 Кузнецом в Орле подкован,  
 Был он точно заколдован!

Под гармонь он шел в атаку,  
 Пробивая грудью путь.

Взять его — коробка маку  
И еще чего-нибудь!

Пуля не брала его,  
Шашка не брала его,  
Время село на него—  
Не осталось ничего.

Гнал он Врангеля на Крым,  
В море полоскал барона.  
Колыхалась степь под ним,  
Припадала рожь в поклоне.

Что же вижу?—В Понырях  
Конь наш ходит водовозом!

Тащит бочку. На ногах  
Не стоит перед начхозом.

Как полынь, ему трава,  
По ноздре течет слеза,  
Опустилась голова,  
Чешет бок ему коза.

Пуля не брала его,  
Шашка не брала его,  
Время село на него —  
Не осталось ничего.

Я подумал: что ж ты, брат...  
И впустил в него заряд.



# Записки спутника

Воспоминания

ЛЕВ НИКУЛИН

(Окончание <sup>1</sup>).

## 5. Кабул

Ветер. Ветер Индии. На большом, хрупком столе лежат пачки исчерканных синим карандашом газет. Ветер треплет страницы плотной, серой тетради «Севиаль вид милитэри» — официальной газеты вице-короля и правительства Британской Индии. Ветер шелестит шершавыми листами «Бомбей хроникл» — официальной газеты халифатского движения в Индостане. Ее издает европеец, принявший ислам. Он, как герой романа Тагора «Гора», — вождь религиозно-националистического движения, не индус по происхождению, а англичанин, кровь и плоть нации, владеющей Индией.

Синий карандаш бежит по полям газет. Он пренебрежительно отмахивается от объявлений бомбейских кинематографов, калькуттских универсальных магазинов, трансатлантических пароходных компаний, от приказов «оксиэлери форс» британского добровольческого корпуса и от отчетов о последнем состязании в поло в присутствии вице-короля в Симле. В большой двусветной комнате нет мебели, кроме большого стола для газет, маленького стола для пишущей машинки и двух стульев.

Ветер надувает паруса занавесок в верхних и нижних окнах и перелистывает газеты на полу, и страницы «Пай-онира», настольной газеты колониальных британских чиновников, перемеша-

лись со страницами «Индепендент» («Независимый»), газеты Всеиндийского комитета Конгресса. Стрекочет машинка, и в пустой комнате жужжит монотонный голос:

«...на выставке «свадеш» скобка товаров туземного производства скобка открывшейся конце июля Бомбее выставлены образцы «каддара» запаятая возраждено к жизни старинное индийское ремесло граничащее прикладным искусством точка...»

Молчание и шелест газет, и опять голос и стук машинки:

«... Разумеется, самой крупной фигурой освободительного движения является попрежнему Ганди. В начале июля 1921 г. он продолжал отстаивать свою политику пассивного сопротивления от чересчур активных резолюций провинциальных конгресс и халифат комитетов. Он ясно наметил свою цель: самоуправление типа доминионов Канады или Австралии с парламентским строем. Он порицает забастовки сочувствия и политические забастовки, указывая, что целью его является не уничтожение капитала, а установление нормальных отношений между трудом и капиталом. Всю свою энергию Махатма Ганди направляет на проведение бойкота импортного платья. В этой кампании он проявляет экстаз и увлечение, свойственное не столько политическому, сколько религиозному вождю. В кампании за «чарка» он увлекает-

<sup>1</sup>) См. «Новый мир», кн. кн. 7, 8 и 9 с. г.

ся идиллической прелестью кустарного труда в противовес разрушающей эту идиллию современной индустрии. Он доходит до призыва к отказу от фабричного производства в Индии. Он ставит преподавание ткацкого ремесла выше преподавания наук. Он сумел настоять на официальном раскаянии братьев Али и не предусмотрел последствий этого шага. Между тем колониальная политика Англии не уклоняется от своего исторического пути: правительство насаждает реакционные лиги, не прекращаются репрессии, а сам Ганди вынужден был признать свидание с вице-королем политической ошибкой. В статье «Ионг Индия» он даже склонен допустить применение насилия в отношении правительства Индии. Он призывает индийских солдат оставить службу в случае объявления Англией войны ангорскому правительству... В речи на выставке в Пу-не...»

— Где? — грустно спрашивает машинистка Маргарита Николаевна.

«...в Пуне Ганди порицал торговцев, повышающих цены на индийскую ткань и требовал распространения бойкота на фабричные изделия местного производства».

Маргарита Николаевна вздыхает и, пользуясь паузой, спрашивает: — Чего ему собственно надо? Мы покупали на базаре английский шевюит по тридцати рупий ярд, прелестная материя, чистая шерсть.—Я прерываю ее:—Пишите:

«В ответ на принудительный курс калдар...»

— Каддар? — спрашивает Маргарита Николаевна.—Нет, не каддар, а к а л д а р, индийская рупия. К а д д а р — индийская дмотканная материя, пора знать. Пишите:

«В ответ на принудительный курс индийской рупии ассоциация мануфактуристов отказалась от выполнения заключенных с Манчестером старых договоров, и в одном Бомбее лежит на таможе на 150 миллионов рупий невостребованных товаров».

Маргарита Николаевна вздыхает. Ветер шестит страницами газет, и монотонно журчит голос:

«Из потребляемых 3.600 миллионов ярдов тканей половину производит сама Индия. В настоящее время работает 12.000 механических станков и шесть с половиной миллионов «чарка»...»

Машинка перестает стучать. — Чарка? — Да, «чарка», веретено, — с раздражением говорю я. — Продолжайте: «Кампания против «бегара»...»

— Как вы сказали? — Я говорю: кампания против бегара, бегар — принудительная, бесплатная работа в пользу правительства...»

Белая занавеска колышется, и в дверях появляется босой в стареньком солдатском френче Мамед-Али. На пуговицах френча британские львы и буквы «I.R.A.» — индийская королевская армия. Он осторожно положил на уголок стола клочок бумаги, и на клочке написано четырехугольными крупными буквами: «Бюро печати, где же ваше коммюнике?» — Хуб, — говорю я, занавеска опускается, и Мамед-Али исчезает.

— Продолжаем... Итак, кампания против бегара... — Скажите, — печально говорит Маргарита Николаевна, — неужели бегар и каддар, и чарка. И это все? Как грустно. — Почему грустно?

— Низам гайдерабадский, — друг говорит она. — Низам, как это красиво, Низам, это — имя?

— Нет. Низам — титул. Скажем, эмир афганский, низам гайдерабадский. Гайдерабад — вассальное княжество. — Она облегченно вздыхает: — Значит все-таки есть раджи и слоны, и священные раковины и священные коровы? — Все есть. Раджи и «чарка», и слоны, и забастовка на Асамо-Бенгальской дороге. На чем мы остановились?

«Пайонир» сообщает, что уставы профсоюзов Удской и Рогильгандской железных дорог были благоклонно выслушаны агентом дороги...»

Мухи, кабульские мухи жужжат в пустой комнате, во дворе конский топот и крик: «Стремя! Подтани стремя, Аршак!» Я бросаю газеты и ухожу. Я пересекаю большой двор и еще один двор. А. Т. Камков встречает меня на террасе, и газетный лист взвивается,



как знамя, у него в руках: «На малабарском берегу,—говорит он,—восстало племя моплас!» Мне стыдно, что я не помню, где именно находится малабарский берег и что это за племя моплас. Наше коммюнике — триста, четыреста слов, экстракт из индийских газет,—отсылается нами в надежде, что завтра или сегодня ночью наша слабенькая радиостанция сообщит Ташкенту о племени моплас на малабарском берегу. Но радио работает скверно, и когда дипломатическая или обыкновенная почта доставит коммюнике в Ташкент, газета будет выглядеть в руках Камкова, как траурный приспущенный флаг, и я буду диктовать Маргарите Николаевне: «...улемы племени моплас на основании священных книг призывают мусульман к верности королю Георгу, законному властителю мусульман». Но завтра флаг взвоется ввысь, потому что из-за этих улемов едва не произошло кровавого столкновения между их сторонниками и теми, кто не верит священным книгам и не верен императору Индии — «законному властителю мусульман».

О, ветер Индии!

Кривая сабля ударила по земле где-то между долиной реки Гильменд и Кабулистаном, и в этом месте кончилась средняя Азия, суровые, девственные горы, камень и песок и расточительная радость зелени в редких оазисах. Долина реки Кабул началась узкой щелью и развернулась стелющимися по земле садами и разбросанным в долине древним городом. Сюда долетел ветер Индии, он вертит флюгера на крыше Дель-Куша, он уносит к облакам дым фабричных труб «машин-ханэ», единственного универсального завода в Афганистане. И когда с юга дует ветер, он кажется жаркими вздохами, дыханием трехсот двадцати миллионов людей, отделенных от Афганистана стеной Сулеймановых гор. Через Хайберский проход, между опутанных колючей проволокой фортов, дует ветер Индии, он смягчает суровые и сухие линии среднеазиатской архитектуры, он придает округлость и женственность форм куполам мечетей и вышкам дворцов, он меняет цвета Азии — желтый и коричневый — и приносит разнообразие и дешвую пестроту колониальных материй.

Из-за Сулеймановых гор над линией пограничных фортов, говорят, не пролетит ни птица, ни самолет, но Хайберский проход гостеприимно открыт для караванов из Пешавера, для колониальных британских товаров, для колониальной завали «made in England». Тысячи верблюдов обрушили на кабульский базар то, что не берет даже невзыскательный купец Кулькутты и Бомбея. Индийские архитекторы строили Дель-Куша и дворцовые дачи Пагман и Кала-и-Фату. Вот глухие, глинобитные стены кишлака Кала-и-Фату, ворота, глухой дворик, но за стеной дворика открывается сад, разбитый индийскими садовниками и три летних легких строения. Крыши из волнистого, оцинкованного железа напоминают алюминиевое крыло аэроплана, балконы и полотняные тенты вокруг дома, окна и двери — копия англо-индийского дома, построенного для колониального чиновника или богатого индуса, воспитанника британского колледжа. Внутри все раздражает: завитушки и выкрутасы обоев, канделябры, хрустальные дверные ручки, позолоченная легкая мебель, фольга, позолота, мишура и единственная полезная бесценная вещь — электрический веер, вращающийся в потолке винт. В одной комнате над золотистыми и лазоревыми обоями мы увидели непонятный, пестрый бордюр, мы долго разглядывали его снизу, затем достали лестницу, чтобы рассмотреть поблизи, и увидели, что он состоит из тысячи «карт-посталь», пошлейших разноцветных открыток, изображающих женские головки всех цветов радуги.

Индия, золотой храм сикхов, чудесный древний дворец Дэли, белый лотос Таджи Магал, встающий из серебряных вод, — так мы думали об Индии, и вдруг — эссенция элементарной, бульварной пошлости, европейской пошлости, соединенная с колониальным, изобретенным для туземных богачей стилем. Эмиры Абдурхман и Хабибула умели выбирать место для дворцов Баги-Бала и Чиль-Сутун (Сорок колонн), суровых и великолепно поставленных замков, но затем, когда в Кабул проникли строители-кондитеры, воспитанные индийскими колониальными чиновниками, появились Кала-и-Фату и Дэль-

Куша. Мы прожили в Кала-и-Фату две недели, и у меня осталось впечатление пестрой раздражающей декорации и еще веселое воспоминание об оранжерее и живом кактусе, почти чудовище, произраставшем в оранжерее. Этот живой кактус был восьмипудовый, почти круглый, как шар, чиновник министерства иностранных дел, приставленный к нам мехмандар. Он был родственник эмира, развлечение для высоких сердаров и принцев, предмет их грубоватых шуток. За стеклянными рамами в накаленной теплице не было ни растения, ни живого существа, кроме этого шарообразного толстяка во френче и бриджах цветными шашечками. Он всюду ездил с нами в отдельной карете, занимая почти все сиденье. А когда ездил верхом на могучем толстозадом жеребце, то приподымался и опускался в седле, напоминая огромный колыхающийся в море буюк. Когда же на официальных приемах решительно не о чем было говорить и все уже было сказано о погоде, о местоположении Кабула и о здоровье всех присутствующих, министры позволяли себе подшутить над кактусом-мехмандаром. Но все же шутили над ним высокие особы, по рангу не ниже министров, — это нам удалось заметить. Мы прожили недолго в оранжерейных виллах Кала-и-Фату, и постепенно все сбежали в Кабул, кроме А. Т. Камкова и Ларисы Михайловны, которых этикет заставлял жить летом в загородной резиденции. Для Ларисы Рейснер это был образ жизни пленницы, убийственный престиж определял круг визитов жены «сафир саиба», и это было довольно мучительно для литератора, которого интересовали все люди от простого «багивана», кабульского извозчика, до серебрянобородого Маулеви, индуса, политического эмигранта, бежавшего из Бенгалии и нашедшего убежище в Кабуле. Обыкновенные смертные, то-есть обыкновенные сотрудники миссии, часами склонялись по базару пешком и верхом, поднимались на гору, увенчанную сломанной короной укреплений, смотрели в бинокль, как индусы сжигают своих мертвых, как серый густой дым наклонной спиралью идет в небо и желтые языки пламени переплетаются, обвивают сучья, и белый, со-

гнутой продолговатый сверток дымит и пылает между сучьями. Мы начинали прогулки у стен городской цитадели. Старые бронзовые пушки, не употреблявшиеся даже для салютов, относились к первой и второй англо-афганским войнам, когда генерал Нотт сжег до тла и разорил кабульский базар, так, как его не разорял даже Тимур. «Кабул очень населен и очень шумен» — писал Александр Бэрнс в 1832 году. — После полудня поднимается такой крик, что нет никакой возможности разговаривать». Через девяносто лет Кабул был по-прежнему населен и шумен, но шум и суета относились главным образом к знаменитому кабульскому базару. Сверху, с горы, он напоминал по форме гигантского, распластанного осьминога, все его ответвления сходились к овальной площадке — Шур-базару. Там, поджав босые ноги и отставив расшитые золотом туфли — мультами, — буквально на серебре и золоте сидели менялы-парсы. Желто-красное пятнышко, язычок пламени нарисован у них между бровями, он придавал менялам сатанинский, лукавый вид, Парсы — огнепоклонники, эта индийская секта вообще занимается биржевыми и коммерческими операциями в Индии и Кабулистане. Это они устанавливали на кабульском базаре курс на английские соверены, русские импералы, французские лудоры и «тилла» — бухарские золотые. Всезнающий доктор Дэрвиз утверждал, что их курс ни на один пункт не отступает от курса Бомбея и Лондона. Ни индусы, ни афганцы не любят этих рожденных финансистов, потому что они скупы и безжалостны, и характер ростовщика и менялы мало изменился с тех пор, как генерал Нотт и Тимур разрушали кабульский базар. Все здесь было пестрее и разнообразнее и интереснее, чем в Герате, — индусы из Бенгала с раздвоенными, закругленными бородами и длинными загнутыми ресницами — представители чистой арийской расы, которых, сомнительные арийцы, англичане нагло называют «цветными». Монголы-хезарийцы с раскосыми глазами и выдвинутыми скулами, библейские профили и огненные глаза вазиров, афридиев — горцев из независимых племен на северо-западной границе Индии.

Горцы из Катагано-Бадахшанской области, высокие, стройные и сильные люди, поставляющие рекрутов в гвардию эмира. Горцы из Кафиристана, голубоглазые, почти блондины (кровь древних греков, основателей греко-бактрианского государства). Персы, белуджи, таджики, туркмены в высоких бараньих шапках, узбеки — рабы и подданные бежавшего в Афганистан последнего эмира Бухарского. И наконец афганцы племени дурани, похожие на южных евреев, может быть, поэтому они утверждают, что происходят от исчезнувшего в пустыне колена народа израильского. Здесь ворота Индии, узел великого древнего пути от Балтики к Индийскому океану, ключ к тайне Азии, колыбели племен, народов и рас.

В изорванной грубой рубашке, в обмотках на босу ногу, на коне-скелете сидит горец. Поперек седла одиннадцатизарядная, сверкающая, как игрушка, английская винтовка — единственный предмет щегольства. И на него глядят с завистью седые ветераны, солдаты эмира Абдурахмана, обугленные солнцем, черные, как негры, с седыми клочками волос, растущими прямо из адамова яблока. И на него глядят с завистью сероголубые артиллеристы образцового полка. А он едет, надменный и гордый в своих лохмотьях, держа навесу одиннадцатизарядное сокровище, и оно стоило своему хозяину крови, чужой и своей. А возможно, он променял на винтовку последнее стадо овец или последний клочок земли, рисовое поле, над которым до смертного пота бились его отец и дед, и прадед. У лавки оружейника, напоминающей маленький музей оружия, стоят его братья — горцы независимых племен, и чистокровные афганцы «дурани». Раскрыв рты и выкатив белки, они глядят на немецкие, английские и русские трехлинейные винтовки, револьверы от старого Лешофе до автоматического пистолета парабеллум. Они глядят на древние кремневые ружья времен НаDIR-шаха и на винтовки маузер и на самодельные ружья, сделанные из кривой палки и железной трубки. Обнаженные клинки — кавалерийские сабли, секиры, которыми вооружены афганские почтари, трехугольные ножи, палаши работы кабульской машин-ханэ, — свер-

кают синим и холодным серебристым сиянием, и вокруг, в оцепенении, затаив дыханье, стоит толпа и не слышит, как надрываются погонщики верблюдов и как страшно и непотребно ругают их, их отцов и дедов всадники, которым толпа преграждает путь. Оружие — ключ к благополучию, оно открывает яхтаны богачей, оно отдает в руки смельчака женщину, оно приближает сладкий час мести, оно возвращает стада и землю, отнятую у бедняка обидчиком-ханом. Оружие возвращает свободу и независимость бедному горцу, у которого не было ничего, кроме свободы. Он покупает патроны, он держит их на черной, грубой ладони и пересыпает их из руки в руку, как золотопромышленник пересыпает самородки, как ювелир пересыпает рубины, которые живут в горах Афганистана. И горец отдает за патроны последние две рупии, отказывает себе в горсти плова, в лепешке и глотке зеленого чая, затажке чилима и уходит, отворачиваясь от соблазнительных запахов жаровен под навесами чайханэ. Ночью по Пешаверскому шоссе он уходит на юг и, свернув с шоссе, по невидимым глазам тропам уходит в Сулеймановы горы.

Сто лет в английских и англо-индийских газетах не исчезает отдел «Независимые племена», он называется по-разному: «Северо-Западная граница», «Афганские племена» или просто «Племена». Сто лет этот отдел носит характер оперативных сводок с фронта. Не слишком часто оперативная сводка коротко сообщает: «На северо-западной границе — спокойно», но иногда лаконические строки разрастаются в сто и двести строк, в целую колонку убористого шрифта. И тогда в сводке довольно подробно изложено, что именно предпринято командованием против вазиров в Вазиристане и каким образом комбинированными действиями авиации и горной артиллерии и самой строгой блокадой ванго-вазиры были приведены к покорности и выдали сто шестьдесят восемь винтовок и патроны. Но так как военное командование потребовало не больше не меньше, как двести винтовок, то вазиры вынуждены были купить еще тридцать две недостающие винтовки, и только тогда военные действия

со стороны британских войск были прекращены. Это излагается с заgrabным британским юмором, экскурсами в историю и с тем деловым цинизмом и невозмутимой жестокостью, которая заставила Вольтера сказать: «Историю Англии надлежит писать палачу». Депутат рабочей партии интересуется положением на северо-западной границе Индии, и статс-секретарь по делам Индии церемонно отвечает, что на вопрос господина депутата такого-то округа он ничего не может прибавить к тому, что было сказано в парламенте одним из его предшественников в 1897 году такого-то числа. Точно так же на вопрос, где находился полковник Лоуренс во время мятежа Бача Сакао, представитель военного министерства сообщил, что названный полковник такого-то числа выбыл к месту своей службы на северо-западную границу Индии и в 1929 году отпуском не пользовался. По одну сторону тройная линия фортов, эскадрильи бомбардировщиков, горные орудия, тяжелые и легкие пулеметы, по другую — устарелые винтовки и горсть патронов. По одну сторону — паутина стратегических дорог, разработанная десятилетиями система ведения горной войны, разведки, провокации и подкупов и так называемая «хассадарская система» — принудительная круговая порука племен, по другую сторону — твердость и мужество отчаянья. Слава твердости и мужеству! Но кабульские щеголи равнодушно проходят мимо смертоносного товара оружейников, их занимают расплывающиеся фиолетовые и оранжевые тона бухарских халатов и оливково-золотистые халаты из Индостана. Тучный и сонный уездный начальник примеряет тяжелую баранью шубу с выделанным, как замша, лимонно-желтым верхом. От зноя и накаленного под навесом воздуха он, как лаком, покрывается капельками пота, но не торопится сбросить шубу и охорашивается, и оглядывает себя, и вдруг его взгляд останавливается на алом, расшитом золотыми шнурами мундире тамбур-мажора времен королевы Виктории, на кремовых с золотыми лампасами широких панталонах. И рядом с этим великолепием — презренные зеленые френчи с медными пуговицами и британскими

львами на них, френчи, обмотки, штаны, выброшенные в неимоверном количестве на базары Мешеда и Герата, и Кабула, и на «амсриканку» в Тифлисе. Ликвидные фонды мировой войны, залежи военных складов Антанты. В серо-голубых покрывалах как безмолвные тени из пьесы поэта-символиста стоят женщины у лавки ювелира. Стучит молоточек и выковывает из серебра широкий браслет или бирюзовую заклепку для ушей и ноздрей. Среди золотого лома медалей и монет, и колец с фальшивыми рубинами лежат часы с русским царским орлом, царский подарок из кабинета его величества, неизвестными путями очутившийся в Кабуле. Седла и сбруя, целый склад седел в серебре и бирюзе с золотой насечкой, седло, называемое офицерским, английское с малиновым чепраком, вензелем и короной, жалкое деревянное седло кочевника с веревочными стремями. Острый, крепкий запах кожи отшибает на минуту сладчайший запах дынь, гранатов и запахи пота людей и животных. Галопом скачет турецкий офицер-инструктор, его вороной карабир широкой грудью раздвигает толпу, следом за офицером со звоном и грохотом несутся карета и давит насмерть тощую собаку, и она остается на земле, плоская, раздавленная с высунутым розовым языком. В двух шагах от собаки с обрубком вместо правой руки и отрубленными ушами лежит голый нищий, страшное подобие человека. В невообразимо грязной, темной щели, в терриак-ханэ (териаконий), над арыком, лежат курильщики опиума с «видящими невидимое», осмысленно-страшными глазами. В час молитвы выходит на порог мечети мулла и, зажимая себе уши, наливаясь от напряжения кровью, кричит: «Аллах акбэр...» — велик аллах, велик, если он позволяет жить ослабленному сумасшедшим тэрикешам и прокаженному с львиным лицом, схватившему вращающиеся стремя, и развинченному педерасту в чечуче, золотых туфлях, кашмирской, сложенной вчетверо шали, великолепно ниспадающей с правого плеча. Мы путаемся в лабиринте базаров и трижды приходим к одному и тому же месту, лавке башмачника, иллюстрации в сказкам Шехерезады. Тысяча туфель, ши-

тые золотом пешаури и мультами, грубые сандалии горцев, загибаясь кверху, смотрят вопросительными знаками в небо и никак не хотят упираться носами в скучную, серую землю. И опять, и опять дикая суeta базара, качающиеся вечно жующие презрительные головы верблюдов, мотающиеся уши ослов, задержанные мундштуками оскаленные лошадиные головы, рев ослов, вопли, непередаваемо-непотребная ругань, клятвы продавцов и брань покупателей. В этом аду, величественный и спокойный, уверенным шагом проходит старик в зеленой чалме, хаджи, побывавший в Мекке. Звучным, молодым голосом он рассказывает о жизни и смерти святого, окончившего жизнь шестьсот лет назад в святом городе Джедде. И в судорогах, и поту, извиваясь, как червяк, падает к его ногам человек в последних корчах, холерный больной. Это никого не пугает. «Инш аллах», если аллаху угодно — умрет. И все попрежнему пожирают золотые дыни и нежнейший виноград из Джелалабада и заливают его мутной водой из арыка.

Еще в 1921 году кабульских вельмож и афганских ханов сопровождали рабы. Рабовладельцы, разумеется, ездили в каретах или верхом, раб бежал впереди и испуганным голосом вопил «хабардар» (берегись) и нес на бритой голове все, что надумал купить на базаре его господин или домоправитель господина. Бэрнс и другие путешественники утверждали, что рабовладельцы обращались с рабами отечески милостиво. Вот в каких выражениях составлен фирман эмира Амануллы, отменивший рабство: «Достойно сожаления, что некоторые славные и достойные лица владеют рабами и рабынями, хотя согласно приказов светлейшего шарията владение последними не дозволяется... После этого приказа лица, впавшие в униженное состояние рабства, должны быть освобождены. После этого приказа покупка и продажа рабов и рабынь какого бы ни было племени воспрещена...» Итак мы бродим по кабульскому базару через несколько месяцев после исторического фирмана, отменившего рабство. Навес над голковой вдруг обрывается, — солнечный пожар, полуденное пламя ослепляет, и вдруг солнце потухает, серая

гора идет на меня, впереди горы качается толстый серый шланг, хлопают паруса ушей по сторонам шлангахобота. Наконец вы различаете маленькие неглупые глазки. Три живых, горы пересекают базар поперек и останавливают поток людей и животных. Это ведут на работу слонов из Филь-ханэ (буквально дом слонов). Полуослепший от пыли, оглушенный, выходишь на базар — Арк, казенную, чистую часть базара и попадаешь в руки Аршака Баратова, дипломатического курьера, нашего временного завхоза, девятнадцати лет от роду. Он говорит на фарси, как чистокровный афганец и покупает коробку сыра честер и велосипедный фонарь. Из спортивного интереса и из чувства долга он торгуется так, что нормальное число зевая вокруг европейца увеличивается втрое. Он закликает купца страшными заклятиями, то высокомерно помыкает, то жалостно просит снисхождения к сироте-чужестранцу, то льстит, то обличает с библейским пафосом, цитируя наизусть статьи шарията и адата предписывающие купцу вести торговлю честно и с достоинством. Наконец он произносит заповедное «расуль мал», после чего правверный не смеет обмануть покупателя. Сделка состоялась, Аршак вытирает пот и с полным удовлетворением уводит меня домой, весь запас юношеской энергии на сегодня исчерпан, но он не позволил надуть советскую казну ни на один пейс — сотую часть рупии. И мы возвращаемся в полномочное представительство.

Под кабульскими чинарами, за длинными столами сидят пятьдесят человек — сотрудники, дипломатические курьеры, радисты советской миссии в Афганистане. Как хотите, это была редкая по многочисленности европейская колония для запретного древнего города Кобыл, как звучал Кабул в русской транскрипции XVI века. Время вспомнить увлекательную, разнообразную, иногда трагическую судьбу путешественников по странам Востока. Русские и англичане открыто соперничали смелыми вылазками в Среднюю Азию, — разумеется, это было политическим и экономическим соперничеством. Отважные путешественники проникали в XIX

веке (и раньше) в страны Востока не столько как ориенталисты, сколько как политические агенты и военные разведчики своих правительств. Так действовали в Бухаре и Хиве офицеры Мейендорф и Николай Муравьев, военный переводчик Назаров, ученый ориенталист Демезон, странствовавший под именем муллы Джаффар. С русскими соперничали Муркрофт и Гэрти, жившие в Бухаре в 1823—1834 гг., их отравил правитель города Андхой, полковник Коноли и подполковник Стоддарт, обезглавленные в Бухаре на площади Регистан, и лейтенант Бэрнс, убитый в Кабуле в 1841 году. Нашими предшественниками в Афганистане был прапорщик Виткевич, разведчик, политический агент и ориенталист, затем члены миссии казачьего генерала Столетова. Этот крагкий список завершается именем Корнилова, проникшего в Мазар-и-Шериф, того самого Корнилова, который был главкомом, был арестован в Быхове и ушел оттуда с текинцами, и погиб в гражданскую войну на Северном Кавказе. Увлекальнее всех этих странствий и жизнеописаний загадочная судьба «русского странствования по странам Востока» прапорщика Виткевича.

Виткевич — поляк по происхождению. В 1815 году, после четвертого раздела Польши, в так называемой русской Польше появились оппозиционные настроения. Второй сейм отказался принять ряд законопроектов, внесенных царским правительством, офицеры и интеллигенция объединялись для политической борьбы в тайные общества «тамплеров», «национальных масонов», «патриотов». Виткевич организовал тайное общество «черных братьев», был арестован, лишен дворянского звания и сослан рядовым в Оренбург. В то время Оренбург был уездным городом, крепостью второго класса, потерявшей значение после окончательного покорения киргиз, калмыков и башкир. Можно себе представить положение поднадзорного политического ссыльного в Оренбурге, но из дальнейшей биографии Виткевича станет ясно, что он не пытался сблизиться с оренбургским «обществом», его заинтересовало коренное население края, «киргиз-кайсацкие орды»: киргизы, башкиры, калмыки, их язык, быт и

религия. В двух километрах от Оренбурга находится Меновой двор, обнесенный крепостной стеной, восточный базар, где киргизы и башкиры меняли скот на чай и ситцы, и халаты. Сюда приходили караваны больших и сильных верблюдов, кораблей пустыни большого тоннажа. Они доставляли хлопок из Бухары и Хивы и Коканда. Здесь Виткевич открыл для себя ворота Востока. Он изучил арабский, тюркский и персидский языки, от киргиз он заимствовал красноречие, которое ему много помогало впоследствии. Он ездил в киргизские зимовья и стойбища и настолько овладел языком и изучил обряды мусульман, что мог выдавать себя за киргиза. Он оказал ценные услуги оренбургским властям в сношениях с киргизами и повидимому умело вел разведку среди хивинских и бухарских купцов. В конце концов Виткевичу дали офицерские погоны — чин прапорщика. Но человек его склада не мог довольствоваться обыкновенным, мирным прохождением службы. Он взял на себя секретные поручения генерального штаба и под видом киргиза проник в Бухару. В «святую Бухару» и страны Востока он прибыл под видом мусульманина, как многие из путешественников по Средней Азии, как мнимый мулла Джаффар (преподаватель турецкого и персидского языков в институте восточных языков П. И. Демезон), как Корнилов, будущий главком и белый командарм, и наконец, как известный полковник Лоуренс — мнимый арабский шейх. Но все же Виткевич был первым из первых. Для разведчиков и тайных агентов России и Англии не стоило труда и сомнений внешне принять ислам, но иногда даже самое точное знание обрядов не спасало от внезапного изобличения. Перед глазами Виткевича была судьба Муркрофта и Гэрти, а затем судьба Коноли и Стоддарта. Однажды эмир Бухары разоблачил фальшивого дервиша и открыл в нем европейца только потому, что тот, слушая, музыку, незаметно для себя отбивал такт ногой по европейской привычке. Будущего главкома и генерала Корнилова разоблачили в Мазар-и-Шерифе, потому что он не совершал некоторых омовений, принятых на Востоке. Виткевич расположил

к себе бухарцев глубоким знанием корана и заимствованным у киргиз красноречием, но не мог отказать себе в авантюристской выходке. На следующий день после приезда он раз'езжал по базарам Бухары в форме русского прапорщика. В этом человеке было столько храбрости, хитрости и умения вызывать к себе симпатии, что он благополучно вернулся из Бухары и в 1837 году был послан в Персию и в Афганистан для переговоров с афганским эмиром. В Кабуле произошло состязание, некоторым образом поединок двух разведчиков-авантюристов: русского — прапорщика Виткевича и англичанина — лейтенанта Бэрнса. И поединок окончился поражением Бэрнса, он был выслан из Кабула по приказанию эмира. Виткевич благополучно вернулся в Петербург и привез договор с афганским миром и много секретных материалов. Ему была назначена аудиенция у Николая I. Это было в 1839 году, за пятнадцать лет до крымского разгрома. У Николая был миллион штыков, он был жандармом Европы и реальной угрозой Британской империи. Индия — сокровище Британии, Индия, ради которой «каждая британская семья отдаст последнего сына», притягивала Николая I. И вот бывший ссыльный, бывший рядовой, отважный разведчик прапорщик Виткевич стоял на пороге почестей и новых авантур. Но в самый день аудиенции у царя прапорщик Виткевич был найден мертвым в гостинице.

Поиски романтического сюжета приводят нас к такой версии: британские агенты покончили с опасным противником накануне важных решений, принявших Николаем. Другая версия приводит к самоубийству в результате интриг в штабе. Соперник Виткевича лейтенант Бэрнс пережил его на два года. Он погиб в трагическую ночь 1841 года, когда афганцы вырезали шеститысячный английский гарнизон, оккупировавший Кабул, и из всего гарнизона только один человек, британский военный врач, добрался до Джелалабада. Материалы, привезенные Виткевичем в Петербург, исчезли бесследно. В некоторой части их использовал Гумбольдт в книге «L'Asie Central».

Читатель не будет в претензии на то, что его внимание отвлечено романтической судьбой нашего предшественника в Кабуле. Обстановка, в которой действовал этот предок полковника Лоуренса, принуждала его к сложной двойственности существования. Европейец, ученый ориенталист, лингвист (как Вамбери) должен был уничтожаться под маской узбека, тюрка, мусульманина, которую надо было носить месяцы и годы. Надо было следить за каждым своим жестом, даже мыслью. Сон не давал покоя, потому что слово, сорвавшееся с губ во сне, могло обличить и обресть на смерть тайного политического агента и разведчика. Когда такой человек возвращался в Европу, он еще долго думал на тюркском или арабском языке. Жизнь и странствия прапорщика Виткевича — сюжет увлекательного исторического романа, если бы можно было найти более подробные и точные сведения о «русском странствователе» по запретным странам Востока. Но даже самые точные и достоверные сведения не ответят нам с полной ясностью на вопрос, почему человек Запада, обрусевший поляк, тяготел к странам Востока, почему его компатриот Осип-Юлиан Сенковский, «Барон Брамбеус», русский публицист, был ученым арабистом и путешественником по странам Африки и почему например статуи Будды в Монголии, в буддийском монастыре, Гусино-Озерском дацане, «made in Warsaw», сделаны в Варшаве.

Первая и вторая англо-афганские войны в сущности были войной англичан за опорные пункты «активной обороны» Индии, за линию Джелалабад—Кабул—Газни — Кандагар. Движение русских после взятия Геок-Тепе в 1881 году к Мерву и Кушке — борьба за кратчайший путь на Индию через Герат—Кандагар—Кветту.

В 1878 году в Кабуле была миссия генерала Столетова. Она обещала эмиру Шир-Али военную помощь России, и это приблизило вторую англо-афганскую войну. «Слово белого царя» и обещания Столетова оказались пустыми словами, англичане заставили бежать Шир-Али в Россию. Он умер в Таш-Кургане. Русское правительство ухитрилось подготовить себе недруга в лице

нового эмира Абдурахмана, — в свое время он пользовался сомнительным гостеприимством туркестанского генерал-губернатора в Ташкенте. Но игра кончилась не в Кабуле, а в Европе, когда Россия после русско-турецкой войны, под угрозой новой европейской войны, принуждена была отступить от чрезмерных требований, предъявленных Турции в Сан-Стефано, и заодно помириться с контролем Англии над внешней политикой Афганистана.

При Александре III Россия однако продолжала попытки продвижения на юг, к Герату. Английская печать тогда упрекала русское правительство в том, что генерал Комаров и русский политический агент Алиханов инсценировали просьбу мервских туркмен и иолотанских туркмен-сарыков о принятии их в русское подданство. Англия уличала Россию в обмане и подкупе, в то время как сама была занята приблизительно такими же операциями в Судане.

Александр III умер, а при Николае II планы наступления на Индию померкли и отступили перед новыми авантюрами на Дальнем Востоке. Манчжурский разгром сделал русское правительство более сговорчивым. «Король-дипломат, король дэнди» Эдуард VII добился окончательного разграничения влияний России и Англии в Средней Азии, и царская Россия стояла с 1907 года перед наглухо запечатой границей Афганистана. Через двенадцать лет это соглашение перестало существовать, а еще через два года советская колония, почти пятьдесят человек, сидела за длинными столами под кабульскими чинарами и ела щи и «битки по-козацки», приготовленные из афганских барашков поваром Владимиром Григорьевичем.

Эта своеобразная историческая справка нужна для того, чтобы оценить значение приема в министерстве иностранных дел Высокого и Независимого Афганистана и аудиенции у эмира, которые предстояли нам в июле 1921 года. Изменились методы ведения внешних сношений и методы управления на территории бывшей Русской империи, изменилась политическая ситуация в самом Афганистане, и сэр Генри Добс, чрезвычайный посол Англии, ничего не мог сделать против присутствия в Кабуле

советской дипломатической миссии. Кроме этих политических соображений и выводов, сама обстановка приема в министерстве и аудиенции у эмира была для нас некоторым напоминанием об официальной, феерически-парадной Индии, Индии вице-короля и магареджей. Экзотический церемониал приобретал еще большую остроту от того, что относился не к путешествующему с дипломатическими поручениями, скажем, герцогу Конаутскому, а к бывшему студенту Политехнического института или к бывшему матросу линейного корабля, или политработнику флота.

Мы шли июльским вечером по аллеям дворцового парка между теннисной площадкой и мавзолеем эмира Абдурахмана. Не подавая признаков жизни, стояли на часах гвардейцы в красных мундирах среди темной листвы, на ковре из желтых и голубых цветов. Музыканты-индусы играли мелодии, напоминающие музыку украинских кобзарей. В оранжевых тюрбанах они сидели кружком на террасе. Маленький восьмиклавишный гармоний покрывал неуловимую, слегка истерическую мелодию и струнных инструментов, и голоса певцов, и неуловимый ритм барабанов. Электрические веера крутились в потолке зала для банкетов, слабые дуновения шевелили прозрачные кисейные занавесы, и внезапно открывался темный сад, красные изваяния часовых, острые листья пальм и острия кипарисов. Я оглянулся на моего соседа, славного парня, матроса линейного корабля. Он с тоскливым недоумением смотрел на свой прибор — шесть ножей справа, шесть вилок слева и три разных размеров ложки. До чего это не похоже на Герат, где господа генералы управлялись пятерней. Одетые в европейское платье, служилые ели слышно побрякивали посудой, и дворцовые повара доказывали полное овладение тайнами европейской кухни. Старожил полпредства шопотом называл мне седых и смуглых мужчин в сюртуках и круглых каракулевых шапках. Он сказал, что высокий сердар, министр иностранных дел, долго жил в Турции и Аравии, что он литератор и поэт, что он сочинил краткую историю Афганистана и перевел на персидский язык «Вокруг света в восемьдесят дней». За-



тем он показал мне Абдул Хади-хана, мы встретили его в Бухаре в должности афганского посла, и там, и здесь он говорил одни любезности и поблескивал злыми, быстрыми глазками. Все речи и реплики были как бы заранее написаны, все улыбки имели определенное значение, вернее не имели никакого значения. Вокруг было торжественно и чинно, таили разноцветные пирамиды и башни мороженого, и звенели ложечки о стекло. Играл индийский оркестр, и однажды вместо осинового жужжания неизвестной мелодии ухо уловило английский рэгтайм. И вдруг встал плотный, широкоплечий человек в военной скромной форме с ремнем через плечо. Он заговорил несколько хриплым надтреснутым голосом с резкими и сильными жестами. В напряженной и наводящей уныние тишине банкета он говорил так, как совсем не принято говорить в таких собраниях. Джентльмены в сюртуках и каракулевых шапках, слуги в вышитых золотом куртках, музыканты в оранжевых тюрбанах повернули к нему лица, и пламя его глаз зажигало их взгляды. В этом зале, где уже давно веяло скукой, мы услышали возгласы одобрения, прерывающие горячую, почти митинговую речь. Этот человек был Ахмед Джемаль-паша, он говорил об угнетенных народах Востока и о том, что Страна Советов искренне сочувствует их освобождению. Только один человек слушал его почти равнодушно, лицо его не выражало ничего, кроме вежливого внимания. Это был Абдурахман-бей, посланник ангорского правительства, представитель новой Турции, Турции Мустафа Кемаль-паши. На речи Джемалея кончился банкет, мы с удовольствием встали из-за стола и в саду все беседовали просто, почти неофициально, и лукавый, благодушный старичок Махмуд-Тарзи спрашивал у Раскольникова, «правда ли, что Советы хотят установить коммунизм во всех странах». Джемаль-паша смотрел по сторонам большими, блестящими и выразительными глазами. Наружностью и фигурой он слегка напоминал Тартарена Альфонса Додэ, в особенности, когда смеялся, но он был чудесный актер и бессознательно владел тайной перевоплощения. От благодушия он пе-

реходил к импозантной сдержанности истинного «гази», родича пророка наместника Сирии и Палестины, потом вдруг ослеплял афганцев величием и надменностью лучшего друга и наперсника эмира, генералиссимуса и почетного инспектора афганской армии. Но в присутствии падишаха Амануллы, на людях он преобразался в воплощенный символ обожания и преданности падишаху, главе самодержавной и духовной власти, он был как живое олицетворение рабской верности суверену, единственному независимому мусульманскому монарху.

Да, привлекателен и страшен, обаятелен и неприятен был этот человек.

Три офицера, три младотурка—Энвер-бей, Джемаль и Талаат некогда держали в своих руках Турцию. Они взяли ее силой из рук «больного человека», султана, отравителя, палача, садиста и философа—Абдул-Гамида. В изгнании, в Салониках, «кровавый султан» днем и ночью повторял их имена. Он мечтал об утонченных и изощренных пытках и казнях, которыми он предаст этих трех человек. Европейец, «реальный политик», «почти материалист», как иногда называл себя Джемаль, однажды сказал Ларисе Рейснер, что «колдун» (Абдул-Гамид) проклял его, Талаата и Энвера, и держит в своей руке нити их жизней, первая нить уже оборвалась насильственной смертью в Берлине Талаат-паши, черед Джемалея и Энвера. Джемаль говорил это в то время, когда «колдун» лежал уже в могиле. Лариса Михайловна слушала его, скрывая усмешку, ее забавлял налет фатализма, легкая тень арабского мистицизма в речах «реального политика» и «почти материалиста». Джемаль был прирожденный и увлекательный собеседник. Он находил самые живые, самые увлекательные темы в разговоре с эмиром Амануллою и с депутатом рейхстага, и с большевиком, образованным и последовательным марксистом. В этом случае он сразу находил правильный тон,—пышность оборотов и приподнятость, и умение подать себя мгновенно исчезали. Он называл себя в разговоре коротко и просто Джемаль, слегка кокетничал демократизмом и не слишком хитрил, понимая, что его удельный вес прекрасно

известен его собеседнику, и он очень ясно ощущал пределы доверия ему и его друзьями. С неугасающим любопытством и вниманием он следил за большевиками у власти, он, испытавший на себе головокружительную прелесть, отраву власти, искал у большевиков тех же зловещих симптомов отравления властью, — утери политической перспективы, потери связи с народом, с массами, доверившими власть партии пролетариата. Он искал ошибок и не находил, и изумлялся, и не верил своим глазам, видевшим победы и поражения, взлеты и падения.

Он встретил Ларису Михайловну так, как встречают красивую, молодую женщину, европейскую женщину, с которой можно поговорить о модах, театре и музыке, и с первых слов понял, что именно об этом не надо говорить, и он рассказывал ей о Вильгельме Гогенцоллерне, Абдул-Гамиде, Гинденбурге и фон-дер-Гольц-паше, Клоде Фарере и Пастере и многих других, которых он встречал в своей жизни. Конечно он не исключал обычных «светских», салонных тем, но понимал, что здесь не в этом его сила. Он не совсем свободно владел французским языком, но выразительность его жеста и блеск глаз поясняли все, что он хотел сказать, и он очень был доволен собеседницей и темой их бесед. Он сучал в Кабуле и в Пагмане — летней резиденции эмира, где жил как наперсник и друг в знакомой атмосфере, дворцовой атмосфере лести и зависти, низкопоклонства и шпионажа, милостей и опалы. Ослепительно красивый щеголь, его адъютант и в некотором роде министр его маленького двора, Истмет-бей, рисуясь, оттенял своего шефа и друга, красивый юноша Суриа-бей был второй тенью Джемала. Адъютанты делали все, чтобы внушить афганским вельможам и принцам почтительный трепет к «гази» Джемаль-паше. Но этот торжественный спектакль мгновенно прекращался, когда уходили афганские вельможи и шеф и его адъютанты оставались одни в маленькой вилле Пагмана.

От Кабула до Пагмана тридцать пять километров, крутой подъем, но хорошая автомобильная дорога. За аллеей старых чинар, среди парка белели

крыши европейских вилл. Только однажды вы вспоминаете о стране, где находитесь, и это в минуту, когда автомобиль проезжает мимо огромного старого слона с посеребренными клыками. Он прикован к столетним деревьям и, слегка покачиваясь, с полным равнодушием смотрит на пробегающие автомобили. Ему сто лет, на этом слоне везжал в Кабул казачий генерал Столетов в то время, когда не было автомобилей и от рабата Кала-и-Кази посольства торжественно везжали в Кабул на слонах. Но вместе со слонами исчезает ощущение экзотической страны.

В прохладных комнатах дачи Джемала мебель, обстановка, сами люди возвращают в Европу, скажем, в Германию, загородный дом в Грюневальде. Только здесь, в Пагмане, внезапно возникают и исчезают белые безмолвные тени, афганские слуги. Они подают кофе так, как подавали его кафеджи Джемала во дворце наместника Сирии и Палестины, замечательный турецкий кофе. А бывший наместник рассказывает и в рассказах странствует по берлинскому Тиргартену, является в Потсдаме во дворце Вильгельма или вдруг уносится в Париж, в кабачки левого берега. Обольстительный Исмет заводит граммофон, — пластинки приехали из магазина на Курфюрстендамм через Ригу, Москву и Ташкент и дальше на верблюдах в Кабул по Хезарийской дороге. Хозяин весел, галантен и добр — добродушный стареющий лев. Решительно неизвестно, где мы находимся — на французской Ривьере или в Стамбуле, и только однажды внимательный гость заметит, как сбегает улыбка с лица хозяина. Только на мгновение хозяин оставляет гостей, уходит на террасу и возвращается попрежнему ласковый, внимательный, галантный и добродушный. Большое зеркало стоит против дверей, и оно предательски отражает террасу. Оно вдруг отразило взглянувшему в зеркало человеку добродушного хозяина и слугу в белоснежном афганском платье, и оно внезапно отразило стремительный, короткий удар тыльной частью руки, голову слуги, внезапно склонившуюся на грудь и обгрявшую кровью белоснежное полотно одежды. Хозяин вернулся, он просит извинения

у гостей, — слуга подал остывший кофе, кофе должен быть горячий, обжигающий, ароматный и крепкий, настоящий турецкий кофе. Мой товарищ отошел от предательского зеркала, и у него довольный вид, когда надо уезжать. Из Пагмана в Кабул автомобиль катится по отлогому спуску, почти не включая мотора, как планирует самолет, и из замаскированной и прикрытой старой Азии мы спускаемся в Кабул, в непригожую и незамаскированную Азию.

Аудиенция у эмира Высокого и Независимого Афганистана. Даже в этой торжественной церемонии мы вдруг почувствовали опытную руку наместника ирии и Палестины, его режиссерская рука успешно боролась с режиссерами в дворца вице-короля в новом Дэли. Владотурки всегда с некоторой завистью вспоминали о торжественности и лесе селямиков кровавого султана и пытались затмить режиссерскую выдумку и гений старого колдуна. Я помню торжественную суету, одевание и бесконечные разговоры об аудиенции, — эта суета имела значение потому, что небрежность с нашей стороны самолюбивые вельможи приняли бы за пренебрежение к афганскому суверенитету. В одиннадцать часов подали кареты, и через десять минут мы были в приемной министерства. Задыхаясь в тугом мундире, веня орденами каждому соответствующую рангу, встречал Махмуд-Тарзи. Четверть часа неизвестно почему мы сидели на хрупких вызолоченных диванчиках и, задыхаясь от жары и жажды, пили вишнево-красный, противно сладкий чай из граненых стаканчиков. Позвонил телефон, и секретарь министра (или церемониймейстер) осторожно, как живое существо, взял трубку дворцового телефона, почтительно поворочал в нее и повернулся к Махмуд-Тарзи, и тогда министр встал со значительной и удовлетворенной миной. Звеня орденами и блистая золотом, чиновники и генералы вышли на парадное крыльцо. Шестьдесят человек нестерпимо для глаз сверкали под солнцем тридцать второго градуса. Как золотые жуки, они охватывали нашу группу, и мы совершенно тускнеем рядом с этим сиянием, мы, в наших скромных черных визитках и пиджаках, белых морских ки-

телях и защитных формах. Кареты едут между выстроенных шпалерами войск. За спинами солдат довольная, обрадованная «тамашей» толпа базарных зевак и бездельников. Каски и султаны, значки и золотое шитье поблескивают в облаках пыли. Через пять минут мы во дворе дворца Дель-Куша, перед войсками, выстроенными оранжево-зеленым четырехугольником. Мы втайне сочувствуем товарищам, — некоторые очень смутно догадываются о том, что собственно надо делать и как здороваться с почетным карулом, потому что это ничуть не похоже на революционные парады и празднества. Но все видят и все знают кабульские старожилы полпредства, и мы идем за ними как покорные школьники. По мраморной лестнице вестибюля золотым каскадом стекают нам навстречу министры. Они встречаются с нашей серенькой и скромной группой, и все вместе поднимаемся вверх между окаменевшими гвардейцами и чуть вздрагивающими клинками. Обыкновенный двухсветный дворцовый зал, малиновый бархат, золотые стулья, хрустальная сень люстр и два больших вращающихся винта электрических верев. Махмуд-Тарзи, волоча ноги, идет к правой двери. Гигантского роста телохранитель с усами, как у древних галлов, открывает дверь, министр легко проскользнул в щель, в которую, кажется, не мог бы пройти ребенок. Мы глазеем по сторонам и, развлекшись, рассматриваем нашего толстого мехмандара, человека-кактуса из оранжереи в Кала-и-Фату. Но дверь открывается, и к нам выходит довольно полный молодой человек. Он в скромном черном мундире, на эгрете его круглой шапки и на рукоятке сабли сверкают большие бриллианты. Он протягивает каждому из нас по очереди руку и спрашивает каждого о здоровье, о том, как мы перенесли путешествие и не вреден ли нам горный климат Кабула. Когда выпускает вашу руку, вы, как полагается, отступая, делаете полукруг и останавливаетесь у стула и маленького столика, где лежит карточка с вашим именем. Когда эта часть церемонии кончилась, повелитель Афганистана садится в кресло. Садимся и мы и смотрим, как повелитель играет перчаткой и отмахивает

вається от мух золотой палочкой с кистью из конского волоса. Он смуглый, загорелый молодой человек с бархатными как бы приклеенными усами и живыми глазами. У него несколько полные губы, он даже красив, относительно красив, во вкусе, скажем, Леона Дрея из города Одессы.

Аудиенция длится ровно час и кончается к общему удовольствию. Еще через полчаса мы снимаем промокшие, влажные тряпочки, бывшие крахмальные воротнички, визитки и пиджаки. В это время повелитель тоже снимает с себя негнувшийся мундир и регалии,—шапка и сабля с бриллиантами убираются в стальные кладовые, и он надевает полосатый френч, бриджи, краги, башмаки, садится за руль машины «Нэпир» и удирает в Пагман, где тень парка и прохлада.

За проволочными сетками бродят ручные газели и джейраны и внимательными агатовыми глазами глядят на людей, обезьяны стрекочут и гримасничают в зелени, и Джемаль-паша рассказывает ему о Париже и Риме, Берлине и Стамбуле. Он рассказывает эмиру о дредноутах и ресторанах, о метрополитэне и Луна-парке, о танках и балете, о локомотивах и синемаатографе. Он говорит с Амануллой, как Лефорт и Брюс говорили с молодым Петром I, и между прочим как бы нечаянно он роняет в сердце эмира семена честолюбия, напоминает о великом предке и соплеменнике из племени дурани, эмире Ахмед-хане. Ахмед-хан имел всего три тысячи всадников, когда восстал и отделился от Надир-шаха, и что же случилось? Ахмед-хан положил начало государству Афганистан, он был в Лагоре и сидел на золотом троне великого Могола. И лукавый царедворец дразнит молодого эмира дыханием Индии: Дэли, Лагор, Калькутта звучат в ушах эмира, как звук боевой трубы. В сущности он, эмир Аманулла-хан, — единственный повелитель правоверных на земле, повелитель ста миллионов мусульман Индии и всех других в землях халифата, с тех пор как Мустафа Кемаль-паша лишил трона султана. Лукавый царедворец целует руку эмира, единственного независимого повелителя правоверных, и уходит, отступая, закрывая лицо, как от нестерпимого света, как полагается уо-

дить от лика падишаха. Молодой эмир еще долго мечтает о золотом троне Лагора, Самарканде и Стамбуле, мечтает и пробуждается, видит Афганистан, голые, сожженные солнцем горы, бедный старый Кабул, жалкий народ пастухов и глупых ханов и изуверов-мулл. У него сжимаются кулаки и челюсти, он знает, будет много работы гератским и кайдагарским палачам, но будут в Афганистане железные дороги, телеграф и синемаатограф, и новая столица Деруламан. Потом он мечтает о дальних странствиях и чудесных столицах, но эмир Афганистана не должен покидать свою столицу, Кабул, здесь брат отнимает трон у брата и заодно отнимает у него глаза и жизнь.

Прежде повелителя уезжает в Европу сам Джемаль. Он путешествует, как султан, под священным зеленым знаменем, с конвоем эмирской гвардии. Он едет мимо кишлаков и городов, на нем зеленая чалма, он строго соблюдает омовения, он молится и беседует с аллахом, как родич пророка и близкий алаху человек, воин и духовный вождь правоверных. Афганские крестьяне припадают к стремени «гази» и целуют следы копыт его золотистого арабского коня. Ночью в роскошном шатре, походной палатке, он с удовольствием выкурит сигарету и за кофе отопьет из секретной походной фляжки глоток коньяку. Он с удовольствием думает о том, что через два месяца будет в Берлине, в своей квартире на Курфюрстендамм, вечером, как добрый семьянин, вместе с семьей посмотрит новую программу в Винтергартене и ужинать будет у Кемпинского. А в общем ему страшно оставаться одному. На нем много крови, у него мало друзей, он чужой новой Турции, Турции Мустафы-Кемалья. Там живут чужие, особенные, незнакомые ему люди. В Герате его караван обгоняют наши дипломатические курьеры. Он глядит на них и узнает армянина в девятнадцатилетнем, загорелом, как мулат, наезднике, говорящем по-тюркски, как тюрк, и по-персидски, как перс. И он спрашивает полушутя, полувсерьез моего друга и товарища Аршака Баратова: «Ты большевик или дашнак?» — «Я — комсомолец» — отвечает ему Аршак, не глядя на Джемалья,

лихо пускает коня в карьер, и Ахмед Джемаль-паша, бывший морской министр Турции, бывший наместник Сирии и Палестины, тайный атеист и масон, готов благодарить аллаха за то, что встретившийся на его пути Аршак Баратов не дашнак. Он, Ахмед Джемаль-паша, честолюбец, эпикурец, царедворец, мудрый, как змей, и увертливый, как лис, пробует понять, что же произошло в бывшей России, почему для Аршака Баратова выше мести, выше национального возмездия, выше национальной вражды, креста и полумесяца и всех национальных и религиозных эмблем звезда Интернационала.

И он плохо спит эту ночь, Джемаль-паша. Он опять видит нить своей жизни в руках «старого колдуна» Абдул-Гамида, проклятая нить соединяет его с кровавым султаном. Он, Ахмед Джемаль-паша, не сумел порвать эту нить, он и Талаат, и Энвер шли по кровавым следам «старого колдуна», когда отдали за истребление и мученическую смерть то, двести тысяч турецких армян. И вся его жизнь, жизнь льстеца и честолюбца, царедворца и воина в сущности уже зачеркнута новым веком и новым, меняющимся у него на глазах миром. В конце концов придется дать ответ за ложь, за жажду власти, за кровь народа, которую он допустил пролить, и дело не в итоге, который подведет пуля дашнака, а в суде истории, суде новой Турции, молодого и незнакомого племени.

Случилась странная вещь. На некоторое короткое время «адмиралтейские вечера» перенеслись из Петрограда в Кала-и-Фату. Под абрикосовыми деревьями, на траве собирались «профессиональные собеседники», как их называла Лариса Михайловна, — Кирилов и Сеницин, братья Калининны, Павел Иванович, балтийский моряк со скрипкой, комендант, окончивший петербургскую консерваторию — неперменные участники вечеров, затем на пегих, вороных и бурых конях приезжали верхом из Кабула соревнователи. Внезапно начинался литературный, музыкальный вечер и вечер воспоминаний. Приезжал К. в лазоревском пиджаке, — он выбрал материю в темной кабульской лавке и отдал ее портному, даже не взглянув на нее.

Портной принес ему готовый костюм (афганские портные пренебрегают примеркой), и потрясенный К. увидел пиджаки и брюки нежнейшего жандармского голубого цвета. Товарищи, у которых с голубыми мундирами были связаны воспоминания бурной юности, никак не могли привыкнуть к этому цвету.

Гиндукуш, около тысячи километров отделяли нас от родины, три месяца отделяли нас от весны 1921 года, но сложность передвижения и неправдоподобный, невообразимый быт заставляли вспоминать недавнее прошлое, как вспоминают невозвратные, далекие дни. Наши воспоминания относились к далекому у Петрограду, далекой Волге и Каспию и еще более далеким или ушедшим навсегда людям. Они, может быть, утратили некоторую долю реальности, но приобрели привлекательную романтическую дымку. Я помню рассказы об Азине, смелом до дерзости командарме в боях за Волгу, о нем очень хорошо рассказано в книге Ларисы Рейснер «Фронт». Я помню веселый рассказ Миши Калигина о небывалом спектакле фронтовой труппы в Дубровке. Самое замечательное в этом спектакле было то, что рядом с действием пьесы на сцене шло захватывающее, волнующее действие в зрительном зале, в публике. В ночь отступления из Дубровки Лариса Михайловна, Раскольников, член ревсовета Михайлов и некоторые штабные и политические работники пришли в театр. Несмотря на эвакуационные настроения, театр был полон, актеры играли несколько нервно и неровно, прислушиваясь в паузах к недоброй ночной тишине. Азин любил музыку (на фронте он не расставался с оркестром) и любил театр. Он с удовольствием слушал актеров, хотя его несколько отвлекали адъютанты. Они запросто подходили к нему во время действия и явственным шопотом сообщали: «Пластуны в восьми верстах». «Пластуны в трех верстах». «Разведка пластунов»... Так пластуна отборная бригада белых неуклонно продвигалась и к третьему акту пьесы оказалась у самой Дубровки. Ряды партера постепенно пустели, но в первом ряду невозмутимо сидел Азин, изредка отдавал адъютантам боевые приказания и глубоко переживал тра-

гедию Шиллера. Его соседи по первому ряду недоумевали, переглядывались, шептались, но все же сидели на месте. Начдив не проявлял никакого беспокойства, чего нельзя сказать об актерах. Они играли как-то наспех и без темперамента. В середине последнего акта режиссер, осторожно отстранив Фердинанда, подошел к рампе и спросил Азина, не будет ли своевременным прекратить спектакль, тем более, что пластуны... «Продолжать» — сурово сказал Азин, и Фердинанд в белом парике покорно взялся за отравленный лимонад, и бедная Луиза продолжала агонизировать. Занавес дали несколько раньше, чем полагалось, и сорвали реплику президента. Азин, нисколько не торопясь, встал, распорядился, чтобы оркестр сыграл разгонный марш, как полагается после конца спектакля, но публика разошлась на позиции после третьего акта. За кулисами Фердинанд в попытках надевал папаху поверх пудренного парика, и Луиза билась в настоящей истерике. Затем Азин вышел из театра, сел на коня, и все в полном порядке оставили город.

Тут начался среди нас горячий спор. Миша Калинин утверждал, что никаких пластунов в ту ночь не было ни в восьми, ни в трех верстах и Азин сам придумал эту штуку, чтобы узнать, как он выразался, «удельный вес», испытать храбрость командиров и политических работников. Другие утверждали, что пластуны были, но остановили наступление, потому что их поразила тишина и порядок в Дубровке, — они испугались засады. Но так или иначе все соглашались, что в ту ночь красные в полном порядке отошли. Мой сверстник слушал рассказ и споры и попросил внимания. «Я слушал вас, — начал он, — и вижу, что вы все в общем искали опасностей. Но я (нельзя сказать, чтобы я был трус), я — осторожный и в общем сдержанный человек. Я не тороплюсь переходить через улицу, я не люблю толкаться в очередях, я не участвую в уличных спорах и ссорах, и все же с самых детских лет я попадаю в рискованные и опасные положения. Тринадцати лет отроду, в потемкинские дни, я угодил под обстрел в Одессе, когда горел порт и полиция, и ка-

заки стреляли в рабочих со стороны Греческого моста. И с тех пор пошло. Вот я теперь в Афганистане за пять тысяч километров от милой родины, в полудикой стране, где убивают послов и запросто пытаются и казнят... О, милая родина. Счастливая, невозвратимая пора — детство. Милое детство, когда в один тихий воскресный полдень мы посредством рогатки разбили все стекла в пустом здании казенной палаты. О, детство, когда при помощи простой спринцовки мы залили чернилами серебристо-белый чертовой кожи китель с погонями неизвестного ведомства...»

— Да, я помню, — внезапно прервал рассказ земляк моего сверстника, — я помню этого болезненного и хилого, выхристого мальчишку. Он учился в двухклассном городском училище. Однажды на катке он подбежал к здоровенному реалисту семикласснику, ударил его по уху и, показав перочинный ножик, деловито убеждал. Милый ребенок.

— Я продолжаю, — вздыхая, сказал мой сверстник, — каким образом я мог очутиться в Афганистане? Впрочем, если не скучно, я расскажу вам... Это будет только краткое жизнеописание моего отца и дядей, моего деда и бабки. Несвоевременные, но все же любопытные биографические повести. Не думайте, что я перенесу вас в тихое дворянское гнездо или в замоскворецкий купеческий особнячок. В восьмидесяти годах мой дед был арендатором постоянного двора на Волыни, в предместье губернского города. Мои младенческие воспоминания связаны с здоровым запахом навоза, с сараями, крытыми соломой, и всевозможными экипажами — желтыми дилижансами, запряженными шестеркой одров, бричками, фаэтонами, шарабанами. Я помню рослых гайдучков в двухэтажных кеши с большими клеенчатыми козырьками, в ливреях с большими медными пуговицами. Наконец я помню возы, покрытые парусиной, и осипших бородатых извозчиков, они назывались балагулами. (Он посмотрел на абрикосовые деревья и крышу афгано-индийского бэнгало и вздохнул). Да, я родился в тихом, славном, как говорится, утопающем в садах городе, в городе с учительской семинарией, гимназией и приютом для малолетних

преступников. Моего старого и доброго дедушку обижали физически и устно проезжающие польские паны, городской, по-местному десятник, был для него божьей карой, и выше десятника стояли только графы, князья и цари. Мой дед женился в зрелом возрасте на шестнадцатилетней красивой девушке из семьи, стоявшей двумя, тремя ступенями ниже арендатора постоялого двора. Она прожила с ним двадцать четыре года, родила пять сыновей и одну дочь и сорока лет от роду убежала с местным нотариусом в город Одессу, захватив младшего сына и дочь. Это был исторический скандал на всю губернию и губернский город, и старик, ранее выпивавший одну рюмочку по большим праздникам, стал выпивать чаще и даже с проезжими извозчиками-балагулами, в конце концов он спустился на одну социальную ступень и, пожалуй, в наше время оказался бы в числе необлагаемых трудовых элементов. При старике некоторое время оставались четверо сына. Старший впечатлительный Абель не вынес первых еврейских погромов эпохи царя-миротворца, бежал в Америку и исчез там бесследно равно на сорок два года. Затем разбродились по России три других сына. Мой отец был наборщиком, потом метранпажем, потом пошел в театр и сделался актером и режиссером, на этом и кончилась интереснейшая часть его биографии. Третий сын был слесарем, затем выработался в монтера и механика. Он купил в Москве жалкие останки автомобиля «Пежо», привез и пустил в Одессе первый в городе автомобиль. Это дало ему славу и деньги. Для начала он открыл велосипедную мастерскую, и так как в воскресный день, с утра и до вечера, выпивал сорок восемь кружек пива в «Старой Баварии», то привел мастерскую в полное расстройство и тоже ушел в театр. Он был скромным театральным работником и только раз в сезон, в свой бенефис, выступал в «Князе серебряном» в роли богатыря. Я забыл сказать, что он весил семь пудов и имел нос, как говорят, поврежденный ударом железного аршина. Однажды в Донецком бассейне он ушел от грабителей, выбросив им из саней ямщика. Он умер от болезни почек, как

исторический алкоголик Александр III. Другие братья ничем не выделялись, впрочем один по слуху играл на всех инструментах и тоже был актером. Он боялся одиночества и темноты, был мнителен до сумасшествия и здоров, как атлет. Единственная тетка вместила в себе всю мягкость характера и благожелательность, которую природа отпустила на всю семью. Я еще забыл сказать о бабушке. Она похоронила своего нотариуса и занялась коммерцией и игрой на бирже. Эта была крутая, властная, молодящаяся старуха. В шестьдесят лет от роду она была приговорена по совокупности на два года арестантских рот за избивание судебного пристава, симуляцию у себя грабежа и шантаж страхового общества. Вот и все. Да, по поводу американского дядюшки, бежавшего в Америку сорок два года назад. Он был в числе пионеров, построивших город Портланд на Тихоокеанском побережье. По несчастной случайности он застрелил жену и стал мэром города и, кажется, сенатором. Он переменил имя, его зовут Вильям Алиани. Все.

— Вы спрашивали, — сказал земляк, — вы спрашивали себя, что привело вас в Кабул? По-моему, теперь ясно. И он посмотрел на окружающих.

И все ответили хором:

— Да, ясно.

Три месяца в Кабуле прошли живообразно быстро, гораздо быстрее шести недель путешествия. Мы живем на острове, пятьдесят Робинзонов, с двухкиловаттной станцией, с газетами «Правдой» и «Известиями», приходящими через семь недель после выхода, и с «Пайониром», «Сивиль энд милитэри», приходящими из Индии на третий день. Индийские газеты первыми сообщили нам о голоде на Волге. Официальные газеты писали, что голод — бич божий, покаравший большевиков. Газеты конгресса кратко сообщили о голоде, они не распространялись на эту тему, может быть, потому, что в Индии голод — бытовое явление. Наконец радиостанция приняла радио, его расшифровали с трудом, и первое известие из Москвы походило на документ, найденный в бутылке, записку, наполовину размытую волнами. Мы узнали правду о

размерах бедствия. Собрание нашей колонии было траурным и коротким. Мысль о голоде в Поволжье среди излишеств банкетов и приемов была особенно горькой и тягостной мыслью. Мы купили у афганцев хлеб, караваны верблюдов, лошадей и осликов, подвели его к Кушке, и старый состав миссии, возвращаясь на родину, привез с собой эшелон хлеба голодающим. Мы проводили чрезвычайного полпреда, его сотрудников и радиотелеграфистов (они прожили почти два года в Кабуле) и остались лицом к лицу с насторожившимися афганцами. Афганские сановники охотно склоняли слова «дружба», «Афганистан», «Советская Россия», но некоторые подумывали о благословенной поре эмира Абдурахмана, когда Афганистан не был ни «высоким», ни «независимым», но получал чистым золотом и в срок субсидию вице-короля Индии. Они по-своему оценили значение голода на Волге и траурное настроение на советском острове понимали как признак страха и неуверенности в будущем. Сэр Генри Добс не упускал случая во-время вернуть слова «пропаганда» и «Коминтерн», и две недели афганские солдаты ходили за нами, как тени. Это была наивная и грубейшая слежка, какую я когда-нибудь видел. Она выражалась в том, что афганский солдат, увидев кого-нибудь из нас за воротами представительства, шел или ехал верхом за нами, буквально дыша в спину. Мы протестовали и возмущались и наконец сделали из этих наивных шпионов простых носильщиков и проводников по базару. Секретари британской миссии не без удовольствия совершали прогулки верхом мимо ворот полпредства и недвусмысленно веселились, но скоро положение выравнилось, афганские вельможи постепенно привыкли к нам, наконец голод на Волге не опрокинул советского строя, как утверждали английские агенты, и афганцы убрали шпионов. Тридцать два человека — советский остров среди чужого моря — жили своей жизнью. Наши врачи лечили больных в афганской больнице, радиотелеграфисты старались победить несовершенство станции и атмосферические условия, секретари и советник ездили в министерство, мы со-

ставляли еженедельные политические и экономические обзоры положения в Индии, не слишком много работали, немного учились, в меру ссорились. Если первые три месяца пролетели так быстро, что некогда было оглянуться, четвертый месяц начался довольно уныло, и многие с тоской подумывали о кабульской зиме, точно это была полярная зима. Чистый горный воздух Кабула, — шесть тысяч футов над уровнем моря, — экзотическая обстановка кабульской жизни и даже легкий ветер Индии из-за Сулеймановых гор постепенно утратили очарование. Ощущение отдаленности родины, тысячи километров горных хребтов и долин, тридцатидней пути, отделяющих нас от советской границы, наводили тоску, и потому я с некоторой радостью прочитал приказ: «С получением сего предлагаю вам отправиться в г. Герат, где явиться в генконсульство РСФСР, куда вы назначены на должность секретаря».

От Герата до Кушки сто двадцать пять километров, там ветер Индии я променяю на ветер страны Советов. 15 октября 1921 года я простился с Кабулом и Ларисой Михайловной. На расстоянии десятилетия, сейчас, мне кажется, что это и было последним прощанием с Ларисой Рейснер, что это прощание было эпилогом всех встреч и странствий. Они начались в 1914 году в купеческой Москве и кончились в Кала-и-Фату, когда осенний кабульский вечер еще выдавал себя за летний, но на рассвете гора над Кабулом покрывалась прозрачным снежным серебром. Мы простились не без волнения, потому что позади были два бурных года на Балтике и в Средней Азии, потому что мы помнили вечера в Адмиралтействе и первый вечер на афганской земле и вечера в Кала-и-Фату. В сущности это и было последнее прощание. Встречи в Москве в 1923 году в обстановке московской литературной суеты не имели ни прежнего значения, ни прежней искренности. Там, в Москве, мы перестали быть товарищами, а стали старыми знакомыми. Есть жестокое различие в этих словах.

Из Кала-и-Фату в тот вечер я поехал верхом в Кабул. Я проехал мимо ворот полпредства, поглядел на огонек



в окне Рикса, может быть, именно в этот час он писал каллиграфическими буквами письмо в министерство по поводу моего отъезда. Мехмандар гулял у ворот, не мехмандар-кактус, а мехмандар с ангорскими кошками, добродушный седой усач, любитель красивых кошек. Я проехал к стене цитадели и дальше мимо крохотного, похожего на гипсовую статуэтку памятника войне за независимость.

Аллеи Чамана и ипподром. Афганские щеголи горячили тысячных жеребцов, звенели звонки велосипедистов и извозчиков-багиванов. В придворной карете проехали дамы. Закутанные в непрозрачную вуаль головы в старомодных шляпах казались странными, спрятанными от мух плодами. Потом проехал автомобиль, и я увидел молодого человека в спортивном костюме, знакомое лицо рано полнеющего молодого человека с бархатными усиками. И турецкий офицер, ехавший впереди меня в экипаже, вдруг встал и, стукнувшись головой о поднятый верх, отдал честь с окаменевшим лицом. Я тоже поклонился эмиру, он ответил и, оглянувшись с явным любопытством, посмотрел вслед. На ипподроме несколько тысяч кабульских граждан стояли на коленях, — общая вечерняя молитва. Наклонялись и поднимались тюрбаны, как бутоны больших роз. Вспыхнули электрические огни. Я остановил коня у радиостанции и зашел к радиотелеграфистам. Мы прокутили и выпили «посошок на дорожку», доброго английской виски, пахнущего аптекой и плесенью. Потом я проехал на Пешаверскую дорогу. Здесь уже не было всадников на тысячных жеребцах и велосипедистов. Огни Чамана мигали позади. Два радужных огня всплыли из темноты, два фонаря автомобиля, грузовик испугал мою лошадь. Индус-сипай сидел рядом с шофером. Вчера, а может быть, сегодня на заре грузовой автомобиль оставил Пешавер. Он пересек Сулеймановы горы. Пыль на брезентовой крышке — пыль Хайберского прохода, пыль Пешавера. А может быть, это пыль «grand Trunk Road» — великого торгового индийского пути... Здесь, на пешаверском пути, кончился для нас великий древний путь из Балтики к Индийскому океану. Сорок часов, еще сорок часов, и будет И н д и я.

Сначала форты, блокгаузы, аэродромы, проволока северо-западной границы, потом город-парк Пешавер, аллеи и виллы британских офицеров и чиновников, дальше — страна трехсот двадцати миллионов нищих. Индия магометан, индусов, сикхов и парсов, тысяча сект и каст, Индия конгресса, Ганди и Джавахарлал Нэру, Индия халифата, братьев Али — триста двадцать миллионов враждующих, проклинающих и ненавидящих друг друга бедняков — и над этим разрозненным, разноплеменным миром единая воля британцев: «Разделяй и властвуй» — старый, как мир, рецепт тирании. Индия вице-королей — новый Дэли, Амритсар, площадь, где генерал Дайер повторил в 1919 году кровавое воскресенье Николая II, положил начало методу управления колониями, называемому «дайеризмом», и получил за это почетную саблю и сто тысяч фунтов по подписке от британских аристократов. Индия раджей, королевских тигров, королевской кобры, Индия двенадцатилетних жен и вдов, которых уже не сжигают на кострах, но было бы милосерднее их сжигать, чтобы не оставлять жить в рабстве и бесправии. Индия туземных капиталистов, которым англичане кинули падачку — седьмую часть вложенных в индийские предприятия шестисот миллионов фунтов, и они верно служат Англии за эту подачку и служат потому, что три миллиона индийских пролетариев научились бастовать и устраивать демонстрации. В 1921 году слово «коммунизм» уже было произнесено в их рядах, и с тех пор его нельзя заглушить ни исступленной бранью националистической печати, ни ружейным огнем. Продажные перья уверяют мир, что народ Индии не может стать независимым, потому что это извращенный, выродившийся народ, лжеученые утверждают, что все дело в земляном черве, — он будто бы проникает под кожу босым индийцам и делает их апатичными, инертными и неспособными к самоуправлению. Человек смотрит в сумерки и видит черепок месца, синие тучи над горами Сулеймана, перед ним мрак, тьма и ночь.

«Кали юга» — время мрака называют индусы сегодняшний день Индии. Но «кали юга» — время мрака — на исходе.

Человек поворачивает коня и едет на огни Чамана и слышит национальный афганский марш гвардейских музыкантов. Он едет на свет, на электрические огни и прощается с Кабулом и тремя месяцами кабульской жизни. Он не забудет древнего разбросанного по долине города, древние развалины на горе, цитадель Арк, Ширапурский лагерь, где держался и держал под угрозой Кабул, осажденный газнийским народным ополчением, фельдмаршал лорд Робертс. Он запомнит лабиринт базаров и отливы кожи племен и рас, разнозвучные оттенки их наречий. Он не забудет дыхания чудесной, страшной и запретной страны за Сулеймановыми горами. Его всегда будет манить Кабул, и, слегка изменяя текст, он будет повторять слова Тагора:

«Это было слишком коротко. О, если бы я мог быть здесь в следующее воплощение».

Прощай, ветер Индии.

## 6. Зима и лето в Герате

В двадцать дней мы сделали путь из Кабула в Гарат. Серебряные снеговые змеи в горах превратились в сияющие снежные пространства — поляны. Ночью на сбруе и седлах оседал серебряной пудрой иней. Морозный воздух бодрил людей и коней, мы путешествовали легко и торопились в Герат, хотя горные проходы были еще открыты, — Хезарийская дорога обыкновенно свободна от снега до конца ноября. Мы торопились и однажды сделали девяносто километров в один сутки, — 12—14 часов в седле. В тот день мы пропустили два рабата и, прибодрившись, проехали мимо гудандаров, выбежавших навстречу странникам. Каждый час и день приближал нас к Герату и родине. На половине денного перехода в 90 километров мы сделали привал у ручья, у развалин замка афганского феодала. Башни хорошо сохранились, но внутри все рухнуло и поросло сухим и цепким кустарником. Черный провал открывал ход в подземелье, подземную тюрьму. Гробовой мрак, только серебряным ручейком бежит свет по узкой щели бойницы и ударяется в противоположную стену. На стене острым

камнем нацарапан рисунок — кораблик с треугольным парусом и зигзаги морских волн, грубый и наивный рисунок, мечта о свободе, о вольном парусе и вольном море. Кто были пленники афганского хана, кто за много миль от морей и кораблей нарисовал кораблик и зигзаги морских волн? По чьим костям мы вышли на свет к солнцу и блистающей синеве неба? И наконец, кто разрушил ханский замок, — время, горные воды или взбунтовавшиеся рабы?

Поздним вечером, погибая от усталости и жажды, мы наконец увидели вышки рабата, увидели и не поверили, как не верят в мираж. Мы ехали пять, десять, пятнадцать дней, ехали чуть не вдвое скорее, чем три месяца назад с караваном и все же потеряли счет дням в дороге и наконец увидели восточную башню Герата, «Елисейские поля» и белый дом консульства. Кавалерийские значки были воткнуты в землю перед воротами дома, кареты и всадники ожидали наместника и генералитет Герирудской провинции. Тогда мы поняли, что день приезда в Герат был днем седьмого ноября, двадцатым днем нашего путешествия и четвертой годовщиной власти Советов. В гератском консульстве был прием по случаю годовщины Октябрьской революции. Кто мог бы предсказать мне и моим спутникам, что четвертую годовщину Октября мы встретим в Герате.

Феноменальный девяностолетний старичок и его секретарь Ахмед-хан, красивый, презрительный мулла с прозрачным и чистым лицом, встретили меня как старого знакомого. Я был у них в Чаарбаге и официально представился старику в качестве нового секретаря консульства. Он попрежнему чудил, лепетал глупости, почесывался, Ахмед-хан сдержанно и коротко пожаловался на «русских джемшидов», которые будто бы напали на афганских пастухов и отбивали у них стада, — старая, вечная история. Джемшидское племя перекочевало на советскую территорию, племя нищих воинственных пастухов. У джемшидов были старые счеты с афганцами, кровавые счеты, где цифры показывали число угнанных баранов, верблюдов и

отрубленных голов. Все это вместе называлось у нас «джермшидский вопрос». Старичок слушал Ахмед-хана, радостно кивал головой, мы изображали на лицах вежливое сомнение. Гератские будни. Мы изображали вежливое сомнение и сожаление, дни старика были сочтены, дородный, холеный, свежее-выбритый, пахнущий одеколоном министр полиции Шоджау-Доуле — «птенец гнезда Петрова», любимец эмира, был назначен наместником в Герат вместо жизнерадостного старичка. Новое поколение, тридцать человек молодых офицеров и чиновников, отправлялись на завоевание Герирудской провинции. И острота положения заключалась в том, что мы все четверо — наместник и Ахмед-хан, консул и я — знали о перемене, но делали вид, что ничего не изменилось в старом Герате. Старая средневековая мельница, скрипучее деревянное колесо крутилось и выматывало жилы из бедного пастушеского племени и дробило черепа непокорных Муллы, палачи, сборщики податей, офицеры, судьи жили в старом Герате, как три месяца, три года, триста лет назад. Старый Герат не понимал никакой тонкости в методе управления в сношениях с иностранцами. Этого не мог понять бедный чернородый тюрк из Хоросана, Мурад, более известный в Мешехе под кличкой Мешехи. Резвые ноги принесли его в старый Герат после беззаботной эпикурейской жизни в милом и расслабленном новом веком Мешехе. Он жил в Мешехе, как вольная певчая птица, их любят и ценят персы, сорока приносила ему на хвосте новости, он разносил «хабарчи» — слухи и сплетни, подхваченные на базаре. Вольная певчая птица, он пел простые, как апельсин, песенки, которые любил слушать французский консул: «Сафир джермани ездил к губернатору насчет десяти пулеметов, которые привезли из Германии под видом швейных машин». Или такие новости, которые любил английский консул: «Кавказцы-тюрки ходили к сафиру руссия совет и просили пустить их обратно в Баку». Он не забывал и германского консула: «Сафир франсия, сафир энглези были у губернатора по поводу десяти пулеметов, которые купили под видом швейных машин...» Так просто и незни-

но жил Мурад-Мешехи. Однажды в месяц он получал свои пять туманов у сафира энглези и пять туманов у француза, два-три тумана перепадали ему от скупого сафира джермани. Он не забывал и начальника мешедской полиции, этому он добросовестно рассказывал, что собственно интересует господ консулов и за какие «хабарчи» они платят туманы Мураду. Так он жил, как птица, всегда имел свой чурек, зеленый чай и плов и горсточку ананши. Он слушал игру на таре, видел пляски бачей, играл в игру, напоминающую кости, с базарными бездельниками, пил дрянненькое вино как учил Хайям:

«Слышу, как рассуждают о наслаждениях для избранных, и говорю:

— Я не верю ни во что, кроме вина,  
Звонкой монетой и никаких обещаний,  
Гром барабанов приятен на расстоянии.

Так протекали труды и дни Мешехи, мешедское солнце, тень чинары, сок винограда, «хабарчи», серебряные полновесные туманы господ консулов. Но в Хоросане случилось восстание Магомета-Таги. Мешехи принял его как праздник. Никогда господа консулы не были так щедры на туманы, никогда не был так обилен урожай «хабарчи» на мешедских базарах, скромное и в меру эпикурейское существование Мурада-Мешехи грозило обратиться в сытое довольство. Туманы не переводились в его тайничке, обилие туманов даже пугало бедного Мешехи, он никогда не имел ничего, кроме рваного ватного одеяла зимой, он не имел никакой крыши, кроме звездного купола или свода каравансарая над головой. Он испугался обилия туманов и значительной мины, с которой его слушали секретари сафиров, однажды его даже допустили к самому сафиру энглези. Но все успокоилось. Магомета-Таги убили. Новый губернатор и новый начальник полиции приехали из Тегерана в Мешех. Однажды два персидских казака растолкали спящего в тени чинары Мурада-Мешехи, они привели его к новому начальнику полиции, и Мешехи исчез ровно на четыре дня. Он пришел в мешедские бани, хромая и кашляя, синие полосы выступали у него на спине, он жалостно застонал, когда банщик попробовал великое ис-

куство массажа. Шесть азербайджанских тюрок исчезли вскоре после возвращения под кров базаров Мурада-Мешеди. Четверо были повешены с боем барабанов на площади, где учат маршировке и ружейным приемам солдат. Их видели в свите Магомега-Таги в тот месяц, когда он владел Хоросаном. Тела повешенных выдали родственникам, родственники предали трупы земле, а память — аллаху, потом снова вернулись к земным делам и день и ночь искали с кинжалами в руках по базару и Мешеду шпиона Мурада-Мешеди, выдавшего своих земляков начальнику полиции. Но они не нашли Мешеди. Ночью он ушел из Мешеди, он оставил любимый город и оглянулся на четыре стороны света. Юг — Бендерabas — Персидский залив — пугал его, там для него кончался свет. Запад — Тегеран — показался ему Парижем или Нью-Йорком, все же он был скромный провинциал — Мешеди. Он взглянул на восток и пошел в Герат, Афганистан. Бедный Мешеди шел восемнадцать дней, ему не оставило большого труда перейти границу. Как ящерица, он мелькнул в камнях мимо афганского раз'езда и на девятнадцатый день вечером, когда муллы кричали с минаретов, вошел в Герат. Герат показался ему грязной старой деревней, но он уснул во дворе караван-сарая, завернувшись в дырявое одеяло, как спят святые и праведники. Последние четыре тумана он прожил в десять дней. Он пил чай-и-зард, ел плов и лепешки. Вино можно было только найти у гератских евреев, но они боялись продавать вино мусульманину. За азартные игры наместник Мухамед-Сарвар рубил большой и указательный пальцы. Гератские базарные бездельники ничуть не походили на мешедских, Мешеди чувствовал себя выше их на две головы, но он помнил стихи:

Сделай так, чтобы ближний не страдал от  
твоей мудрости...

Он выспрашивал новости и слухи, он искал «хабарчи» и запомнил то, что ему показалось важным, и спросил, где живут господа консулы. Для начала он пренебрег соотечественником, сафиром ирани — персидским консулом. Он пошел к бывшему сафиру англезии — индусу,

который при эмире Хабибуле представлял Соединенные королевства в Герате. Он увидел толстого, седебородого индуса в сюртуке и подштанниках (штанов он не надел по причине жары). Мурад-Мешеди сказал индусу, что Мухамеда Сарвар-хана сменяют и на его место посадят нового наместника из Кабула. Бывший сафир англезии сказал: «Хейли хуб», почесал шею, зевнул и дал один кран, половину рупии, десятую часть тумана. Мешеди ушел, бросил кран на дорогу, пошел к сафиру ирани и сказал ему о смене наместника. Персидский консул дал ему три бронзовых пейса — пятую часть рупии. И тогда Мурад-Мешеди трижды плюнул и вернулся искать брошенный серебряный кран. И он не нашел его, бедный Мешеди. И тогда в отчаянии он пошел в Баг-и-Шахи в «сафират совет Россия». Афганский часовой отогнал его от ворот и больно ударил прикладом. Мешеди ушел и залег в стороне дороги и, когда увидел переводчика сафирата, вышел из-за ограды и сказал ему то, что говорил и персидскому, и бывшему британскому консулу, новость о Мухамед Сарвар-хане и попросил десять рупий. Переводчик захохотал и уехал, помирая со смеху. Впрочем, уезжая, он обернулся к Мешеди и крикнул: «Клянись Ахмед-хану и скажи, чтобы в другой раз он не посылал дураков». Мешеди пошел в город, солнце жгло ему шею, ему хотелось есть, пить и курить. Он взглянул на три бронзовых монетки и вздохнул. Вечером он накурился в долг анаши и видел в мечтах Мешед, полновесные туманы и пляски бачей. Он проснулся от удара и увидел над собой человека в круглой серого каракуля шапке, с гербом, изображающим серебряную мечеть. Человек спросил Мурада-Мешеди, кто он, откуда и что именно он говорил бывшему консулу англезии о его светлости наместнике Мухамед Сарвар-хане, и Мурад-Мешеди увидел перед собой смерть в шапке серого каракуля с серебряным гербом, изображающим мечеть султана Бабера. Его повесили в среду, через два дня, когда переводчик генерального консульства, «совет Россия», случайно сжал на Чаар-Су. Он увидел, как вешают человека с черно-синей смоляной бородой. человека в пиджаке и штанах, имевших

водобие европейского платья. Он отвернулся и увидел в экипаже секретаря заместника и сафира ирани — персидского консула. Они вежливо раскланялись, и экипаж проехал к Мешедским воротам и обратно, Ахмед-хан дважды прокатил сафира ирани мимо Чаар-Су, где висел бедный Мурад-Мешеди. Я мог бы сказать: «Где остывал труп Мурада-Мешеди», но это было бы чистой литературой, потому что в этом климате—шестьдесят градусов в тени,—и трупы здесь не остывают, а нагреваются, как обыкновенные неодушевленные предметы. Он висел босой и синий, внизу торговали чуреками и жарили плов, и курили чилим по два пейса затяжка.

Бедный Мурад-Мешеди, вольная певчая птица. Он не знал, что за Кафаргадой начинаются средние века. Новый век пришел сюда только через месяц, когда в тропоподобное кресло Мухамед Сарвар-хана сел румяный и бритый Маджау-Доуле, который иначе понимал методы управления и большое хозяйство провинции и иначе бы понял в большом хозяйстве роль Мурада-Мешеди, совсем не так, как понял бедного Мурада Мухамед Сарвар-хан, дед и наместник эмира.

Осень в Герате началась короткой полосой ливней. Ливни сбили пожелтевшую листву в садах. В воздухе была теплая сырость, ржавая теплота, испарина и головокружительный запах гниения листьев и плодов. Снег появился однажды утром в горах и сохранился там три месяца — всю стремительную гератскую осень и зиму. На закате солнца снег вспыхивал алым, розово-золотым и синим огнем, пылал под солнцем, как жидкий металл, и вдруг потухал. Эта игра света и теней под бирюзовым небом повторялась каждый вечер с невообразимым, неестественным великолепием. Оголенные ветви деревьев черным, ползучим дымом клубились в долине. Земля твердела по утрам, ранним утром мы дышали освежающим, прохладным ветерком ледников, но в десять часов утра солнце припекало на южном балконе. Афганские слуги, босые, в одних жилетах и полотняных шальварах, с невозмутимым видом накрывали столы на балконе. В полдень здесь было почти жарко, и мы уходили

на северный балкон. Календарь показывал конец декабря. Реже лили дожди, но мы оказались на острове среди топей и дорог, превращенных в пинские болота. Грязь всех цветов и оттенков окружала наш островок, грязь цвета чернил и кофейной гущи и нежно кремового цвета бледного кофе. Отважные странники выезжали в нашем экипаже в Герат. Лошади с норовом никак не привыкли к экипажу и с отчаяньем и яростью выворачивали колеса из жидкой грязи. В городе странник пересаживался на верхового коня, потому что переулки Чаар-Бага не рассчитаны на движение экипажей. Странник останавливался на перекрестке у глухой стены, у вывески на персидском, английском и французском языках. Здесь была почтовая контора. Отсюда Герат соединялся с остальным миром. Всадник получал завернутый в сырую оберточную бумагу влажный конверт, на нем был штампелль Кушки, номер и штамп уполномоченного отдела внешних сношений в Кушке. И всадник прятал драгоценный пакет у себя на груди, галопом скакал в консульство, и грязь, как взорванная миной, летела изпод копыт коня. Восемь человек ожидали его в нетерпенье на южном балконе. В сыром пакете лежали газеты—«Правда» и «Правда Востока». В Москве этот номер читали месяц назад, ташкентская газета была в среднем двухнедельной давности. Мы читали и перечитывали эти газеты, пока они не превращались в клочки, мы спорили, негодовали, проществовали, издали следя за историческим этапом нэпа. Непостижимым и странным казалось все, что происходило за северным хребтом, нам, оторванным от родины, от пятого года революции и брошенным в Герат Мухамед Сарвар-хана. Раз в шесть недель проезжали через Герат в Кабул дипломатические курьеры. Обыкновенно известие о выезде курьера приходило к нам после того, как он уезжал из Герата. Но ко дню его приезда нас мучили предчувствия, мы испытывали нетерпение и ярость, и с отчаяньем, до рези в глазах смотрели в сторону «Елисейских полей». И вот к вечеру звон надтреснутых колокольцов переворачивал дом вверх дном. Курьеры поднимались вверх в грязи (или в пыли), с облупленными

носами, обветренными губами, несколько ошалевшие от трех дней пути. Мы разбирали почту, с одинаковым трепетом перечитывая и политические инструктирующие письма, и какую-нибудь бумажонку из Москвы: «В ответ на ваш номер отдел снабжения сообщает, что вам препровождается копировальная бумага в количестве десяти листов, что же касается до лент, то в настоящее время... в виду... на вольном рынке... не представляется возможным. За такого-то такой-то». Потом мы бросались на книги и газеты, потом тормозили курьеров. Они говорили с нами чуть-чуть свысока, еще бы, они знали все, у них на глазах и разверстка, и нэп. Мы обстреливали их вопросами — есть ли на самом деле живой частник, и что это за вольный рынок, и можно ли купить шапку без ордера. Два дня курьеры оставались в Герате, внизу свирепствовала повариха, мамаша Поля, гроза афганских слуг, из уважения они ее называли «мамашка саиб». Курьеры с некоторым пренебрежением пробовали печенье мамаша Поли, они уже понимали толк в настоящих пирожных ташкентской «Чашки чая». «Неужели ли же пирожные?» и курьеры смотрели на нас с сочувствием: «Чудаки, впрочем да, вы же ухали до... то есть до нэпа». Вечером назначали собрание ячейки. Повестка—текущий момент, споры, недоумения. Текущий момент, как это звучит для Герата, когда «Правда» приходит сюда через месяц, а срочные радиogramмы приходят почтой из Кушки и по милости афганской почты через десять дней. Мы провозжали курьеров в Кабул, звенели колокольцы вьючных коней, они бесстрашно устремлялись в Кабул по Кандагарской дороге. Через пять недель их ждали с таким же трепетом и нетерпением в Кабуле, и там повторялось то же, что и в Герате. Но курьеры уже чувствовали себя почти на нашем положении, они оставили Москву два месяца назад, они сорок дней провели в Афганистане, в его быту и обстановке, эти сорок дней оторвали человека от «текущего момента», и он уже не совсем твердо ступал по твердой земле и не вполне внятно рассуждал об обстановке по ту сторону Парапамизского хребта.

Курьеры уезжали, наш быт и будни шли убийственным чередом. Мухамед-Сарвар-хан не утруждал себя пространной дипломатической перепиской. Раз в два месяца он присылал запечатанное сердоликовым перстнем письмо: «Величественному и грациозному, его превосходительству генеральному консулу РСФСР. Да увеличится почет его. Если богу угодно, в субботу выезжаю к его светлости послу Афганистана в Москве афганские курьеры Гулам-Наби и Али-Мухамед, имеют с собой почту и два яхтана».

Однажды в месяц мы посылали письмо: «Его светлости, да увеличится почет его, Мухамед Сарвар-хану, генерал-губернатору Герирудской провинции. Сообщаем вам на основании донесения... что такого-то числа неизвестными в районе Тахта-базара угнаны на афганскую территорию восемьдесят голов скота... самые срочные и строгие меры, чтобы подобные случаи не повторялись, со своей стороны я... Желаем вам здорovia...»

Сафир ирани, персидский консул, меланхолический, томный и вежливый господин, изредка навещал и был приветливым и неглупым собеседником. Он был эпикуреец и сибарит, угощал у себя действительно небывалым пловом и рассказывал о прошлом. В молодости он состоял личным секретарем персидского посла, аккредитованного при Блистательной Порте. Сафир ирани вспоминал сельмайки Абдул-Гамида, глаз его подергивался слезой благоговения, рот округлялся буквой «О», «О!..», и бурные вздохи сотрясали его округлые плечи и живот. Об афганцах он говорил с уважением и еле просвечивающей иронией. Он произносил имя Ахмед-хана или командующего войсками, закатывал глаза и вдумчиво добавлял «хуб адам, хейли, хейли ху-уб адам» — «очень, очень хороший человек», но затем его глаза принимали ироническое выражение, и он слегка вздыхал, и чего только не было в этом вздохе. Он любил поговорить о России: «В свое время русские очень вредили Персии, как впрочем и англичане... Правда, это было раньше, при царе. Но все же как вы думаете... Можно ли сделать так, чтобы все люди были равны, и секретарь сидел на скамье

с поваром, и курьеры не вставали в присутствии консула, и офицеры здоровались за руку с солдатами.. можно ли отбирать землю и виноградники у помещика?...» Здесь он подходил к явному вмешательству во внутренние дела чужой страны и его превосходительство умолчал и возвращался к чашке кофе.

Новый наместник не очень торопился в Герат, он ждал весны, для него собирали караван, но первые вести о перемене уже носились в воздухе, уже убрали старого командующего войсками и сменили карнейлей—полковых командиров. Старик сразу постарел и с'ежился. Я приезжал к нему дважды и заставал его в комнатке, похожей на цветной фонарик. Саксаул трещал в очаге, было душно и дымно, и старик сидел босой на кошке, прикрывшись желтой бараньей шубой, и не стеснялся облаивать новые порядки в Кабуле. Ахмед-хан дипломатически молчал, назирь, помещь камердинера с ад'ютантом, сидели на корточках и вздыхали и вздохами раздували очаг. И вдруг, в этот закат средневековья, сумерки старого Герата, вкатился из Мешед секретарь персидского посла, свободно, с парижским шиком болтавший по-французски, болтун и шаркун, воспитанник Ecole des Droits.

В этом случае скромная проза с полным основанием уступает классическим стихам:

... едет он теперь  
С запасом фраков и жилетов,  
Шляп, вееров, плащей, корсетов.  
Булавок, запонок, лорнетов,  
Цветных платков, чулок à jour.  
С последней песней Беранжера,  
С мотивами Россини, Пера,  
Et cetera, et cetera.

Песни Беранжера, мотивы Россини заменялись песенками парижского ревю, но во всяком случае это явление в Герате и Кабуле не могло пройти незамечным, и тегеранский парижанин вскоре оказался преподавателем французского языка при дворе эмира.

Ветер других стран подул с запада. Из Аравии через Багдад, южную Персию и Хоросан, пришло мятежное племя арабов — пятьдесят семейств, принужденных англичанами покинуть родину. Они разбили лагерь под стенами

Герата. Лица, походка, жесты арабов отличали их от несколько суетливых и резких в движениях афганцев. Я увидел вождя племени на прогулке у ворот Герата. Он ехал на высоком вороном, отливающим шелком коне. Конь и всадник были одинаково снисходительны к окружающему. Шейх ехал в полосатом бурнусе; чалма спускалась, прикрывая от солнца его затылок и плечи. Шейх, настоящий шейх из сказок Шехерезады. Он поровнялся с нашим экипажем и увидел женщину, величественным и легким движением поднял руку к переносице, и мы вдруг увидели на орлином носу с горбинкой хрустальные крылышки пенснэ. Солнечный блик играл на его узких и длинных лакированных башмаках.

Гератская зима была короткой, не похожей ни на зиму, ни на осень. Весна была стремительной, вообще не было весны. В два дня исчез снег на горах, и прозрачная зеленая дымка одела голые сучья деревьев. Прозрачная дымка мгновенно превратилась в нежно-зеленое облако, первую зелень. Слуги убрали столы с южного балкона, мгновенно распахнули для сквозняка окна и двери, и мы поняли, что наступило лето. Одно время года дало другому не более недели. Шесть человек в поту и испарине собирались в подземной комнате доктора Дэрвиза и с проклятиями рылись в так называемой библиотеке, состоящей из сорока зачитанных, растерзанных по листкам книг. Вечером начинали симфонию шакалы и под этот отвратительный аккомпанемент шесть человек, как в клетке, кружились по балкону, огибающему дом, и говорили о поэзии, прозе, политике, театре, Москве, Париже и Риме.

Тем временем Мухамед Сарвархана наконец сменил министр полиции. Он приехал из Кабула с тридцатью чиновниками и офицерами в новенькой защитной форме, в мундирах, с розовыми и зелеными выпушками и петличками. От Исмет и Сурия-бея офицеры научились брэнчать шпорами, играть в теннис и устраивать офицерские скачки. Все это было хорошо для Кабула, но старый наместник оставил им печальное наследство — скучный, старый Герат. Новый наместник устроил нам по-

луевропейский, почти кабульский прием и, в точности копируя эмира, играл сигаретой и перчатками, обворожительно двусмысленно улыбался, эта улыбка не обещала ничего доброго для Герата. Презрительно-величавого Ахмед-хана сменил рыжеватый блондин в золотых очках, круглый невежда в нехитрых делах Гератской провинции. Он копировал кабульского министра Махмуд-Тарзи точно так же, как Шоджау-Доуле копировал эмира Аманулла. Я увидел паденье Ахмед-хана, красивого, величественного в национальном афганском платье, Ахмед-хана прежних лет. Я вдруг увидел его в невообразимом полосатом френче и длинных брюках, сшитых отчаянно смелым гератским портным. Жалкое зрелище. Он сидел на задворках Чаар-Бахча за четырехугольным хрупким столом, сидел на стуле, поджав под себя ногу, чтобы чем-нибудь приблизиться к блаженным временам сиденья на полу. Однако он писал постарому, держа бумагу на весу, и посмотрел на меня из-за бумаги печальными глазами, человеческими глазами... Второе лицо после Мухамед Сарвар-хана и такое унижение. Я вспомнил, как однажды ему отвозили подарок: посредственные золотые часы — благодарность за заботы о нашей миссии, когда она проезжала через Герат. Он взял часы двумя пальцами, открыл их и попробовал плотность золотой крышки, презрительная тень пробежала у него по лицу, и он с неотразимой иронией сказал переводчику: «От друга я даже так и в подарок приму». Какие перемены...

Между тем реформы грозили перевернуть Герат. Началось с того, что вдоль базара на равном расстоянии друг от друга были расставлены фонари и на каждом фонаре написан его номер. Школьники, кланчившие у нас гроши и целый день окалачивающиеся на базаре, были наспех одеты в штаны и куртки из защитной материи. В день уразы они маршировали по двору и товенькими дискантами пели афганский гимн. Но в первую очередь реформы дали себя знать в налоговой системе. В этом случае афганские крестьяне оказались решительными консерваторами и приверженцами старого сездара. Они прогнали алчных сборщиков податей, и

тогда реформаторы приступили к главной части реформ. Однажды мы ехали мимо старых укреплений, вынесенных за городские стены фортов. На невысоком валу, позади рва, всегда стояли четыре старые, бронзовые, заряжающиеся с дула пушки. Там обыкновенно вращался по кругу один часовой в полувоенной форме. Теперь перед укреплением стояла нетерпеливая, галдящая толпа. Нас пропустили из уважения к кучеру Юсуфу в его генерал-лейтенантском мундире. Мы встали на сиденье и увидели четыре бронзовых пушки и полукруг солдат позади пушек и сначала никак не могли понять, что происходит. Четыре человека были привязаны к жерлам пушек, трое спиной, а четвертый лицом к фитилю. Солдаты-артиллеристы стояли позади в терпеливом ожидании. Трое привязанных к пушкам были безбородые молодые люди, один — почти юноша. Он плакал, у него подкосились ноги, и он почти висел на веревках. Четвертый стоял к нам боком, и седая борода касалась пушечного жерла. Кучер Юсуф подобрал вожжи, предупредительно выбирая удобное для нас место, но мы погнали его прочь от места казни.

Было около полудня, обыкновенно в полдень, в обеденный «адмиральский час» стреляла пушка. В тот день мы услышали тройной выстрел и с некоторым опозданием четвертый. Переводчик догонял нас верхом, он видел, как на старом форту одновременно выстрелили три бронзовые пушки, вылетело желтое пламя и облако дыма всплыло над обрывками человеческих тел и дрогнувшей землей. Отец пережил казнь трех сыновей на одно многовенье, он был привязан лицом к жерлу и видел, как разгорался фитиль и как огонек полз к порохому заряду, и умер с человеческим спокойствием. Потонувший на «Петропавловске» Верещагин рисовал наугад казнь повстанцев-сипаев в Индии, кажется, в Лагоре. Мы могли бы увидеть ее в натуре, если бы захотели, потому что реформы недешево давались Гератской провинции, и в начале лета казни происходили с редкой для афганцев аккуратностью каждую среду.

Нестерпимо-злойные дни сменялись душными ночами, пришла ураза, послед-



ный день уразы, годовщина нашей жизни в Афганистане. Гератская жизнь продолжалась с ее невысказанной монотонностью и однообразием, нас точно забыли, так могло пройти еще три месяца и полгода, и год. Мысль об этом доводила до настоящего психоза. И вдруг, после года затишья, застоя, мертвого штиля, мы пережили два фронтовых месяца, два месяца настоящей фронтовой жизни, с выездами в город, которые были похожи на вылазки, с караульной службой, бессонными ночами, бессменными дежурствами, одним словом, девятнадцатый год неожиданно вернулся к нам и напомнил о себе в дикой гератской обстановке.

Год назад, летом в Кабуле или в Пагмане, в загородном доме Джемаль-паши, я увидел на письменном столе фотографию, портрет, вставленный в позолоченную рамку с искусственными алмазами. Портрет изображал одно запоминающееся лицо, тысячу раз повторенное газетными клише, лицо красивого офицера с подвитыми кверху усами. Человек был слишком красив, чтобы быть привлекательным, взгляд в упор и поворот головы показывал привычку позировать. Человек носил свой мундир и саблю, как символы взятой им с собою власти. Мундир был неотделим от человека, и, правда, когда с него сняли мундир, он почувствовал себя голым, оскверненным, раздетым, лишенным права властвовать. При его себялюбии, тщеславии и энергии он мог пойти на все, чтобы вернуть себе мундир и власть. Человек в рамке из искусственных алмазов был Энвер-паша, генерал, генералиссимус, зять халифа, вождь младотурецкой Турции, теперь старой Турции. Он был за пределами новой Турции, он искал убежище в советской стране, он произносил пламенные речи об угнетенных народах Востока, театрално проклинал колониальных тиранов и весной 1922 года охотился за джейранами в окрестностях Бухары. Однажды он не вернулся в отведенный ему дом, и след его отыскался в Восточной Бухаре. Он поднял зеленое знамя газавата, священной войны против Советов, старое знамя панисламизма. Он провозгласил себя правителем, высоким

сержантом единого мусульманского государства от Кашгара до Каспия. К нему стекались старые, стреляные волки — курбаши Ферганы и Таджикистана, басмаческие шайки пробирались к нему из Афганистана. Они успели разочароваться в старом эмире Бухарском, отяжелевшем и одряхлевшем в афганском изгнании. Политика «единственного независимого мусульманского монарха» заключалась в том, что он более или менее энергично вступался за обескровленные и истребляемые Англией независимые племена, протестовал против репрессий в отношении индийского национального движения, или против «хассадарской системы», круговой поруки пограничных племен, придуманной англичанами. Он довольно резко требовал у сэра Генри Добса прекращения репрессий, но это впрочем не помешало ему заключить договор с Англией и пустить британских консулов в Кандагар, Газни, Джелалабад. Отсюда англичанам было легче вести разведку в тылу у независимых племен. Теперь англо-афганская группа нашла подходящий момент, чтобы переманить фронт и стать в позицию защитников угнетенных мусульман Туркестана, Бухары, Хорезма. Но обстановка для тайной агитации, для диверсионных действий и для открытой интервенции в пределах советских республик сильно изменилась с 1921 года. Осенью 1921 года в Ташкенте перечитывали с волнением и тревогой донесения командиров и политработников, производивших обследование красноармейских частей в Фергане:

«... гарнизон Зеленый мост на железнодорожной линии Андижан—Наманган—5 рота. По списку 22 человека. Налицо 11 человек стрелков. Половина болеет малярией. В наряды ходят бессменно, в том числе каптенармус, письмоводитель, политрук. Рота совершенно оторвана от внешнего мира. О какой-либо широкой политике говорить не приходится. Обувь у большинства красноармейцев совершенно нет. Шинелей также нет ни у одного. Ночи стоят весьма холодные. Красноармейцы производят своим видом весьма грустное впечатление. А та-

ких гарнизонов, как этот, большинство».

Политсводка за июль 1921 год: «Дезертировало за месяц 13 человек. Наблюдался также переход к басмачам с оружием. Отношение населения в ряде местностей враждебное». «... в пехоте снабжение продовольствием и фуражом неудовлетворительное. С 1 мая по 1 августа в коннице, в гарнизоне пало 200 лошадей». Все же... «Боеспособность красноармейцев и комсостава удовлетворительная». Это тоже относилось к войскам Ферганской области.

Курбаши Мухамед-Розы обращался к изнемогающим, усталым, не имеющим отдыха бойцам с таким характерным воззванием: «Всем сочувствующим мусульманской партии, как русским, так и мусульманам, предлагаю присоединиться к нам возможно скорее. Будете получать хорошее жалование и кормиться с членами своей семьи. Мухамед-Розы. 7 мая 1921 года. Прикладываю свою печать».

«Начальника войск гази Мухамед-Розы. Объявление. Настоящим объявляю всем гражданам мусульманам, находящимся на службе у русских: вам нельзя оставаться в бездействии... Переходите на нашу сторону, так как немного осталось до того времени, когда нашему мусульманскому войску придет помощь из большого государства... Обращаюсь к вам: не слушая всяких обольщений, своей собственной охотой переходите на службу своему народу — мы возвеличим вас. Я, Аскер-баши, гази Мухамед-Розы приложил печать».

Население относилось к бойцам так: «в апреле 1921 исполком села Гава отпустил 20 Туркестанскому стрелковому полку отравленное анашой мясо. Пострадало около половины полка. Одновременно произошло нападение басмачей. Его отбили здоровые бойцы». И наконец настроение N-ского кав. полка: «третий год без отдыха, 65 проц. состава больны, когда же мы выйдем из этих проклятых кишлаков».

Но в те дни, когда сторонники вмешательства и вооруженной помощи «из большого государства» Энверу толкали эмира на открытую войну с Советами, положение и в Ферганской области, и

вообще на афгано-советской границе изменилось. Командование и политическое руководство умело прямо смотреть в глаза опасности и Реввоенсовет туркфронта с полной откровенностью и ясностью писал в своем циркуляре: «Недоверчивое отношение к строительству советской власти и к красноармейским частям со стороны туземного населения создалось благодаря преступной колониальной политике царского правительства, привилегированному положению прошлого европейского населения, жестокой эксплуатации трудящегося туземного населения и деятельности органов советской власти и ее представителей, порою ничем не отличавшейся от деятельности старого правительства».

«... всем работникам Красной армии нужно всегда твердо помнить азбучную истину гражданской войны и в особенности партизанской: без поддержки населения Красная армия ничего не может сделать».

С тех пор как был поставлен вопрос о завоевании симпатии населения, с тех пор как ряд экономических и политических мероприятий успокоили местного «мелкого производителя», басмаческое движение вырождалось в налеты разбойничьих шаек, и старое знамя панисламизма, поднятое Энвером, было по существу для басмачей новым знаменем. Политические и экономические корни басмаческого движения, разумеется, нуждаются в подробном описании, но не в этом цель этих записей, и автор приводит указанные выше сведения только для того, чтобы ввести читателя в обстановку, в которой развивались события.

Мы не были слепы и глухи и впервые услышали о тайных гонцах Энвер-паши, посланных в Кабул еще зимой 1921 года. В начале лета мы заметили явную концентрацию войск в Гератском пограничном районе. Это могло быть объяснено сменой Мухамед-Сарвар-хана и желанием кабульских властей отозвать старые гератские полки, заменить их новыми, образцовыми частями из Кабула. В Чильдугхтеране, в восемнадцати километрах от Кушки, действовал пограничный полковник Абдурахим-хан, худой, высохший от малярии, желтый человек с китайскими усами. Можно сказать, он

и был до некоторой степени автором знаменитого джемшидского вопроса. Когда мы встречались с ним на дурбарах, когда пожимали сухую, костлявую руку пограничного полковника и вежливо осведомлялись о здоровье, то мысленно желали друг другу внезапной и скорой смерти. Эта широкая, костлявая рука была по локоть в крови наших пограничников, железнодорожников, советских туркмен джемшидов, и, полагаю, что это не только образное выражение. Абдурахим-хан был не только вдохновителем басмаческих налетов,—такой человек не мог себе отказать в сильных ощущениях. Кроме того, мы совершенно точно знали, что он имел свою долю в любой добыче басмачей. Но мы ели плов за одним столом, он показывал нам свои длинные, белые зубы и бескровные десны, мы тоже вежливо улыбались — тяжелый долг, тяжелая служба. Абдурахим-хан, единственный из всех гератских сановников, остался на своем месте в Чильдухтеране, перемены в Герате не коснулись старой пограничной рыси. Теперь он часто навещал Герат и нового наместника. Мы иногда встречались на Чаар-Баге, он подносил руку к каске, показывал белые зубы и, опуская руку, гладил китайские усы. Он был свеж и в «форме» накануне больших дел.

В Кабуле афганцы заменили наших радиотелеграфистов своими, недавно обученными. По существу в этом не было ничего угрожающего,—радиостанция была подарена афганцам,—но полное усмирение наших радистов порывало связи полпредства с Ташкентом и Москвой. Дипломатическая почта попадала в Кабул в лучшем случае через полтора месяца. Ташкент и Кушка были принуждены прекратить всякую передачу в Кабул. Ровно через две недели мы почувствовали резкую перемену погоды в Герате. Афганская почта, действовавшая сравнительно аккуратно, вдруг перестала для нас существовать. Последнее известие из Кушки было очень краткое сообщение о том, что на ближайшем железнодорожном полустанке вырезано девять человек — весь обслуживающий полустанок штат железнодорожников. Абдурахим-хан безвыездно жил в Чильдухтеране. Однажды утром из города приискал наш переводчик, меланхолик и

тишайший человек. Он был бледен и непохож на себя. Ему отк а з а л и в выдаче почты для консульства, почты из Кушки и Кабула, то-есть ему сказали, что писем для нас нет, между тем он сам видел четыре толстых пакета с советским штампом,—над ним явно издевались. В то же утро на наших глазах солдаты жестоко избили чахоточного портного, который пришел искать работу в консульстве. Из города вернулся доктор Дэрвиз, он тоже бился в припадке истерики. Его, старожилу Герата, провожали в город и из города два солдата, провожали как арестанта. Кроме того, его пациент, старый и почтенный купец, старшина купцов, внезапно отказался от лечения. Это было невероятно, потому что только вчера брат старшины умолял доктора приехать к больному. Мне пришлось официально заявить протест против изоляции консульства. Я поехал на Чаар-Баг с переводчиком, четыре афганских кавалериста ехали сбоку и сзади, скаля зубы и развлекаясь болтовней на наш счет. Но самое удивительное было то, что в те знаменательные дни воскрес Ахмед-хан, — старому хищнику дали возможность показать зубы. Он сидел как ни в чем не бывало на старом месте у окошка с цветными стеклышками, умышленно небрежно одетый, и притворно дремал, посасывая чилим. Я постарался не доставить ему удовольствия и не выразил никакого удивления. В три месяца этот человек пережил величие и падение и снова вернулся к величию. Молодой человек в золотых очках на это время оказался ненужным, молодого человека убрали. Мулла Ахмед-хан смотрел в окно, в небо. Он не был расположен к серьезной беседе. Я сказал: «Мы решительно протестуем против изоляции консульства». Он молчал. «Мы протестуем против поведения конвоя и вообще против конвоиров. Этого никогда не было в Герате». Ахмед-хан ответил: «Чужестранцы (не гости, не консульство, а чужестранцы) вызвали к себе злые чувства со стороны народа Герата. Вас надо охранять, потому что правоверные могут пролить кровь неверных». «Спросите его, — сказал я переводчику, — как он думает, мог бы представитель отдела внешних сношений в Ташкенте говорить таким

тоном с афганским вице-консулом?» Ахмед-хан удивился. Он думал минуты три и понял этот вопрос по-своему, он понял эти слова, как угрозу. «Что же,—сказал он,—те правоверные, которые причинят смерть вам в Герате, попадут в рай, и другие правоверные, которых вы возьмете заложниками в Ташкенте, тоже попадут в рай». Затем его прорвало, он закричал: «Большевики хуже неверных! Вы атеисты, язычники, у вас нет писанного закона. Пророк сказал: что кафирам, у которых есть писанные законы, христианам и евреям можно даровать жизнь, если они примут ислам, но кафиров-язычников, не имеющих писанного закона, надо убивать как собак!» Его красивое лицо искажилось, и на губах появилась пена. Это была настоящая изуверская истерика. Мы уехали, никто нас не провожал. Мы шли через весь двор и старались улыбаться и непринужденно разговаривать между собой, потому что из каждой щели и занавески на нас смотрели любопытные и злые глаза.

В ту ночь мы установили дежурство у архива. Ночь была скверная, длинная ночь, мы ходили по балкону вокруг дома и глядели на север, на северную звезду над Кушкой. В другую бессонную ночь на наших «Елисейских полях» появился отряд всадников с факелами. Они летели карьером прямо к консульству. Мы собрались наверху, на балконе, и молча глядели на приближающиеся огни. Похоже на то, что приближалась развязка. Отряд осадил коней на скаку у ворот консульства, часовые открыли ворота, и вдруг всадники поехали вдоль стены, повернули за угол, за ограду и пропали. Шура, шестнадцатилетний комсомолец, шифровальщик, крикнул им вслед повеселевшим голосом: «На пушку берете? Не маленькие...» Ему ответил топот коней и смех.

Мы были абсолютно отрезаны от Кушки и Кабула, и мира в тот день, когда прибыли проводить лагерный сбор курсанты и младшие командиры, когда кушкинские батареи начали артиллерийское ученье, учебную стрельбу. Но сорочки принесли на хвосте хорошие вести. Рисальдар Худобаш-хан прибежал с расстроенным лицом к переводчику. Он

спросил, правда ли, что в Кушку прибыли аэропланы и восемнадцать поездов. И что все это значит? Переводчик задумчиво ответил: «Не знаю. Если бы мы могли писать в Кушку и получить ответ, мы бы знали в точности, но...» В тот же вечер случилось невероятное событие, — новый наместник Шоджау-Доуле, считавший себя гератским сувереном и никогда не ездивший в консульство, приехал к нам поздно вечером с двумя адъютантами. Он больше не играл перчатками, не улыбался, не копировал эмира, он довольно бессвязно повторял старый лейтмотив: «Дружба Афганистан—Советы, но почему столько поездов пришло в Кушку?» Через два дня приехали наши курьеры. Две недели афганцы не давали им пропусков в Герат. Они уезжали из Кушки, когда по улицам ходили курсанты и пели «За власть советов», а в горах громовым эхом отдавалась учебная стрельба кушкинских батарей. На границе курьеров встретил бледный и почтительный Абдурахимхан. Он проводил их до Чильдухтерана, и они сами видели афганские полки, отходившие на юг, их оттягивали к Герату.

Ахмед-хан приехал в консульство. Он стался по земле, как ковыль, и мурлыкал, как кошка.

Наши радисты вернулись на кабульскую радиостанцию. Кабульские интервенты притихли.

В бою 4 августа 1922 года на границе между восточной и западной Бухарой, в ущелье под Байсуном, сложил голову Энвер-паша, генерал, генералиссимус, зять халифа, герой бульварных газет, утеха фоторепортеров, красавец Энвер. Эмир Афганистана не послал ему в помощь войска. Говорят, он послал ему парадный мундир высокого сердара, и Энвер надевал его, когда принимал басмаческие шайки, он выходил к головорезам и изуверам-муллам в золотом мундире сердара. Он позировал перед ними, как позировал на селямчике в мундире генералиссимуса и в Потсдаме у Вильгельма Второго в мундире прусского улана. И он храбро умер за золотой парадный мундир сердара, потому что не мог жить без него и власти. Его узнали по письмам его жены, он носил их на груди, ласковые и нежные письма на французском языке. Нить, крепкая,

как цепь, связывала Джемаля, Талаата и Энвера с кровавым султаном, Абдул-Гамидом. Талаат погиб в Берлине, красавец Энвер в ущелье восточной Бухары. Он принял кровавое наследство старого колдуна, он принял по собственной воле завещанные ему шовинизм, национальную рознь, империалистические бредни и старенькое знамя панисламизма.

В июле 1922 года мы простились с Гератом. С горы над нашим садом мы посмотрели в последний раз на минареты Тимура, кипящую под ветром зелень долины и башни, и плоские крыши, глиняные кубики домов, — коробочки с сюрпризами. Мы ночевали в палатках у стены знакомого кишлака, где четырнадцать месяцев назад стояла палатка бирюзового мехмандара. На высоком колу торчала высушенная солнцем и ветром человеческая голова. Она глядела пустыми глазами в сторону Кушки.

## 7. Жесткий вагон и возвращение

Штат советского генерального консульства в Герате перешел границу 19 июля 1922 года. Полковник Абдурахим-хан выехал к нам навстречу из Чильдухтерана, он поклонился до ушей коня и спросил, довольны ли мы путешествием, почестями, мехмандаром и поваром. Мы поблагодарили полковника. Он приложил руку к каске, поднял коня на дыбы и повернул его боком. Караван тронулся, мы оглянулись, полковник стоял на бугре у дороги, как конный монумент. И мы раз'ехались в разные стороны, как дуэлянты, обменявшиеся выстрелами. «Большой почет, большой почет, — сказал мехмандар. — Его светлость приказал воздать вам почет. Кто прожил в Афганистане больше года, тот почти афганец».

Граница. Выбеленный известью домик без дверей и окон. На полотняных койках спят босые пограничники. Двое встали, не торопясь, отвязали коней и выехали к нам на дорогу. «Здравствуйте, товарищи» — сказал консул, задыхаясь от перебоев сердца. Он пересел в техтараван и лежал весь желтый в марле и бинтах. Кроме тропической малярии, он был болен тропической кожной болезнью, затем пороком сердца и не-

врастений. Это сделал в два года старый Герат. Пограничники ехали позади нашего каравана. «Никакой встречи, — сказал консул, — никого. Мы же предупредили — и никакой встречи. Но ведь два года, целых два года. Родина, жестокая и добрая родина».

Афганский конвой проводил нас до дверей одноэтажного домика. Там на деревянной вывеске выцветшие буквы: «Уполномоченный отдела внешних сношений в Кушкинском и Тахтабазарском районах». Восемь афганских кавалеристов, четверо слуг, мехмандар и каракешки остановились у дверей уполномоченного отдела внешних сношений. Здесь прекратил существование штат генерального консульства РСФСР в Герате. В качестве обыкновенных смертных мы сидели в столовой товарища Юлина за клеенчатой скатертью, за самоваром с вдавленным боком. Жена уполномоченного в Кушке налила нам и мехмандару жиденького чаю. Товарищ Юлин сел, заложив ногу на ногу, так, чтобы не было видно заплат на синих галифе. Это был Юлин, гроза афганцев, гроза дипкурьеров, отважный сторож дипломатических привилегий, неутомимый противник пограничного полковника Абдурахим-хана. О нем говорил, бледнея от злости, Ахмедхан: «Афганистан... дружба... Советская Россия, но Юлин, Юлин!» Получалось так, что две великие страны готовы броситься в объятия друг другу, но между ними стбал Юлин в черной косоворотке и синих галифе. Мы смотрели на смиренного, скромно чихающего в ладонь человека, и мехмандар, младший назир наместника, тоже смотрел на страшного Юлина. Назойливая артиллерийская батарея с точностью секундомера стреляла в Кушкинских горах. Мы слушали эту канонаду, как соловьиные трели, а младший назир наместника зло смотрел на Юлина, точно это по его приказу с пяти часов утра стреляла пушки Кушкинской крепости. Он отпил глоток чаю, чай ему не понравился, он встал и сказал: «Бааман-и-худа» — поручаю вас богу — и поклонился. Мы простились с афганским конвоем, караван тронулся по широким улицам Кушки. На подоконниках казарм и крепостных домов сидели курсанты и вслух судили афганских коней. Кушкинская батарея стреляла, как

бешеная, афганские лошади горячились и испуганно поводили ушами, и наконец все исчезло за воротами крепости.

Легкий угар шел из кухни, там жарила лепешки свояченица уполномоченного, страшного Юлина. Дым отечества...

Вечером пришли комендант и начальник особого пункта, курили английские сигареты из Герата и дружелюбно ругали Юлина: «Дипломатничаешь, а у меня на прошлой неделе конника ранили и лошадь убили. Давно из центра?» — «Полтора года» — сказал я. «Ну не узнаете, полный Вавилон». — «Интересная история. Прибегает тут весной один джемшид из Герага и говорит: афган весь «сафират совет Россия» порезал, а ханумов позабирал. И знаете ли, вполне возможно. Но вам надо соснуть с дороги. Утречком повидаемся». Мы спали на твердых сундуках, — на четырех афганских сундуках спал, как убитый, штат генерального консульства. Поезд «водянка» увозил нас от афганской границы. Откатили тяжелые двери, сухой накаленный воздух колыбался под крышей теплушки. Проплыл Михайловский хутор, хаты, тополя, дивчины, невероятный, как сон, пейзаж Украины и потом опять бурые горы, спаленная до тла трава, две стальных полоски — закругленная линия рельсов, уходящая в Мерв и на север.

На станции Таш-Кепри мы нашли себе попутчика до Ташкента. Это был немецкий литератор, фотограф, кинсоператор, странствующий писатель, занимающийся «большим репортажем», доктор Колин Росс. Двадцать лет он мерил земной шар по всем направлениям от Манильских островов до Сахалина и от Новой Зеландии до Гельгоlanda. Он писал о людях, животных и климатах, фотографировал, проявлял и печатал снимки и в пути читал и отсылал корректуры. Он мог бы написать специальный труд об искусстве укладывать багаж. В четырех сундуках у него были передвижной дом с отопительными приборами, сухие батареи, сухой спирт, фотоаппараты, походная библиотека, оружие, лаборатория и аптека. Через Каспий и Асхабад Колин Росс приехал в Кушку и держал путь в Кабул. Он проехал триста границ, его паспорт — летопись странствий — держали черные и желтые, и оливковые, ко-

ричневые руки пограничников всех рас и наций.

В Кушке он уперся в Парапамиз и пограничного афганского полковника. — Колин Росс, странствующий литератор, написал в Кабул и попросил визу. Он спросил у Юлина, когда ждать ответ из Кабула. Юлин ответил: «Через четыре месяца». И Колин Росс повернул в Ташкент. Мы сидели в его теплушке под кисейным пологом. Пейзаж Средней Азии медленно проплывал мимо нас. Лысый, босой человек в испарине смотрел на нас с откровенной завистью — шестнадцать месяцев в запретной стране. «Куда вы поедете из России?» — спросили его. Он ответил просто: «Пока в Тибет». Через три года в Берлине на прилавке книжного магазина я перелистал его книгу. Конечно он описал встречу с нами на станции Таш-Кепри. В 1931 году я беру реванш.

В Мерве мы вдруг почувствовали себя отставшими на целую эпоху. Между нашей эпохой, военным коммунизмом и эпохой нэпа лежало афганское средневековье. Железнодорожники открыто говорили о курсе рупии. Человек в полотняной поддевке и сапогах бутылками кричал во весь голос с площадки тронувшегося поезда: «Чохом, за все шкурки сто? Николаевскими золотыми али советскими, нам все едино».

В Бухаре на запасном пути стоял санитарный поезд. На койках лежали в поту и жару красноармейцы, трое раненых и двести маляриков. Врачи и сестры, тоже в поту и в жару, шатаясь, ходили между койками. Они мерили температуру себе и больным. Это был малярийный поезд. Он привез тяжелобольных из Восточной Бухары. Там ловили Энвера. Красноармейцы бредили Энвером и басмачами. Умиравший от желтой лихорадки кричал звонким и чистым голосом: «Живым не дамся. Замучают!»

Шестнадцать месяцев назад на этом месте стоял другой поезд. Он назывался «Первый передвижной государственный показательный театр» и состоял из восьми спальных вагонов и одной теплушки. В двух вагонах жили актеры, актрисы, гримеры и бутафоры. В третьем — диктатор поезда, молодой человек с мушкой, по фамилии Тобби, и его фаворитка. В четырех вагонах была выломана вся внизу

тренность, они назывались «репетиционный зал», «монтажничья мастерская» и зал «экзерсисов». Теплушку отдали под дары и лавры: там ехал рис, урюк, изюм, бараний жир. Актеры играли на станции один раз в неделю пьесу «Зеленый попугай». Тобби кричал страшным голосом на публику. Его секретарь грозил мандатом Совнаркома.

В Самарканде транспортная Чека отняла и рассмотрела мандат, — он оказался запиской Анатолия Васильевича Луначарского в НКПС с просьбой принять и выслушать подателя.

Ташкент. В бывшем общежитии шестнадцать месяцев назад ходил по коридорам боевой конь моего друга. Теперь там бегали горничные в наколках. В номерах пахло недавним ремонтом. На стене под электрической кнопкой висело объявление о воспрещении после одиннадцати часов «громких разговоров, распития напитков, пения и игры на инструментах...» О, тень моего буйного друга Льва Михайловича!

В комиссионных магазинах без ордеров продавали текинские ковры и старые френчи, «сюзани» и лакированные довоенные ботинки. В парке, в «Чашке чая», уцелевшие полковые дамы туркестанских гренадерских полков разносили чай и пирожные. Мы были смущены, как дети. Мы переходили с опаской улицы. Движение арб и извозчиков приводило нас в ужас. Мы вернулись из пятнадцатого века. Вечером мы два часа стояли под окном особняка на Актюбинской улице. Кто-то играл, и играл на рояле Шопена. Это трогало до слез. Сентиментальные юноши, мы вновь открыли музыку, живопись и книги. Мы гуляли по Ташкенту ночью. Здесь нет пушки на закате, никто не запирает на замок городские ворота и вообще нет ворот. По утрам бывший штат генерального консульства в Герате лежал в бреду, в малярии. Доктор из военного госпиталя вливал нам в вены хинин. Но вечером мы выползали на улицы и открывали для себя чудеса культуры: синематограф, электричество, трамвай, телеграф. Наконец мы открыли скорый поезд, поезд прямого сообщения и вагон прямого сообщения «Ташкент—Москва». Это было настоящее открытие после тахтараванов,

вьючных коней и даже после «водянки» Кушка—Мерв.

Аральское море. Джусалы, здесь полтора года назад поезд афганской миссии стоял неделю, пока исправляли размытое полотно. Кейсар-ханум, жена одного товарища по фронту (ее приютила в вагоне Лариса Михайловна), напудренная, набеленная, смотрела подведенными глазами из окна вагона в степь. Киргиз проходил мимо поезда, взглянул и спросил: «Кто это?» — «Китайский генерал» — ответили ему, не задумавшись, матросы. «Из Чугучака?» — спросил киргиз и ушел.

Через двое суток мы пересекали Волгу, Волгу Азина, Кожанова, Раскольникова и Ларисы Рейснер. Вдали и внизу за переплетом моста была Дубровка, Водяное, Балыклея, безвестные городишки и села, вписанные навеки в историю гражданской войны. Когда красные уходили из Водяного, деревенский поп бросился на колокольню.

Он торопился встречать белых колокольным звоном. Азин услышал звон и вернулся и отхлестал попа плетью. Пока белые входили в Водяное, он успел поучить попа и вернуться к своим.

Балыклея, близ Дубровки. Белые ушли из Балыклея. В разгромленном доме, где жил генерал, нашли портрет Горького. У портрета были выжжены папирасой глаза. Об этом мне рассказал уже этим летом Борис Калинин.

Москва...

Москва, 1926 год, зимняя ночь. В маленьком зале Дома печати стоит красный открытый гроб. Красноармейцы стоят на часах в голове и в ногах Ларисы Михайловны Рейснер. Ночь, шаги разводящего и слабый треск паркета. Внизу, в вестибюле, глупый, старый, с золотыми лебедями вместо ручек диван. И лживый старый портрет Шухаева, мнимый портрет Ларисы Рейснер. На диване — ее новые друзья и старые спутники по Волге, Каспию и Хезарийской дороге. Они говорят о прошлом, только о прошлом Ларисы Михайловны, о будущем говорить нельзя, будущего у нее нет. Вот, что значит смерть. Я возвращаюсь к гробу и не верю в смерть. Это не Лариса Рейснер.

И я вижу девушку, косы уложенные кольцом вокруг высокого, чистого лба.

Я слышу звенящий, как сталь, смех и вижу коварную наивность, заставляющую пошлака раскрыться и откровенничать и получить внезапный, убийственный удар острием бритвы. Я слышу беседу, заставляющую собеседника быть все время настороже, как в разведке, чтобы не быть осмеянным, опустошенным и отброшенным в сторону, как пустая шелуха.

Петербургская сторона, Большая Зеленина...

«Северная Пальмира», София, Третий Рим. Эстетизм, мистика, самолюбование. Где противоядие против этой отравы, где мужество, чтобы ее преодолеть?

Сатрап был мощен и прекрасен телом,  
 Был голос у него, как гул сраженья,  
 И все же девушкой не овладело  
 Томительное головокруженье...

Петроград, Москва, Волга. «Сволочи! Отдали Казань, бросили товарищей. Мало расстрелять! Сволочи». Чей это голос? Какой это год?—1918-й.

И опять: «Адмиралтейство, солнце, тишина». В Кронштадте на рейде яхта «Нева» комфлота Балтийского моря. «Товарищи красные балтийцы. Британский флот вошел в Балтийские воды. Товарищи!..»

Хезарийская дорога: Стремя в стремя, вскачь, со свистом и песней по запретной стране. Окаменевший мулла, паломник из Мекки, обращенный в соляной столб на дороге.

И последний вечер в Кала-и-Фату. «Мы не поссорились? До Москвы? Да?» — «Да».

Зимнее московское утро, последний путь от Никитских ворот до кладбища Новодевичьего монастыря. Алый, ранний, зимний закат. Колесо катафалка вертится перед глазами.

Колесо вертится, не заботясь о вычислениях ученых...

Колесо вертится и уносит Ларису Михайловну Рейснер. Мы идем следом.

Люди, знавшие ее близко, могут упрекнуть автора «записей спутника» в том, что он канонизировал образ. Они

неправы. Святых нет, святые—непривлекательные и скучные люди. Был человек. У него были слабости, некоторая доля сентиментальности, некоторая склонность к театральности, иногда склонность идеализировать маленьких, в общем мелких людей. Был писатель, он оставил книги, есть некоторая претенциозность, излишняя чувствительность и нарядность в первой книге. Но если забыть все слабости, все мелкое, незначительное, легко растворяющееся во времени, остается человек, боец, писатель и женщина будущего. Она войдет в историю нового мира прекрасным образцом человеческой породы, человеком, стоящим на грани старого и нового мира.

В Москве, в доме на Ленинской улице, мне иногда снится быстрый, как ветер, белый верблюд с серебряными колокольцами. Он мчится, как ветер, по Пешаверской дороге, как мчался однажды наяву. Он бежит, выбрасывая мягкие ступни, и догоняет любого коня, он уходит от автомобиля по Пешаверскому шоссе, но его все же настигает металлический, сильный, быстрый зверь. Афганистан далеко позади! Десятилетие ушло. И пусть!

Мы встречаем четвертое десятилетие века революции. Революция дала нам вторую жизнь. В крови у нас была мистическая отравка и легкомыслие. Но мы нашли противоядие.

Мне хотелось закончить эту книгу без восклицательных знаков. Я вспоминаю лицемеров, они упрекали меня в двойственности. Я вспоминаю трусов, они упрекали в слабости, я вспоминаю невежд, они поучали меня. Я вспоминаю сухого и осторожного чиновника. Он называл меня попутчиком. Я не принимаю этого ярлыка.

Будем жить, будем биться за новый мир. «Дело заключается в том, чтобы изменить мир». Это есть революция. Да здравствует революция!

Москва. Июнь-сентябрь 1931.



## Вступление к поэме „Красная гвардия“

СЕМЕН ОЛЕНДЕР

Город жил янтарем осенним.  
Скоротечные гасли власти.  
А на вывесках Дуварджоглу  
Стародавние плыли сласти.  
И в сиреновой мгле кофеен —  
Домино. Дерзновенье. Пенье.  
И афинянка приносила  
Кофе крепкий, как забвенье.  
Но—асбестовый дым домовий!  
Стекла в зарослях паутинок...  
Значит — правда, что в этом доме  
Начинается поединок.  
... Дом тревожен, и люди—новы.  
Полстола отхватила лампа.  
Вдвое сложенная газета,  
И на легкой газете—лапа.  
До отказа набиты жилы  
Синевой — это цвет вечерний!  
Выпрямляются грозно пальцы,  
Эти пальцы «мятежной черни».  
— Завтра встретимся в катакомбах.  
— Мы напрасно раскрыли карты!

Арестовано двадцать восемь.  
Значит ночью придут кокарды...  
Уместились в столе спокойно  
Сахар, ложки, сухарь, лимонки.  
Спят квартиры. Лишь вещи бредят,  
Да свисток вартowego тонкий...

А в кофейнях серели спины.  
Ведь товар Дуварджоглу—ходкий!  
И афинских морей шатенка  
Шла волнистой своей походкой.

Только ветер следил за веком  
И казался мне интересней  
Оттого, что, как я, гонялся  
За недавно пропетой песней:

«В Балиховском переулке  
У-убитого нашли,  
Был он в кожаной тужу-урке,  
Восемь ран на груди.

Был он в кожаной тужу-урке,  
И фуражка — в пыли...»



## НИК. ТАРУССКИЙ

Разумный мир, не светопреставленье!  
Гул вьюг. Декабрь. Светящийся рожок.  
Котел рычит, вздуваемый давлением,  
И рвется кран, запечатлев ожог.

Но поезду поспеть по расписанью!  
Платформу набок, сдунуло столбы.  
И вот несет в косое завыванье  
Ночей и вьюг военный храп трубы.

Потом еще. Шершаво. Жестко. Грубо.  
Ударило. И вырвал паровоз.  
Заголосило. Крыши. Люди. Трубы.  
Сырой и серый пляшущий мороз.

Две тыщи дней под белой шапкой пара—  
Жар ада из раскрытого жерла.  
Меняют машинистов, кочегаров,  
Упавших в обмороке у котла.

Как стонут рельсы от чугунной бури!  
Обрушиваясь на складни дров,  
Мрак заступает путь, нещадно хмурясь,  
Но он не в силах задержать ядро.

Прицел был верен и сосредоточен.  
Что обмороки машинистов! Уж  
Мы обгоняем время, мы от ночи  
Уходим, — племя мужественных душ.

Бор рушится, заламывая ветви:  
Мгла кружится и поднимает зык;  
Одетый в хлопья, вековечный ветер  
Показывает за окном язык.

Он дразнит нас, беснующийся, косный.  
Здесь сон давным-давно сошел с ума.  
Здесь пращур, прячась, отступает в  
сосны.

Здесь топки жаром брызжут на дома.

Мы зорко верим вдохновенью формул:  
Пусть разум жизни задает урок.  
Ура! Столетия потеряли тормоз.  
Сто лет, как пять,—и мы доедем в срок!

6/VII—31.

Ока.



# Черное золото

Роман

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

(Продолжение <sup>1</sup>)

41

Тогда ночью в Бал Станесе президиум Лиги вынес смертный приговор Налымову и Вере Юрьевне. И она, и он выслушали с каким-то даже облегчением, что уж наконец кончена канитель. (Извольский, прочтя приговор, разорвал бумажонку и обрывки поджег спичкой). Вера Юрьевна и Налымов (с обвязанным мокрым полотенцем лбом) сидели на диване, президиум расселся напротив на стульях, Хаджет Лаше немного впереди других. Он уже успокоился, подогнул под стул ногу, уперев руку в бедро, подгрывая концом кавказского пояса, игриво поглядывая на Веру Юрьевну. Выдержав минут десять молчания, чтобы приговоренные полной мерой хлебнули смерти, закончил решение президиума:

— Считаюсь с нуждами Лиги, мы откладываем исполнение приговора и даем обоим государственным преступникам возможность загладить беззаветной работой свой проступок. Полковник Налымов немедленно выезжает в Париж к своим обязанностям, княгиня Чувашева остается здесь под моим личным наблюдением...

Налымова увезли в автомобиле на следующее утро, не разрешив проститься с Верой Юрьевной. Она получила от него лишь открытку в два слова (с пархода). Ночью Хаджет Лаше говорил Вере Юрьевне:

— Красавица моя, вы сделали истерическую глупость. Зарубите себе,

ледняя лазейка — бегство — отрезана. Теперь от вашего поведения зависит жизнь полковника Налымова: попытайтесь ослушаться меня хотя бы в мелочах, — обещаю прострелить ему башку из этого шпалера. Понятно? Его я так же предупредил, что спущу вас в мешке в озеро, если он попытается вылить там в Париже. Понятно? Ну-с, а ваши предположения, что всех вас по миновании надобности Лига «уберет», как вы или Василий Алексеевич тогда выразилась, кошечка моя, — истерический вздор. Денежную долю выделим вам широко, милуйте себя на здоровье хоть на Соломоновых островах... Пора понять: в политике я жесток, вне политики — доброжелателен до крайности... Может быть, я — последний романтик, почитали бы все-таки, мои книжечки. Особенно рекомендую роман «Убийца на троне», — про Абдул-Гамида, по фактическим материалам. Там с большим знанием описываются например турецкие пытки... А так же глубокое знание женской души... (Весело открыл зубы). И так, Вера Юрьевна, по рукам?

Что же ей оставалось? Хаджет Лаше внушал ей ужас. Он и не скрывал, что намеренно усиливал близость между Верой Юрьевной и Налымовым. «Не на один, так на другой крючок возьму, если смерти не боитесь». И взял всю ее свободу. Все в ней упало, опрокинулось, все — куча мусора. Только жил воспаленным нервом отчаянный страх за Василия Алексеевича.

Оставаясь одна вечерами на даче, тихо выла в подушку. Лильку и Машку не

<sup>1</sup> См. «Новый мир», кн. кн. 1—9 с. г.

могла допустить до глаз. И приказания Хаджет Лаше исполняла в точности, — двигалась, улыбалась, хлопала рестницами, как восковая фигура из паноптикума.

Чего бы проще, казалось, — связать два шелковых шнура от высоких ботинок и удавиться на дверной ручке? Еще до встречи с Налымовым она (в Париже) попыталась было выкинуть такую штуку. Теперь (Лаше тонко понял Веру Юрьевну) связанные шнуры только раз померещились, когда в глухой час ночи в постели, засунув голову под подушки, она не смогла больше слушать протяжного крика боли, доносившегося из гостиной. Крик обрывался, она различала мужское всхлипывание. Начинаясь возня... Омерзительная возня, бормотание голосов. Удары. Тишина. (Вера Юрьевна медленно высовывалась из-под подушек...) Острый крик раздирает ночную тишину. (Хуже всего, что видела из окна в Лилькиной машине этого матроса)... Кричал сильный, полный крови человек...

«Аааааа» — зверино тянул голос... Она сорвалась с постели, выскочила на балкончик, сползла по низко спускающейся крыше на луг, побежала к озеру и дальше — к березовому леску. И там до зеленого рассвета тряслась в одной сорочке.

Но и эта ночь миновала. Остался только непроглотный клубок в горле, не запить никаким вином. Веру Юрьевну два раза таскали в Стокгольм, — вечером в ресторан, днем на свидание с Леви Левицким у ювелирного магазина. Наконец Лаше сказал:

— Завтра его привезут. (Она побелела). Может, все обойдется вполне прилично, — я еще не решил... Тогда вам придется пофлиртовать. Не давайте себя лапать, но и не очень его отпугивайте.

Леви Левицкий брился, стоя перед зеркальным шкафом. Что могло быть лучше ощущения прилива жизни! Чорт возьми, какая легкость! Кровь так всего и обмывает, мыло, кажется, шипит на щеках — до чего щеки здоровы. Молод, молод еще, братишка! Хорошо, что вчера не пил водки (угощая ужином мадам Лиди), только стопочку шампанского (Пипер Хайстик)! Здесь пить надо бро-

сить, — жизнь пьянее вина. Водка, спирт, автомобильная смесь, — пили мы, братишечка, чтобы на минуту отмахнуться от жизни... «Эх ты, яблочко, куда закатилось...» (Он повел плечом, и ноги сами выписывали крендель по фисташковому ковру.). Это не минутка, не мечта, братишечка, это — счастье, полная жизнь, полная, пышущая, как щеки... Жизнь — вся впереди... (Вдруг, испугавшись, — не прыщик ли — придвинулся к зеркалу, ухмыльнулся себе...) Значительное лицо! Оригинальное лицо!

Положил бритву на стеклянную доску на туалете, смочил полотенце цветочным одеколоном, осторожно вытер щеки и шею. Припудрился из высокой жестянки (с крышкой, как у переноски) английской пудрой — шипр. Жестянка, а ведь как сделана, как расписана красиво! А запах! Все предметы высокой культуры, разбросанные по столикам и креслам, усиливали ощущение жизни. А помнишь, братишка, питерский пропотевший френч, хлопающие сыростью башмаки, белье, липнущее к телу? (Опять и опять он оглядывал предметы культуры, они валялись даже на пышном ковре...) Благословенны шелковые кальсоны, паутиновые носочки, лакированные башмачки, внутри выложенные замшей и посыпанные тальком, чтобы нога нежилась, как сахар... Хрустящий шелковый галстук в диагональную полоску, — это уже отдельное!

Жмурясь, потянулся, так, собственно, от избытка приятности. Отворил дверцу в ванное помещение, — белые изразцы озарены пестрым витражем окна. Повернул никелированные краны, синеватая горячая вода зашумела в белоснежную ванну, поднимая облачка пара, и вдруг ему стало страшно: слишком уж все хорошо... А вдруг все это на ниточке? Доживает последние дни?..

Сел на край ванны, мрачно задумался. Еще в постели он просмотрел утренние газеты. Германия в особенности внушала самые серьезные опасения. Очень ненадежно. «Чорт их знает, на что-то надеются же большевики. Прут напролом, да еще издеваются... Какие-то данные должны у них быть для такой уверенности. Ой-ой-ой... (Колочками пробежала нервозность.) Версальский мир! Клемансо, Пуанкаре, Ллойд-Джордж, Вильсон... Ев-

ропейские умы... Какого же чорта, устраивать мировую провокацию, Версальский мир! Пропаганды для восстания германского пролетариата лучше не придумать... Или действительно это — провокация, чтобы восставшую Германию выжечь пушками и газом раз и навсегда? Грудному младенцу ясно: европейская революция решается в Берлине...»

Леви Левицкий закрыл воду, сбросил пижаму и, вздрагивая от звериного наслаждения, лег в ванну. Глядел на пестрых рыцарей на витраже.

«Что если все — вздор? Русская революция просто — затянувшая демобилизация? Большевики — книжники, спятившие с ума? Ну-те-с! Тогда версальцы — не такие уж ослы. Германия и Россия — две половинки одного тела, — индустрия и сырье. Версальский мир, ни слова не говоря о России, весь целиком направлен против Востока (считая от Рейна до Тихого океана). А если так, — Антанта получает рынок, какой и не снился человечеству. Сначала уничтожается Германия, — заводы и пролетариат переходят Англии, Франции и Италии, затем широкий карательный марш в некое населенное пространство, не упомянутое на карте Версальского мира. Народы российских федеративных республик разметаются, как мусор, — распущенные, избаловавшиеся, некудышные работники. Вслед за армиями вливается излишек европейского населения, и позади ползет золотой вал... И великолепнейшую буржуазную культуру железным гвоздем приколачивают до самого земного пупа на веки веков.

Леви Левицкий дил наслаждение, поворачиваясь с боку на бок в ванной. Нет, будущее — лучезарно. За будущее он спокоен. И мысли его перенеслись к волнующей женщине, княгине Чувашевой. Еще вчера он не был уверен, но сейчас, — дурак ты, дурашка советская, через пару дней купать ее буду в этой ванной.

Он вспомнил: чорт, цветов забыл! Торопливо вылез из воды, растерся, надушился, припудрился и начал одеваться в самое лучше платье.

Роскошной бабочкой Леви Левицкий стремительно летел в огонь. По телефо-

ну он заказал букет белых роз (пятьдесят крон), решив заехать за цветами после завтрака. Легко позавтракал, без вина (конечно), только рюмочка ликера с черным кофе. Спросил гаванну в шесть крон. Попыхивая ароматным дымком (каким попыхивают самые богатые люди на земле), самоуверенно, неторопливо, упиваясь растворением себя в культуре, вышел в вестибюль за шляпой и тростью. Навстречу с кожаного дивана поднялась Лили, пробормотала, что давно ждет и автомобиль уже нанят и ждет.

— Превосходно, — сказал Леви Левицкий, беря у ливрейного мальчишки шляпу и трость. Его не удивило ни землистое лицо Лили с провалившимися глазами (как после бессонницы), ни то, что нанятый автомобиль (черный, закрытый) стоял не у подъезда, но довольно далеко от гостиницы, за углом.

Сели. Леви Левицкий сказал адрес цветочного магазина. Шофер (Жорж), как будто не поняв приказания, пустил бесшумную машину не в сторону Биргельярстаган (где был магазин), а к набережной. Леви Левицкий схватил его за плечо (Жорж, не оборачиваясь, болезненно оскалился) и крикнул с раздражением:

— Елизавета Николаевна, скажите этому болвану по-шведски, — я должен заехать за букетом...

Машина повернула на Биргельярстаган. В то время, когда Леви Левицкий платил в магазине за цветы, шофер Жорж успел заскочить в уличный автомат и по телефону запросил Баль Станес:

— Гость наследил. Что делать?

Голос Хаджет Лаше бешено, отрывисто:

— В чем дело? Точнее...

— Покупает на Биргельярстаган огромный букет. Тысячи свидетелей...

— Невозможно!.. (Голос захлебнулся и по-турецки ли, еще на каком-то языке, затараторил ругательства). Все делаете из рук вон! Позовите к телефону Степанову. (Жорж ответил: «Нельзя, говорю из уличного автомата...») О, чорт! (Опять непонятное) Анасанана... Баба-сана! Везите, все равно... Не торопитесь...

Букет был завернут в тончайшую шелковую бумагу. Леви Левицкий держал

его на коленях, держал (как свое счастье) обеими руками, боясь растрепать.

Он был счастлив за эти двадцать пять минут перегона по отличному шоссе от Стокгольма до Баль Станеса. Уносящее движение автомобиля, как известно, чудовищно гонит наверх стрелку манометра счастья: скорость машины увеличивается (прямо пропорционально квадрату, может быть, кубу скорости) уверенностью в своей силе, в своей удаче, в своих способностях, сверхспособностях... Скорость как бы насигает время: вот-вот—так кажется при очень больших скоростях—ты вместе с машиной, вместе с бешено ревушим мимо ушей ветром обгонишь время, проскочишь в будущее... Несомненно, достигни автомобиль скорости света (что по теории Эйнштейна невозможно), седок почувствовал бы себя сверхчеловеком...

На прямом отрезке километров в пять Леви Левицкий сказал Лили, что Европа для него в сущности тесна, развернуться можно только в Америке, где, «душка моя, вот вам слово: этих башмаков не изношу,—буду иметь собственный банк и парочку небоскребов»...

Одна диалектика, — муза познания прошлого, настоящего и будущего бытия,—летя в бензиново-пыльном облачке за машиной, могла бы шепнуть Леви Левицкому: смерть!... Но, упоенный красотью осеннего солнца в безветренных небесах, взволнованный предстоящим свиданием, он мчался с букетом роз к неведомой минуте — она была предрешена непостижимой путаницей интегральных уравнений истории.

Была даже секунда предупреждения: автомобиль почти коснулся крылом мелькнувшей навстречу машины, — она шла на третьей скорости из Баль Станеса в Стокгольм. За стеклом две пары свирепых глаз укололи Леви Левицкого. Но заметила это только мадам Лили, узнав (несмотря на быстроту) Биттенбиндера и Эттингера. С холма открылось ужасно синее среди желтеющей листвы длинное озеро. Лили указала на черепичную кровлю уединенного дома. Быстро покрыли дорогу вдоль леса (Леви Левицкий придерживал букет у груди и шляпу на голове). У подъезда на садовой скамейке сидел Хаджет Лаше (в домашней курт-

ке) и добродушно курил из длинного мундштука.

— Аа, милости просим, милости просим... Давно друг друга знаем, но не знакомы, рад, очень рад, — говорил Хаджет Лаше, задерживая руку Леви Левицкого. — И с цветами. По-европейски. Книгиня вас поджидает... Не нравится мне ее здоровье, — настроения, меланхолия... Да, да, все мы здесь чахнем потихоньку без родной почвы... Вера Юрьевна, — крикнул он, задрав к окну голову и расставя ноги, — гость из Петрограда... Да, поджидает она вас, поджидает... Елизавета Николаевна, по русскому обычаю гостя надо бы чайком... (Лили сейчас же ушла в дом...) Да вы садитесь, Александр Борисович, в ногах правды нет... Давно ли из Петрограда? Как там Ленин, Троцкий? (Засмеялся, потом горестно покачал головой). Ах, иногда все кажется,—как сон какой-то... Помню,—давно ли это было,—Невский проспект: чинно, строго, пышно, прочно. Войска проходят с музыкой... Спешат чиновники, мчатся коляски, юнкера на лихачах. Помните пару вороних под синей шелковой сеткой, — запряжку императрицы? Дворники в синих рубахах с начищенными бляхами подбирают с тротуаров каждую соринку. Любил я глядеть, как бывало идет генерал в кожаных калошах с медными пятками, помните? Может быть, сам-то\* по себе заурядный человек, но сознание в лице, что—высший представитель империи. И это было внушительно. Солдаты — раз-раз — во фронт, юнкера—дзынь, дзынь — в четверть оборота, под козырек, локоть—в уровень козырька. Красиво! И вместо этого на пустынном Невском — выбитые стекла и лошадиная падаль. Да, да, вот сиду здесь и размышляю о скоротечности всего земного...

В это время произошло что-то мгновенное и мало понятное — в дверях дома появилась Вера Юрьевна. Только по росту, по меху на плечах Леви Левицкий узнал ее, — бледное, густо напудренное лицо ее было искажено гримасой перекошенного рта. Собольи палантин у горла держала костлявой, в перстнях рукой, ногтями — глубоко в мех. На пороге она повидаемому споткнулась и с каким-то отчаянием протянула руки перед собой.

Хаджет Лаше кинулся к ней, втолкнул в дом и захлопнув за собой и за нею дверь. Все это в долю секунды. Леви Левицкий в недоумении остался на скамейке

Дотация Веру Юрьевну до внутренней лестницы, Лаше придвинулся вплоть вздувшимся от гнева лицом и — без голоса:

— Это что же... Знаки? Ананасана! Знаки подаешь? К себе!.. В постель... Лечь... Предупреждение последнее...

Под мехом ловил ее руку, чтобы сломать пальцы. Вера Юрьевна пошла по лестнице вверх неживыми шагами, Лаше сейчас же вернулся к Леви Левицкому. Ударил себя по ляжкам. Сел:

— Вы видели? Ну что с ней поделаешь! Опять припадок истерии... Переволновалась, ожидая вас, что ли... Приказал, буквально силой, лечь... (Всывывая папиросу в длинный мундштук.) Доктора, ах, доктора! Кого ей только не привозил... Истерия, последствия малярии, старое нервное потрясение?.. Ах, господи медики!.. (Усмехнулся, суя папиросу). Без докторов понятно, что будь при ней муж, любовник, грубо говоря, хороший самец,— вот и все лекарство... Да, тяжело! Александр Борисович, мне право совестно перед вами... Да и княгиня будет в отчаянии. Приезжайте-ка к нам, батенька, запросто ужинать. Будут милые люди... Засидимся — останетесь ночевать... Условились, а? Завтра вечером, идет? Этот же шофер вам и подаст машину... Но только уж никаких букетов... И просьба... (Весь сморщился). Не говорить никому... Знаете, голодные эмигранты такая бесцеремонная публика, — чуть где запахнет ужином, без приглашения, на огонек...

Остаток дня Леви Левицкий прогуливался по Ваза Гаттан, свертывая шею к магазинным витринам. Купил чудные перчатки антилоповой кожи и машинку для точки бритв. Потом зашел в кино, где шла новинка братьев Пате — «Три мушкетера». Три французские дворянина и их друг совершали чудеса ловкости и храбрости во имя чести, Франции и короля. Леви Левицкий скучал, кому нужна эта неправдоподобная чепуха? Хотя вагнуто ловко: после Версальского мира пустить по всему свету легенду о бе-

зупречном благородстве французов! Хитрые буржуи...

Ужинать он пошел в известный кабачок «Три рюмки», но и здесь было скучновато, пресно. От сегодняшнего посещения Баль Станеса оставалось смутное впечатление чего-то болезненного и тоже неправдоподобного... «А не бросить ли канитель с этой бабой? Наверное с фокусами, подумаешь — цаца, аристократка!..» Спать он лег раздраженный тоже, как-то неопределенно чем.

Утром, лежа в ванной, окончательно решил: довольно нежиться, довольно сладострастничать, мотать деньги, терять время. Принимайся, дурашка, за дело. Первое — прочь из этой дыры Стокгольма, на простор, в Америку. В девять часов он позвонил Ардашеву и к двенадцати поехал к нему завтракать, задача была: устроить через Ардашева американскую визу.

Николай Петрович встретил его, размахивая об'емистым конвертом, сплошь облепленным марками, они тянулись в виде хвоста на особой подклейке. Леви Левицкий засмеялся:

— Узнаю советскую почту. От кого?

— Представьте, дошло через все границы. От Бистрема.

— Да быть не может!.. Ну-ка, ну-ка?

— За кофе прочтем.

После закуски с водочкой, когда у Ардашева влажно заблестели глаза, Леви Левицкий изложил просьбу о визе. Николай Петрович отнесся к этому чрезвычайной серьезно:

— Дорогой мой, вы хотите окончательно эмигрировать?

— Не понимаю такого вопроса, Николай Петрович, — не был и не буду эмигрантом... Я должен испытать счастье, раз уж вырвался за границу... Как умный человек вы меня поймете: во мне столько темперамента, столько энергии, удачи, честное слово! — жалко бросать революции не во-время такой кусок! Сейчас революции нужен Буденный, а я боюсь острых предметов, я сижу на лошади, как теленок на заборе... Года через три или я сделаю миллионы и, может быть, отдам их революции, или лопну, как мыльный пузырь... Тогда я вернусь в Советскую Россию, расскаюсь (рассмеялся, побагровев) и, уже успокоюсь на свой счет, отдам себя революции. — Вы

понимаете, я — слишком я... Это мне мешает спать. Зла трудящимся я не собираюсь делать, разве пушу в трубу десятков-другой спекулянтов...

Ардашев снял серебряную крышку с дымящегося блюда. Близоруко прищурился:

— Мне-то уж слишком смешно быть моралистом, Александр Борисович... Эмигранты считают меня большевиком, большевики — буржум, и те и другие правы. Я верю в правду революции, но не верю в себя и продолжаю кушать с серебряной тарелки... И вас я отлично понимаю и, может быть, очень завидую... Вы цельный человек... Но было бы больно увидеть вас среди врагов Советской России...

— Боже сохрани! Николай Петрович, Россия была мне злой мачехой... Но зла я не хочу помнить, — слишком понимаю, откуда шло все гонение на евреев: от союза помещиков с русской буржуазией... Здесь у меня полный контакт с большевиками. Богом вам клянусь, чем хотите: будет у меня сто миллионов, в душе останусь пролетарием...

Он сказал это горячо, с верой в себя и в сто миллионов. Ардашев осторожно поднял брови:

— А ну как за сто миллионов английский король вдруг да предложит вам лорда? Откажетесь?

Леви Левицкий выпучился на хозяина, рука с куском повисла на полпути. Тряхнув стол, расхохотался:

— Коварный человек, хитрец! Ох-хо-хо, ха-ха! А что же, — и ведь предложат и — приму... Лорд Девонширский, маркиз Уманский, виконт Леви Левицкий... Ах, папашки моего нет в живых... И знаете что, — он бы меня за лорда деревянным бы аршином вывозил по горбу. Николай Петрович, цинизма во мне на все сто миллионов, да еще юмора на столько же, но стержень моей жизни все-таки — папашка. (Вздыхнул). Да, папашка был хороший старик, чудный старик. И, может быть, вся моя легкость, бесстрашие, цинизм оттого, что во мне самом каждую минуту — мое прибежище, мой папашка.

Выпили под дымящееся блюдо. Ардашев обещал завтра же сходить в американскую миссию:

— Должен вас все-таки огорчить. Александр Борисович: Америка сейчас —

не слишком удобное поле для игры, — вместе с войной закончилась эпоха чудовищной спекуляции. Нег ничего прочнее американских бумаг, и нужно ожидать, что деньги там будут бросаться на развитие промышленности. Америка намерена бить все рынки... Игра сейчас — здесь, в Европе. За войну Америка ввезла сюда товаров более чем на десять миллиардов долларов. По крайней мере половину этого не успели израсходовать. Считайте, что в Европе болтается на разных складах, в военных министерствах, у разных спекулянтов — обуви, белья, одеял, консервов, печенья, варенья, муки, табаку, мороженого мяса и прочего на пять миллиардов долларов. Вот и положите эту сумму себе в карман, Александр Борисович... Потом соберемся опять у меня за завтраком и посмеемся, как два умных человека, знающих цену деньгам, человеческой низости и юмору.

— Слушайте, вы серьезно советуете обратить внимание на Европу?

— В Америке вы — ну — удвоите капитал, здесь припишете девять нулей.

— Но там же доллары, здесь деньги — мусор.

— А не все ли вам равно, — важно ощущение могущества, бешенство игры.

— Вы правы. Я остаюсь в Европе. Я не хочу больше водки, Николай Петрович... Читайте письмо Бистрема...

Начало письма было о матери Бистрема, — он просил Ардашева сходить к ней, и, если нужно, помочь денежно. «Передайте мамочке, что здесь я, во всяком случае, в большей безопасности, чем живя в Стокгольме». Сообщал о себе: в начале он работал в наркомпросе. Задачи грандиозны, — вовлечь все население в университеты и академии искусств. С нетерпеливостью революция требует от наук и искусств покинуть горные вершины и все свои сокровища отдать массам. Грандиозные здания бывших учреждений и дворцов привлекаются под академии. Туда привлекаются все, кто может чему-нибудь научить: ученые, академики, специалисты, поэты, философы, балетные танцоры, музыканты, режиссеры.. Бесчисленное множество факультетов и аудиторий заполняется толпой рабочих и работниц, крас-



ноармейцев, подростков и стариков. Половина этих людей не знает грамоте. Но они, как растения в засуху, пьют влагу знания. В одной зале знаменитый астроном, с мешком для пайков за спиной, в калошах на босу ногу, читает о мироздании. Тысяча человек, таких же голодных, как он, в прокисших солдатских шинелях, в нагальных полшубках или в одежде, отказывающейся не только греть, но даже держаться на плечах, — слушают, как зачарованные, о небесных туманностях, о лучах света, ползущих миллионы световых лет по сферически четырехмерному пространству эфирного пузыря. Тысяча слушателей чувствуют, что эфир, туманности и свет завоеваны ими, они свои теперь, советские, как этот дворец, как этот величественный и суровый город. Нужды нет, что трудно понять, что бормочет из всклокоченной бороды астроном, — добьемся когда-нибудь, пойдем... В другой аудитории бледнолиций поэт еще более туманно говорит о ямбах и хорях, трехдольных паузниках, ритме и аллитерациях, читает отрывки из Пушкина под всеобщее одобрение, с бешенством нападает на Вячеслава Иванова и символистов и поздравляет слушателей с появлением космического гения Хлебникова. В третьей аудитории красноармейцы, сняв простреленные шинели, обучаются движениям классического балета, и это не смешно, потому что революция взамен меццанских материальных благ пригоршнями швыряет величайшие сокровища тысячелетней цивилизации.

Жизнь с каждой неделей все тревожнее: растет голод, белые армии теснее обхватывают пределы республики. Из наркомпроста меня перебросили в отряды по продразверстке. Нужно силой добывать хлеб в сытых и все более лютеющих деревнях. О, да, я научился ненавидеть сытых... Я пересмотрел мое философическое отношение к еде. В этой точке начинается расхождение двух мировосприятий: чувственного и идейного, индивидуалистического с его «сегодня» и социалистического с его «завтра»... Я вижу, вы читаете это письмо за завтраком и улыбаетесь, Николай Петрович: я немного похож на голодного оптимиста, не имеющего чем набить желудок и бодро философствующего на тему, что не

единым хлебом жив человек. Да, я хочу есть и это мучительно. Но мозг мой ясен и верит в победу великих истин, и долю истины вы найдете в моих рассуждениях.

Самая буржуазная нация, французы, создали из еды искусство, более почитаемое, чем все остальные. В хоровод муз они ввели десятую музу — Кипящую Кастрюлю. Эту бабу, с глазами восхитительно пошлыми и засасывающими, богиню всех рантье, мелких буржуа, всего деревенского кулачества, богиню угрюмой жадности, индивидуализма, человеконенавистничества, богиню тухлой отрыжки, называемой Версальским миром, эту мировую стерву я со всей классовой ненавистью выкидываю из хоровода муз. Десятой музой я ввожу Диалектику, крылатую музу Революции, движения человечества к голубым городам социализма. Она — со мной, опершись о мой стол (где пишу вам при свете коптящего фитилька в консервной жестянке), глядит в мое сознание глазами прозрачными, как математическая формула, неумолимыми, как декрет, светлыми, как утренний туман.

Не думайте все же, Николай Петрович, что занимаюсь здесь одной поэзией при свете копилки. Это мой досуг, очень скудный, кстати. Вчера вернулся из двухнедельной поездки с продотрядом. Нас было четырнадцать человек, — двенадцать рабочих-металлистов, комиссар-товарищ Каган и я — агитатор. Из отряда вернулись живыми двое, — пятидесятилетний рабочий Чуриков и я. Двенадцать вагонов хлеба, которые мы успели пригнать в Петроград, стоили нам двенадцати жизней: в дождливую и ветреную ночь товарищ Каган с одиннадцатью товарищами были зарублены топорами, сожжены вместе с сараем, где ночевали. Мы с Чуриковым спаслись только потому, что в этот час были на железнодорожной станции.

Боюсь, что мне теперь долго не придется писать вам. События для нас, петроградцев, чрезвычайно угрожающие. По нашим сведениям, Антанты серьезно принялась вооружать Юденича и финнов. Петроград — на мушке дальнобойных орудий финского берега, Кронштадт — под жерлами английских дредноутов. Наступления ждем

со дня на день. А Москва продолжает высасывать у нас силы для иных фронтов. Есть слухи (но очевидно панические, хотя само их появление тревожно), будто бы Петроградом на крайний случай решено пожертвовать и базу тяжелой индустрии перенести на Урал и в Кузнецкий бассейн. Слухи подогреваются приказами об эвакуации заводов. Но рабочие отвечают на это примерно так:

Рабочие Ижорского завода постановили: «Всякую эвакуацию прекратить, дабы не вводить дезорганизацию как в среде рабочих, так во вполне налаженную работу по бронированию автомашин. Мы, ижорцы, закаленные в боях, твердо верим в победу, крепко стоим на своих постах и знаем, что и когда нужно делать, когда и какую работу производить и когда нужно заниматься эвакуацией».

Яд этого письма был настолько крепок, что Леви Левицкий и Ардашев долго молчали, — один, наваясь локтями на стол, глядел в пустую синеву окна, другой, поджав губы, мял хлебные шарики. Потом они заговорили о судьбе революции, волочащей на ногах чудовищные гири: на левой — семьдесят пять процентов неграмотного населения, на правой — интервенция с белыми генералами, за спиной — клубок заговоров.

Ардашев откупорил бутылку коньяку, сердца у обоих разгорячились и умилились. В этот час оба, казалось, готовы были отдать жизнь за справедливость.

— Мы, современники, слишком близки к событиям. Вонь прокисшей шинели мешает видеть, что красноармейская шинель — на плечах гиганта, — говорил Ардашев. — Но всмотритесь, вслушайтесь: что пафос первого века христианства в сравнении с пафосом русской революции! Она все время говорит от имени человечества, о переустройстве вселенной...

— Честное слово, я вернусь, я вернусь, я должен вернуться, — повторял Леви Левицкий. — Здесь я себя не уважаю! Человек может пачкать себе лицо, но жить в грязи? Нет!..

Возвращаясь уже под вечер с завтрака, Леви Левицкий не останавливался перед витринами (опираясь на трость и жадно бегая зрачками), не дергал ноздрей в сторону хорошеньких женщин. Пол-

нокровные лица прохожих неприятно поражали его, почти так же (слабее конечно), как если бы эти самоуверенные в мохнатых пальто, с золотыми цепочками буржуи гуляли по Невскому.

Леви Левицкий купил русских и немецких газет, вернулся в гостиницу, снял пиджак, воротник, сел читать газеты. В Венгрии — революция, в Германии — вот-вот восстанут спартаковцы, в Англии — забастовки, в Италии — невообразимый политический хаос. Душа Леви Левицкого расщепилась. Они правы, чорт их возьми, правы, правы, — бормотал он, грызя сигарный ососок, — это начало мировой революции... Заглядывая в котировку биржевых курсов, сличая их со вчерашними (из кучи газетных вырезок), не мог удержаться от нервного озноба... «На мой-то век во всяком случае хватит, — думалось, — Ардашев прав: деньги нужно делать в Европе, именно там, где все на волоске — Берлин, Вена»... Наконец он швырнул газеты и долго ходил из угла в угол. В дверь слабо постукали. Бесцветной тенью появилась Лили:

— Вера Юрьевна просила передать, что очень извиняется за вчерашнее, непременно ждет вас сегодня к обеду, к семи часам...

— Вы знаете, кажется, я не поеду... А? (Лили опустила голову). Золоткое мое, извинитесь за меня... Или я напишу... (Лили тенью стала уходить в дверную щель)... Может быть, отложим?

И вдруг в нем горячим туманом поднялось желание, такое вещественное, что стиснул зубы, за руку втащил Лили в комнату:

— Подождите... Княгиня ждет меня, говорите? Разве что, я уж обещал...

— Да, они очень ждут...

— Ну, раз ждут... Делать нечего, буду европейцем... Что нужно, смокинг? Через десять минут буду готов...

— Я заказала автомобиль... Вы одни поедете, я позже...

Закрыв за ней дверь взглянул на часы: двадцать минут седьмого... Он торопливо достал крахмальную рубашку и ломал ногти, всовывая запонки. Желание было остро и мучительно, как страх смерти. Оно раздавлиало его, как лягушку в колесе, и он, сердясь на запонки, бешено затопал. Но остроумие все

же никогда его не покидало: покосился в зеркало, пробормотал:

— Завоеватель Европы...

— Едет,—сказал Хаджет Лаше.

Он вышел на крыльцо. В темных сумерках, быстро приближаясь, шумела машина. Дом был темен, ни одного освещенного окна. Лаше схватился за перила, слушал, перегнулся, всматриваясь...

Вдали выступили из темноты березовые стволы, свет побежал по стволам. Показались два сильные фонаря машины Жоржа. Взыла сирена. Лаше снял руки с перил, провел по лбу, по волосам. Сошел с крыльца.

Со всего хода автомобиль затормозил. Лаше дернул дверцу. Из автомобиля неуклюже, боком вылез Леви Левицкий. Поправил смятую шляпу, глядя на темный дом.

— Приехали, все-таки... (Обеими руками Лаше провел по волосам).

— А что?—почти с испугом спросил Леви Левицкий.

— Да ничего, все в порядке... Ждем... Кто-нибудь знает, что вы поехали сюда?

— Нет... Вы же просили...

— Кому-нибудь да сказали, все-таки?

— Слушайте... Это странно даже...

— Завтракали у Ардашева...

— Ну, завтракал...

— Он знает?

— Что? Кто он знает?

Оба говорили отрывисто, торопливо, держащая нарастающее волнение...

— Да никто ничего не знает, — серьезно сказал Леви Левицкий. — Не понимаю, в чем дело?

Хаджет Лаше придвинулся:

— Ах, в чем дело, хотите знать...

Это уже походило на угрозу. Леви Левицкий оглянулся, сейчас же Жорж (шофер) погасил фонари. Было видно (в сумерках), как в руке Леви Левицкого дрожала тросточка. Но он был больше растерян, чем испуган, что все это могло значить? Лаше или сумасшедший, или бешеный ревнивец... (Пожал плечами).

— Я не навязывался ни к вам, ни к вашим дамам... Сами пригласили на ужин... И даже ехать-то не имел особенного желания, только, как европейец... (Хаджет Лаше с широкой улыбкой раз-

глядывал его, и Леви Левицкий осмелел и петушился...) Княгиня хотела о чем-то говорить.. Пожалуйста... Не нравится мое присутствие? Пожалуйста...

Он повернулся к автомобилю, Жорж торопливо влючил дифференциал, круто отъехал. Леви Левицкий остался с поднятой тростью. Лаше — мягко, с завыванием:

— Милости просим в дом, дорогой товарищ, поговорим по душам.

Больно взял за руку выше локтя. Леви Левицкий с силой рванулся. На крыльце стояли трое. У него стало тошно в ногах. Три человека сбежали с крыльца, вырвали трость, сбили шляпу... Двое — под руки, третий, схватив сзади за штаны, втащили в дом, в темноту. Все это мгновенно и молча, только шумно сопел Хаджет Лаше:

— Наверх его, наверх...

Наконец зажгли свет (наверху, в комнате с камином). Леви Левицкий, в изорванном смокинге, с выскочившими запонками, лежал, как его швырнули, на угловом диване, растопыренные ноги — на полу. Еще в темноте его обыскали, взяли бумажник, документы, золотой портсигар, плоские часы с бриллиантками, сорвали перстень с пальца. Четыре запыхавшиеся человека стояли перед ним... У Хаджет Лаше, как резиновое ходило ходуном красное лицо. Рыжеволосый Эттингер, с большими зубами, от сердцебиения побледневший до веснушек, вытирался платком. Биттенбиндер, бритый, шикарно причесанный, свирепо выпятил желваки с боков рта. Изящный Извольский свинцово глядел в лицо Леви Левицкому. Затем кто-то достал папиросы, и все четверо жадно закурили.

Извольский, не спуская томных от ненависти глаз с Леви Левицкого:

— Мерзавец! Товарищ большевик! Ты приговорен Лигой спасения российской империи... (Шея у него дрожала и надувалась над изящным галстучком бабочкой)... Сволочь, жид!.. (Закусив папиросу, тихо подошел вплоть). Повесить... твою мать!

Выдернув руку из кармана, ударил в лицо, — Леви Левицкий втянул голову, кулак стукнул о череп. Леви Левицкий моргнул. Рослый Биттенбиндер, отстраня Извольского:

— Это ему что! Пытать его...

Извольский, — тяжелым дыханием, — поднимая и опуская плечи:

— Излишне... Повесить и — в озеро...

Леви Левицкий глядел на Хаджет Лаше, чувствуя, что это — главное. Лаше подошел (он был в туго перепоясанной кавказской рубахе, и Леви Левицкого стало трясти от малинового цвета рубахи)...

— Ты в руках грозной организации, голубчик... Тебе не уйти... Но можешь смягчить участь, ты понял меня?

Извольский, — топнув, резко:

— Не согласен...

Лаше всем телом повернулся к нему, Извольский опустил глаза... Лаше — опять:

— Ты понял, голубчик... Так вот условия: где ключ от твоего сейфа?

Леви Левицкий облизнул губы.

— Где ключ от сейфа? — повторил Лаше. — И — подробно — сколько вывез бриллиантов, принадлежащих императорской короне? Где бриллианты? В твоём сейфе или еще где?

Придвинулся и Эттингер к дивану. Все четверо глядели на Леви Левицкого так, будто изо рта его сейчас посыплются бриллианты. Он полузакрыв веки, ноздри трепетали, — ненависть, выношенная десятками еврейских поколений в гетто, каменное упрямство, ненависть и упрямство, бодее жгучие, чем страх смерти, высушили горло, и, если бы и хотел, — не смог бы ничего сейчас выдумать хитрого, только засопел, проворчал невнятное!..

Биттенбиндер, — злоеще:

— Что-о-о? Повтори, скотина!

Лаше, — начиная завывать:

— Отказываешься говорить? Говорить отказываешься, голубчик!.. (Голос звывал все выше, глаза завертелись). В последний раз спрашиваю, голубчик, где ключ, где бриллианты?

Преодолевая себя, Леви Левицкий ответил:

— Я не большевик, никогда не был партийным, справьтесь в советском посольстве... Мои деньги — это мои деньги... Отвечать мне нечего... Бриллианты — чушь! И здесь не белый фронт, не контрразведка...

Тогда Хаджет Лаше кинулся на не-

го, запутал большие пальцы в рот, рвя ему губы, вертя голову, топтал коленями живот. Заходясь голосом, матерно закричал Извольский. Кричали все, сбившись у дивана. Руки Леви Левицкого кто-то схватил, скручивая в кисти. От возни поднялась пыль. Звенели стекляшки в люстре.

Лаше запыхался, отвалился. Канаусовая рубаха его была мокра, от него шел резкий чесночный запах пота. Леви Левицкий остался лежать навзничь на диване. Из ноздри, из угла разорванного рта ползла кровь. Одна штанина сорвана, на оголенном вздувшемся животе — красные полосы. Он потерял сознание, повидимому, когда ему вывертывали кисти рук.

Извольский предложил всем папирос. Схватили, закурили. Лаше, яростно плюнув табаком:

— Кой чорт выдумал крутить ему руки?

Биттенбиндер — вызывающе:

— Я выдумал.

— Идиот!

— Но, но, потише!

— Пьяная морда! (Лаше заиграл пальцами, Биттенбиндер внимательно следил за ним)... Он же должен подписать чеки... Как он будет подписывать чеки свернутой рукой? Балда. Поди — принеси воды...

Биттенбиндер принес из Лилькиной комнаты кувшин с водой. Лаше вырвал у него кувшин, плеснул, затем весь вылил на лицо Леви Левицкого. Тот застонал. Медленно очнулся. Глаза, сначала бессмысленные, налились ужасом, и он весь затрепетал. Потом поднял изуродованную правую руку, посмотрел на нее, мокрое лицо его сморщилось от безмолвного плача. На вопрос, будет ли он теперь отвечать, Леви Левицкий вздернул голову, пуская кровавые пузыри, закричал проклятия на том древнем языке, который слышал от папашки, читавшего талмуд. Тогда все опять сорвались. Извольский надрываясь:

— Господа, предлагаю... (В руке джутовая бечевка...) Кончим его, кончим...

— Огонь разводи! (Лаше, как слепой, металась с каминными щипцами...) Огонь!.. Спички!.. Ананасана!.. Огня!..

. . . . .

Вере Юрьевне велели, на всякий случай быть в столовой. Там она и осталась в темноте,—впопыхах о ней забыли. Впрочем это было и неважно, — она была смертельно пьяна. Раскинув руки по столу, то засыпала на долю секунды, то, подброшенная толчком сердца, бормотала и ругалась.

Потолок сотрясаясь—наверху топот и койки. Опять та же возня... Плевать! От коньяку — анестезия. Теперь ее самое хоть режь ножом. В помутившемся мозгу торчала голым гвоздем идея... Она, может быть, возникла у нее и раньше (из какого-то неизжитого рефлекса), теперь, когда все извилины мозга оглушены коньяком, идея неожиданно вынырнула, как скала из морского отлива... Когда те наверху угомонятся и заснут, вытащить из кухни бидон с керосином, поджечь дом, сжечь всех живыми... Эта часть идеи — наиболее отчетливая и решенная. Далее, погибнуть ли тут же с ними, чтобы до последней минуты насладиться?... Ехать ли к Василию Алексеевичу и с ним куда-то, по его воле? В этой части идея раздваивалась, путалась... Поднимались виденья прошлого, обрывки. К черту все... Алкоголь все оглушил... «Ах, вчера бы догадаться,—под утро на даче все спали, мертвецки пьяные... Трезвая-то струсила! Эх, ты, проститутка, мразь, стерва безвольная... Барыня в соболях, княгиня... (Тихо повизгивая, смеялась, царапала скатерть). Ошибся, Хаджет Лаше, — всю меня купил, да не всю... Психолог знаменитый... Зажарю кавказский шашлык... («Как остроумно, боже, гениально: шашлык из Хаджет Лаше»). И много чести для тебя, врешь, уйду живая»...

Грозил в темноту указательным пальцем. Но падала рука, падала голова на стол.

В темноте сна начало появляться что-то постороннее, мешающее... Сонное воображение силилось подыскать образ, напугать сновидением. Но воображение бессильно, бездарно... Так, что-то темное и косматое ширится, ревет, наваливается... Ох, как страшно!

Подняла голову. Наверху — крик. Такого еще не было. Дикий, нарастающий рев боли, невыносимого страдания. На весь дом разинут этот кричащий рот. Как может так кричать человек!

Она поднялась. Схватила за голову. Разинула пасть. Побежала, налетела в темноте на какую-то мебель, со всего размаха упала, покатилась...

Повидимому минутой позже Леви Левицкий, проткнутый калеными щипцами, с вырванным глазом, с джутовой бечевкой на шее, неожиданно (для утомленных работой членов Лиги) опрокинул двоих, оттолкнул третьего, кинулся к окну, разбил раму и выбросился со второго этажа. Когда члены Лиги выбежали из дома в сырую темноту, на гравиевой дорожке лежал Леви Левицкий, уткнувшись, мертвый. Все же они еще долго топтали и добивали его — жиды и большевики.

## 42

Капля, слетевшая с золотого пера Клемансо в исторический день в Версале и (как мы уже, кажется, поминали) шлепнувшаяся кляксой в лицо человечеству, столь была ядовита повидимому, что одного ее атома хватило для гибели Леви Левицкого. Атомы этих чернил оседали по всей Восточной Европе, неслись через моря в колонии, бураном крутились вокруг Советских федеративных республик.

Но дальнейшие события разворачивались не совсем по тем логическим линиям, которые мыслились в исторический день в Версале. Яд чернильных атомов создавал нежелательные явления, — он порождал бурю, срывающую старый, утопанный покров с буржуазного мироустройства, оголялась классовая ненависть пролетариата. Прочный опыт колониальных завоеваний оказывался недостаточным и устаревшим. Советские федеративные республики применяли в борьбе новые и недозванные приемы. Империализм, превосходно вооруженный орудиями истребления, разбивался о разутые и голодные, пожираемые вшами красные армии. Такой парадокс нужно было отнести на счет неподготовленности (к современным событиям) руководителей империалистической политики.

В самом деле,—президенты, премьеры, начальники генеральных штабов и прочие мыслили все еще по-старинке. Империализм перерос национальные границы, они же заново железом и камнем укрепляли границы и раздували национальную вражду. Конечно деятели

Версале далеко ушли от политических приемов в том же Версале, скажем, лет полтора-два тому назад, когда казалось, что из постели королевской любовницы можно руководить счастьем и бедами народов. Теперь эта постель была в музее конечно. Но все же муза Диалектика не посещала торжественных кабинетов, увеселительных яхт, банкетов и заседаний — тех мест, где политическим деятелям представлялось, будто они делают историю.

Все они прежде всего были невежественны. Они могли быть отличными игроками в гольф, бойкими журналистами, математиками, просто умными людьми, но то генеральное, что должны были знать, — диалектику истории, — не знали. Буржуа, поставивший этих воспитанных и красноречивых людей за государственный штурвал (буржуа, многому научившийся с девятьсот четырнадцатого года), начинал крепко задумываться. Большевики — разбойники с большой дороги, чуть ли не антихристовы агенты, — все это так, но они знают какое-то куриное слово, а премьеры такого слова не знают. Большевики умны и ловки. Послать на них армию, — глядишь, армия возвращается назад в самом от-

вратительном состоянии. Навести на них морские орудия, — глядишь, на кораблях появляются книжонки о классовой борьбе, и могучий флот — не страшнее детских корабликов.

И вот те буржуа, что подальновиднее, начали приглядываться, — нельзя ли и у себя завести то же оружие — Диалектику, — приодеть ее прилично, пряхучить для домашнего употребления? Но пока эти, дальновзоркие, присматривались к своим марксистам, другие, нетерпеливые, усиливали нажим на руководителей внешней политики. Надо было кончать с большевистской революцией, вгоняющей все глубже клин в классовую трещину.

Сибирский фронт не оправдывал надежд, — Сибирь превратилась в кровавое месиво, где среди партизан, атаманов, интервентов и разваливающихся армий беспомощно барахтался верховный правитель. Все внимание было перенесено на южнорусский фронт. Туда щедро потекла помощь. Точно так же оживилось снабжение армии Юденича. Это был удар в тыл и по правому крылу большевистской обороны.

*(Продолжение следует)*

# На курорте

П. ЖЕЛЕЗНОВ

В голубом стакане неба  
Мирно тают облака.  
Зетер тихий.  
На скамье осколки нэпа —  
Жирные, курортные окорока.  
Франтихи.  
Настроенье нам не портят —  
Их лишь куценькая кучка.  
Поредели до предела их ряды, поблекла

спесь

На сегодняшнем курорте.  
Толстомясых белоручек  
Можно всех по пальцам счесть.  
Пусть паскудят наши ванны,  
Пьют нарзаны напоследки,  
Нюхают «Площадки роз».  
Их дела, тела их вянут,  
Люто бьет их пятилетки  
Рост.

Пусть раскрашены их личики,  
Как пасхальные яички,  
Пусть костюмчики фартовые,—  
Им каюк настанет скоро.  
А пока все эти птички,  
Десятипудовые,  
Налетев на юг и горы,  
Заплатив последним золотом,  
Вызывают смех веселый там  
Отдыхающих шахтеров.  
Так смешны осколки нэпа  
Средь худых людей труда,  
Средь курортниц от станка,  
Средь ударников плечистых.  
В голубом стакане неба  
Тают быстро, без следа  
Сахарные облака.  
Ветер чистый.







# Люди и факты

1. ВЛАДИМИР ЮРЕЗАНСКИЙ.— Комсомольская лава. 2. ДАНИИЛ ФИБИХ.— Бой за мясо.

## 1. КОМСОМОЛЬСКАЯ ЛАВА

Очерк

Владимир Юрезанский

**Н**а юг города Сталино, за Рутченковскими шахтами, среди ровной пустынной степи, как черно-синие горы, высятся могучие терриконы Петровских рудников. Десятилетиями подземного человеческого труда сооружены эти мрачные памятники каменноугольной промышленности, похожие на египетские пирамиды, — будто их перенесло какой-то неимоверной силой из нильских песков в Донецкий бассейн. У подножия каждой пирамиды, над шахтным зданием, тонко вычерчивается в небе стальная вышка копра с непрерывно крутящимся маховым колесом, опускающим в глубину земли людей и поднимающим оттуда на поверхность нагруженные углем клетки. Из всех черных громад, господствующих над степью, террикон двадцать первой шахты кажется самым высоким. Вокруг него запутанными короткими улицами, как белый муравейник, раскинулись новые шахтерские дома и общежития. Среди этих домов огромной серой крепостью стоит Дворец культуры.

Что ни шахта, то целая группа выдвинувшихся забойщиков, крепильщиков, машинистов, бригадиров, изо дня в день бьющихся за выполнение угольного плана. О каждой такой шахте надо бы написать книгу, чтобы рассказать о людях, с молчаливой стойкостью штурмующих земные недра для социалистического переустройства гигантской страны, — и, быть может, книги эти будут скоро написаны

новыми, еще не открывшимися писателями, которые выйдут из толщ горняцких масс. Книга о двадцать первой шахте была бы одной из интереснейших: имена таких ее ударников, как крепильщик Харитон Степанович Жуков, представленный к ордену Ленина, и забойщик Хасьян Хаснутдинов, бригадир татарской бригады, награжденный орденом Трудового красного знамени, и сейчас без книги известны на всех окрестных рудниках. Но есть на двадцать первой шахте отдельная комсомольская лава, которая прославилась настойчивой, упорной работой не меньше, чем Жуков и Хаснутдинов. Она выдвинулась в первые ряды по добыче угля благодаря своей сплоченности и дисциплинированности, благодаря умелому руководству и неотступности перед поставленной задачей.

Первая бригада этой лавы была создана 8 декабря 1930 года, — ее назвали именем VIII съезда комсомола Украины. Бригада должна была наладить добычу на самом тяжелом участке шахты — на западе четвертого горизонта. Затяжной прорыв, не поддававшийся никаким оздоровительным мерам, точно сложная и трудная болезнь, поразил огромную лаву: угля вырубали мало, жаловались на невозможные условия, на дальность, на грязь, на твердость пласта, — никто не хотел идти туда работать. А между тем сам по себе уголь залегал хороший, бросить его было бы преступлением. Тогда решили примером молодежи повернуть отношение к лаве

со стороны занятых в ней рабочих, добиться решительного перелома и, преодолевая трудности, восстановить производительность в размерах, предусмотренных планом.

Первым комсомольским бригадиром стал молодой парень Ромащенко. Он смело пошел к выполнению цели, бригада с отважной энергией принялась штурмовать твердый, невырубающийся уголь — и уголь постепенно стал поддаваться. Но, отработав свои часы, бригада выезжала на гора, вместо нее спускались две прежних смены, и опять все шло по старому: пласт, как камень, не вырубался, грязь промачивала ноги, начинался галдеж, буза, и народ уходил в другие лавы.

— Нет, — решил Ромащенко, — решето воды не наносишь!

Он пришел к выводу, что для образцовой, показательной добычи одной бригады недостаточно, надо, чтобы разработка лавы во всех трех сменах перешла полностью в руки комсомольцев. И через месяц, в половине января, было организовано еще две бригады, — лава стала исключительно комсомольской. Все успехи и все неудачи по участку с этих пор принадлежали только молодежным бригадам и никому больше.

— Смотри, хлопцы, кивать теперь не на кого! — поставил Ромащенко твердо.

Участок оказался тяжелее, чем предполагали: все время мешала работать вода, борьба с ней изнуряла, уголь шел непостоянными пачками, был действительно необыкновенно тверд и крепок, так как лаву с самого начала заложили технически неправильно, не по кливажу. И вот под землей, на глубине трехсот метров, некоторые из ребят засомневались:

— Весь забой в зуб поставлен. Разве его одолеешь?

Но более спокойные возражали:

— Если мы не одолеем, кто же одолеет?

— А чего ради нам чужие грехи исправлять? Разве мы виноваты, что уступ не по кливажу пущен? Надо было смотреть, когда ставили.

— Когда-то вся Россия царями да помещиками дуром была поставлена. Тоже, скажешь, не по кливажу? А мы ее по-своему переделываем?

— Правильно, Ваня, и лаву повернем как следует, — поддерживал Ромащенко.

В нем проявились большие организаторские способности, благодаря которым разрозненную и еще не привыкшую к дисциплине массу удалось спаять в тесную товарищескую семью. Высокий, кареглазый, мягкий и тихий с виду, он оказался находчивым руководителем, природным главарем, где надо — внимательным и сердечным, а где — железным и требовательным до последних мелочей. Комсомольцы были мало опытными забойщиками, почти все они пришли из сел и деревень — из колхозов Полтавского, Лубенского и Кременчугского округов по мобилизации осенью 1930 года. Сам Ромащенко явился вместе с ними и тоже из села. Первоначально на двадцать первую шахту назначили по разверстке сто семьдесят комсомольцев. Привыкшие к полевым работам на земле, под синим небом, с горизонтом без конца и края во все стороны, среди соловьиных садов и безмятежных, сверкающих рек, они были ошарашены подземным мраком, крошечной глубиной, на которую приходилось спускаться, неизмеримыми толщами земли на головой, и многие дрогнули, растерялись, устрашились шахтерской работы. Через несколько дней вместо ста семидесяти человек насчитывалось уже значительно меньше, — темными ветровыми ночами ребята таяли, исчезали неизвестно куда, и назад, в шахту, не возвращались. Остались наиболее стойкие и развитее, — эта группа и сделалась потом основным ядром лавы. Ромащенко вел беседы, разъяснял, доказывал, убеждал, действовал своим личным примером, какой-то веселой бодростью укреплял дух новой организации на каждом шагу, то шутками, то брошенной мимоходом похвалой, то советами поддерживая тех, кто колебался. Будучи ровесником с большинством в лаве, он скоро стал незаменимым старшим товарищем, внутренне необходимым для всех.

— Главное, подход у него хороший. К каждому слово свое имеет, — говорят о нем.

Лава, выпавшая на долю молодежных бригад, велика по размерам, длина ее триста метров, она считается одной из крупнейшей в целом Донбассе. Первый месяц прошел чрезвычайно тяжело: надо

было примениться к условиям, овладеть особенностями пласта, правильно организовать расстановку сил. И это было достигнуто. Несмотря на множество трудностей, добыча постепенно пошла в гору. Каждая смена приносила какой-нибудь успех, крепость угля преодолевалась, подача груженых вагончиков на поверхность налаживалась все отчетливей, бригады настойчиво продвигались вперед. День за днем создавалась стройная организованность, выдержка, дисциплина. С апреля добыча угля крупными шагами начала подниматься вверх. Особенно много удалось сделать в мае и в июне, — в эти месяцы комсомольская лава по сравнению с другими стала передовой. В июне за двадцать шесть рабочих дней она дала 91,8 проц. месячного задания и была уверена, что перевыполнит план, как вдруг в коренном штреке рухнул завал, и работы пришлось поневоле приостановить.

— Прямо возмутительно! — горячатся комсомолцы, рассказывая. — Там должно было работать четыре крепильщика, а вместо четырех выходило только два. Они не во-время раскрепили штрек, и готово, — бахнул завал. Это же не шутки!

— Да, черт возьми, сорвали нам дело!.. Если бы не эта беда, мы бы через сто процентов перешагнули.

Завал не успели быстро ликвидировать — с июня он перешел на июль. Когда работы возобновились, неожиданно подоспели мелкие задержки и препятствия, чрезвычайно обидные в разгаре производственной спешки. Так например в течение нескольких недель не было своих конвейерных рештаков для уборки нарубленного угля, приходилось выпрашивать их с других участков, где они оказывались свободными или лишними, — на все это зря терялось время, шли лишние хлопоты, разговоры, суета.

Упорством, выносливостью и волей комсомольская лава добилась весьма значительных результатов, — запад четвертого горизонта уже не является теперь тем страшным участком, куда люди не хотели идти. За короткий промежуток времени лава успела занять почетное место и, выполняя 32 проц. всего шахтного задания, по праву гордится своим весом и влиянием на шахте. Она

может гордиться и умением подготавливать людей для самостоятельной ответственной работы. С января в процессе ежедневной борьбы с трудным участком выделился целый ряд комсомольцев, которым принадлежит ведущая роль в бригадах. Это прежде всего Облап, Дегтяренко, Гудым и Здеренко. Кроме того, шесть человек выдвинуты на общественные работы. Здеренко, как выдающийся ударник, награжден поездкой за границу на теплоходе «Украина».

— Поплыл! Еще бы... Можно сказать, полмира увидит, — раздаются восхищенные голоса.

— Парень хоть куда.

— Забойщик хорош. Дисциплинирован. Прогулов никаких. А товарищ какой, все равно, что брат.

Здеренко вместе с другими был мобилизован осенью из колхоза. Его родина — село Горбы, Кременчугского округа.

— В село не вернется, нет! — улыбаются десятки молодых глаз. — Поработает на шахте годика два, а там учиться махнет, инженером станет.

— Вот тебе и Горбы! Деды и прадеды крепостными были, отцы не знали, кому ниже кланяться: попу, уряднику или кулаку-богатею, который пуд муки дал в долг и потом три шкуры снимет. А Здеренко, вон какую судьбу развернул — Европу поехал смотреть!

Подводя яркий итог семимесячной работы лавы, Ромащенко спрашивает: — Чем все это достигнуто? — и сам себе отвечает: — Прежде всего ребята в самой основе своей рвутся к настоящему делу. Только интерес, как искру, надо высечь, а там уже пойдет, загорится. Мысль о строительстве социализма и о своей роли в этом строительстве манит их. Они живут самыми удивительными проектами. Многие, может быть, не всегда знают, как взяться за незнакомый уступ, за невиданный никогда отбойный молоток, за врубовую машину, но как человеческий пласт, все хороши на редкость. И вот задача: вести среди молодежных бригад ежедневную воспитательную работу. Мы же культурно темны, деревенское развитие ниже городского, крестьянская молодежь отстала от рабочей, — значит надо подогнать, подтолкнуть,

кругозор раздвинуть, грамотность повисить, приучить к газете, к книге, перо в руки дать, в учебу втянуть. Чем шире горизонт, тем верней и продуктивней работа. Товарищеское воздействие друг на друга у нас легко оказывать, потому что все три комсомольских бригады живут в одной казарме. Пришли с работы, сейчас же критика, кто как работал, в чем промахи, недосмотры, ошибки, — всё на ладони. Человек не может жить, чтобы его работу никак не оценивали. А у нас оценка постоянная. Каждая старательность на виду, каждый успех отмечается, — это дает бодрость, пружину в человеке заводит. Пока не было комсомольской лавы, молодежь расхлябывалась, разбалтывалась, нередко замечались прогулы, иногда даже — смешно сказать! — драки между собой хлопцы заводили. Теперь — крышка! Отношение друг к другу совсем иное началось. Раз на бригадирном собрании пристали к одному товарищу: «Слушай, Дьяченко, у тебя голова к механизмам хорошо сработана. Поступай на курсы врубовых машин — атаманом у нас будешь». Тот отказывается. «Да брось, не фасонь, поступай, тебе говорят. Тут же, при горпромуче, и учиться будешь». Крутился, крутился парень, наконец видит, ничего не поделаешь: раз бригада просит, исполнять надо. И что же? Поступил, выучился, на экзамене даже отличие какое-то получил, теперь машинистом с нами начнет работать.

Отдельные забойщики из комсомольских бригад говорят:

— Скоро мы лаву выправим, выравняем, повернем добычь по кливажу, пусть тогда потянутся с нами! Сейчас мокро, нехорошо, уголь, как железо, хоть кусай его, — ясное дело, трудно. Однако сравнить нельзя с тем, что было. А пойдет рубка технически правильная, мы же тогда песни петь будем!

— Живем дружно, коллектив подобрали боевой. Есть хлопцы — огонь, козыри! На работе друг перед другом стремятся, как лучше сделать. Бывает конечно и чертовщина: вдруг кто-нибудь прогул отмочит. Сейчас же собрание бригады, — захватывать надо вовремя. «Почему, товарищ, в лаву не вышел? Ответь, не стесняйся. Причина

случилась? А ну, выкладывай твою причину! Пошушаем». И по косточкам разберем, обсудим со всех сторон, правильно поступил парень или промах дал. Отчитаем раз-другой, проберем с песком и с перцем, никогда больше не прогуляет. Товарищеская самокритика всякую дурь из головы метлой гонит.

— Очереди заедают, вот беда! Если бы их, окаянных, уничтожить, нам бы куда легче стало. Прямо надо сказать: холостяки снабжаются безобразно, рабкооп об нас не думает совсем. Иной раз рассердишься: из какого дерева у рабкоопщиков головы сделаны? Семейный идет спокойно на работу, — за него жена, сестра, дочь, сын или теща постоят, получат что надо, не пропустят. А наше дело табак: не то на работу итти, не то в очередь становиться? Особенно, как товар в магазин привезут, — одно терзанье: сегодня не ухватишь, завтра и во сне не приснится. Хоть бы оставляли для ударников что полагается! Велика мудрость, догадаться? А то книжка ударная, все права налицо, а спустился в шахту, значит джемпер или рубашку, или брюки хорошие обязательно прозевал. Определенно! Приезжала к нам для обследования бригада из Харькова, из ЦК партии. Сразу хорошо стало, всех снабдили чем можно, прямо благодать! А уехала бригада, опять очереди начались. В чем дело?

— Авторитет нашей лавы подрывают механизмы. Кажется: что за чепуха? А между тем — факт! Врубовую машину например дали нам потрепанную, уже выдавшую разные виды, — пусть, дескать, поучатся на старенькой, они еще неопытные. А мы работаем лучше других. Справедливо новой машины для нас не выписывать? Или, скажем, свет. Лампочки у нас аккумуляторные, герметической аппаратуры нет, электрического освещения под землей установить нельзя. А тут кровля скверная, сплошной корж, сантиметров на тридцать над углем залегаёт и после врубовой машины беспощадно валится, уголь грязнит, зольность увеличивает, а выбирать его при наших лампочках невозможно, не видать ни чорта. На кого, спрашивается, слава за грязный уголь падет? Свет в лаве необходим, как воздух, он и до-

бычь увеличит, и количество угля улучшит. Заведующий шахтой говорит: три докладных записки послал в правление «Угля», а результатов никаких, — как в воду. Против коржа технорук наш, инженер Парамонов новое крепление придумал, передовое или опережающее, как он называет. Мысль замечательная. На-днях должны опыт произвести. Если это дело удастся, и крепление Парамонова окажется применимым, мы сделаем уголь совсем чистым, тогда он будет коксоваться, мое почтение! А пока приходится в темноте ловчиться и аппаратуру клясть. Или вот еще очень частая беда: порожняку нехватает. Это же форменный зарез! Порожняк должен поступать бесперебойно, минута в минуту, как часы, чтобы никакой задержки с увозом угля не было, потому, иначе останавливается вся работа, когда вырубленный уголь мешает и дальше итти не дает. Сейчас как раз производится по штрекам настилка путей рельсами тяжелого типа. При таких рельсах вагончики забуривать не будут, но пока эта работа не кончена, порожняк прямо за сердце хватает. Технические неполадки вообще деморализуют народ, — многие опускают руки и успокаиваются: «Это не я, машина виновата». Вреднейшее настроение! А когда все в порядке, налаженный механизм сам заставляет работать: «Шевелись, поспевай, не стой!..»

Комсомольская лава стала крепкой организацией. Выделяя из своей среды людей на самостоятельные шахтные и профсоюзные работы, она начала уже заботиться и о подготовке для себя кадров.

— В июне и в июле мы приняли учеников, молодых ребят, которые еще никогда не спускались в шахту. Пусть учатся на нашем трудном опыте. Наша заплата почище других будет. Не пожалуют.

Сейчас в лаве 72 комсомольца, 9 породчиков, выбирающих корж из угля, 2 лесогона, 9 механизаторов и один вагонщик. Ромащенко стал секретарем комсомольского коллектива, объединяющего восемь цеховых ячеек, Облап — сквозным бригадиром и заведующим экономсектором, Никулин, Тыщенко и Гудым — бригадирами. С августа лава

перешла на хозрасчет, и это делает ее работу еще более четкой.

В этой голой степи около Дворца культуры опромный яркий цветник густо и молодо сияет какой-то первозданной, чистейшей свежестью. Белый песок, насыпанный по дорожкам и вокруг клумб, сплит от солнца глаза. За клумбами шумят, лепечут на горячем ветру молодые многолистные тополя. А дальше, за забором и асфальтом, в степи, подходящей вплотную к Дворцу культуры, дико зеленеет колючий бурьян, и голубым дымом кустится полынь — тысячелетние жители Донбасса. Но бурьян и полынь растут здесь последний год: часть степи, слева от Дворца, отгорожена уже под футбольную площадку — колоссальное, ровнейшее поле! — а все пространство справа будет засажено весной большим садом. Жизнь прочно зацветет на этом месте, которое еще пять лет назад пустынно и голо смотрело на терриконы.

— А вон там, вон за колодцем, наше общежитие, — говорит бригадир Гудым, показывая на серый двухэтажный дом. — Хатка ничего себе, подходящая. Итти туда не больше трех минут.

Гудым тонок, сухощав, строен. Его смуглые щеки в крепком румянце, глаза темные и яркие. Он получил двухнедельный отпуск, но домой, на Полтавщину не поехал, остался на шахте. В нем ничего уже не чувствуется деревенского. Год подземной работы сделал его шахтером, забойщиком, руководителем врубовой бригады, он навсегда потерял вкус к крестьянскому труду.

— Живем не нарядно, но хорошо, — улыбается Гудым тонкими губами. — Если бы все казармы за собой так следили, было бы знаменито.

В комсомольском общежитии действительно чисто, прятно, прибрано. Железные кровати аккуратно застланы одеялами, ситцевы наволочки подушек туго розовеют нежными набивными рисунками. На стене рядом с портретами вождей прикреплен тонкими кнопками замечательный плакат художника Страхова. На большом листе изображен шахтер в фибровой подземной шляпе с лампочкой над лбом. У шахтера мужественные глаза, его трудовое мускули-

стое лицо исполнено спокойной силы, глубокой — органической — воли и революционной решимости. В рисунке нет ничего лишнего, напряженного, театрально красивого или бьющего на внешний эффект. Все необыкновенно скупое и простое, но от этого лица нельзя оторваться. Страху в своем плакате так удалось изобразить шахтера великой эпохи социалистического строительства, как до сих пор не удавалось ни беллетристам, ни поэтам. Это лучший пример того, как простой плакат, призванный играть временную, служебную роль, может подняться до высоты подлинного, большого искусства, способного волновать.

Отдыхающая смена комсомольцев шумна, весела, говорлива. Из черного радиорупора, прикрепленного под потолком, невидимая скрипка играет сначала Моцарта, потом Листа. Кто-то пишет на тумбочке около кровати письмо, кто-то полуголый от жары читает книгу. На одной из кроватей коренастый белобровый парень шуршит широкими листами «Правды».

— Хлопцы! — здруг кричит он. — Про теплоход «Украину» пишут.

— А ну!

— Про нашего Здеренка? — отзываются с подоконников и с табуреток голоса.

— Давай! Смоли во весь голос.

— Эй, Федя, останови там музыку! Хай отдохнет трошки, а то, смотри, захрипнет, чего доброго.

И белобровый парень, незаметно для себя выпрямляясь, торопливым, немного удивленным голосом читает в наступившей тишине:

— «Прибывшие в Англию на теплоходе «Украина» советские ударники вчера разбились на группы и выехали в Манчестер, Бредсфорд, Бирмингем и Кардиф, где посетили ряд машиностроительных, текстильных и других предприятий и шахты...»

— И на шахты пустили? Ловко!

— У Здеренка глаз острый, что-нибудь да зацепит. Вот если бы высмотрел какой-нибудь способ похлеще, чтобы сразу добыть процентов на полтора-два!

— «Полтора»! Ты сумей сначала сто дать.

— Тш!.. Читай дальше.

— «Несколько групп ударников посетили ряд предприятий в самом Лондоне. Вчера в полпредстве состоялась встреча ударников с руководящими работниками советских учреждений. Ударники возложили на могилу Карла Маркса металлический венок, привезенный из СССР...»

— Маркса? Самого Карла Маркса?

— Да не перебивай!.. Понятно, самого.

— «...венок... со следующими надписями: «Карлу Марксу от рабочих СССР, строящих социализм». «Великому учителю от ударников СССР, поленински осуществляющих его учение...»

Читающий на мгновение останавливается. Он обводит притихшие лица посветлевшими, взволнованными глазами. Затем снова продолжает:

— «Четырнадцатого августа теплоход выходит в Атлантический океан и направляется в Геную, Стамбул и Одессу...»

Газета шумно, радостно шуршит, отлетая на подушку.

— Генуя в Италии?

— А Стамбул?

— Стамбул — это Константинополь. Там турецкие султаны когда-то царствовали. Помнишь, запорожцы письмо писали?

— Ну, Здеренко!..

— По морям, по океанам, по городам...

— Стань таким ударником, как Здеренко, и тебя повезут!

— Эх, и рассказывать заставим, когда придет!..

— Да уж придется ему раз пятнадцать отзвонить, что видел.

И заграничное путешествие Здеренки захватывает всех, как сказка, совершающаяся наяву.

— А хорош парень! — говорит вдруг от полноты сердца сосед Гудыма.

— Наш. Кругом свой, куда не поверни.

— Хотя бы красным флагом помахали, когда мимо Испании проплывать будут.

— Не беспокойся. Помахают! Ребята на все сто.

— А, по-моему, лучше не махать, а просто с песнями проплыть. Подойти поближе, взять курс возле самого берега да грянуть-грянуть, чтобы небо вознеслось! Знаешь, песня издали как действует? Все равно, что счастье, — за сердце хватает. Вот это бы впечатление на берегу получилось!..

Темнеет жаркий степной вечер. В трещинах наможенных каменных стен звенят сверчки. Из-за горизонта, с юга, наплывают густые огромные тучи. Где-то невероятно далеко беззвучно мигаюг сиреневые и голубые зарницы. Над вершиной шахтного террикона на минуту показывается большим оранжевым куском неполная луна, но тучи сейчас же сбивают, заваливают ее, и наступает темнота. На севере, над Рутченковкой, возникает быстрое зарево коксобензольного завода. Зарево расширяется, вырастает и, полая по лохам туч, за-

ливает небо, как лава, вырвавшаяся из вулкана, затем снижается, меркнет, исчезает, чтобы через несколько минут, когда развернутся огненные батареи очередных коксовых печей, возникнуть вновь. Это не тревожное зарево гибели и разрушения, это суровый свет неустанного пролетарского труда, создающего высокое будущее.

Глядя яркими, молодыми глазами в ночную степь, комсомольское общежитие поет песни. Густая темнота после знойного дня кажется мягкой, радостной и прохладной. В небе почти непрерывно играют молнии. В их быстрых ослепительных взлетах безмерно широко вспыхивает степь. Еще шире и еще безмерной летит, бьется в груди жизнь, как птица, которой открыт весь мир.

Август 1931 года.

Петровские рудники.

## 2. БОЙ ЗА МЯСО

Очерки

Даниил Фибих

Зерновая проблема в основном разрешена. О ней достаточно писалось.

Но есть и другая, не менее ответственная, не менее важная тема. Это — тема о мясе.

\*\*\*

Газета системы Союзмясо называется «Мясной фронт». Да, это фронт, самый настоящий, со своими боевыми участками, прорывами, ожесточенными атаками, диверсионными актами классового врага, дезертирами и самоотверженными бойцами. По всей линии развернут бой. Страна дерется за социализм на всех участках.

... Кроткая и лирическая корова. Пахнет молоком и луговыми травами, отмахивается хвостом от назойливых оводов, сочно перетирает жвачку...

Гурт глупых овец. Тесно сбился, блеет на разные лады, а пыль, взбитая им, просвеченная вечерним солнцем, розова, золотиста...

Развалившаяся в липкой грязи жир-

ная свинья, сладко жмурящая белобрысые глазки...

Детали буколического пейзажа? Да, для нас.

Но для мясника-специалиста это не только энное количество калорий и витаминов, но и сложный ассортимент многочисленных фабрикатов, пищевых, специальных, технических.

Во-первых, это мясо. Мясо парное, мороженое, вяленое, соленое, копченое. Консервы, бекон, колбасы, всякие жиры, экстракты, мясная мука, сгущенные бульоны. Мясо во всех видах.

Во-вторых — медицинские органо-терапевтические препараты, пищеварительные ферменты, питательные вещества. До сотни наименований. Все это вырабатывается из внутренностей забитого на бойне животного.

Кроме того, кишки, хирургическая кетгуттовая лигатура, сырье для желатина, струны для музыкальных инструментов.

И, в-третьих, наконец разные жиры и масла, применяемые в технике, волос,

щетина, клей, шкуры. Кость для всяких поделок. Рога для пуговиц. Кровь, превращенная в альбумин. Кишки, из которых выделяется техническое полотно, пасы для мелких электромоторов и машин.

Весь сложный процесс забоя, разделки туши и превращения ее в ряд готовых пищевых продуктов совершается в стенах громадных, электрифицированных, великолепных американских мяскокомбинатов.

В Америке не знают обычных в боснском деле отходов и отбросов убоя. Используется все. Мало того. «Голье», «сбой» (печень, сердце, мозги, хвосты, ноги и пр.), то, что у нас очень часто считается бросовым материалом, там превращают в деликатес, в лакомство, расцениваемое гурманами выше самого мяса.

Именно у американцев мы должны учиться технике мясного дела. И здесь, как во всем остальном, советская промышленность должна не только догнать, но и превзойти буржуазных, подкованных наукой и практическим опытом специалистов.

### Как заготавливают скот

Союзмясо — одновременно прасол, мясник и повар, обслуживающий сто пятьдесят миллионов потребителя. Весь СССР питается союзмясовской говядиной, бараниной, свиной.

... § 4-й устава:

«Союзмясо является единым общесоюзным органом мясной промышленности и объединяет все находящиеся на территории Союза ССР промышленные предприятия по переработке скота в пищевые и технические продукты».

Это, с одной стороны.

С другой, Союзмясо укрепляет социалистический сектор деревни и жмет кулака, добиваясь скорейшего уничтожения этого класса.

Одной рукой собирая скот, законтрактанный у крестьян-единоличников, выделенный совхозами и колхозами, и направляя его на свои бойни и мяскокомбинаты, другой рукой Союзмясо выбирает из своих гуртов наиболее ценную и доброкачественную часть, отдает ее с.-х. коллективам, совхозам Скотовода, Овцевода и Свиновода.

— Укомплектование стада социалистического сектора.

Так, с 1 октября 1930 г. по 1 июля 1931 г. передано обобщественному сектору только Восточной Сибири 52.840 голов крупного рогатого скота, 59.274 головы баранов, 5.779 свиноматок.

Агентура Союзмяса в деревне — низовая животноводческая и потребительская кооперация. Она собирает законтрактанную крестьянскую скотину, ее гонщики и гуртоправы пригоняют ревущие гурты на приемочные пункты, на скотобазы Союзмяса.

В кабинетах, за зеркальными стеклами которых гудит Москва, в высших партийных и планирующих учреждениях разрабатывается план будущих скотозаготовок.

Долго, кропотливо, обстоятельно. Учитываются экономические, географические, характерные особенности того или иного района. Сколько голов скота без ущерба для себя может он дать?..

Разработанный план рассылается на места. На север, юг, запад, восток. В области, края, автономные республики.

Так краевой план попадает и в Восточную Сибирь, в Иркутск:

— Край должен дать государству сколько-то голов скота.

Снова заседания, обсуждение намеченных цифр, подсчет и учет. Как распределить по районам Восточной Сибири число подлежащих сдаче бычьих, овечьих, свиных голов?

Затем цифры заданий по скотозаготовкам, спускаясь еще ниже по административно-хозяйственной вертикали, попадают в сельсовет, в колхоз, в единокличное село.

В Восточной Сибири обобществлено в среднем около двадцати процентов скота. Этот процент в западной части края несколько больше, в Забайкалье снижается.

Очевидно, что главным поставщиком скота здесь пока еще является индивидуальный сектор села.

«Доведение плана до кулацко-зажиточного двора, — указывает восточносибирский крайком, — должно стать организованным наступлением батрацко-бедняцко-средняцких масс на кулака».



Тут наступает напряженный момент... Кипит сейчас село, далеко за полночь желтеют бурными заседаниями оконца сельсовета, поднят на ноги весь актив, а по задворкам из дома в дом шныряют темные кулацкие подголоски. Уговаривают, пугают, сбивают с толку мужика:

— Не поддавайсь, паря. Оммануть хотят.

— Всю скотину отберут — пустят с сумой по миру. Хлебнешь горя.

Шелестят просаленные червонцы.

— Митрофан Петровича однако, знаешь? Мужик верный, никого не обижал. Денежки — на кон, чистоганом, копеечку в копеечку.

И трясется, кутаясь в собачью доху, едущий из ближнего городка Митрофан Петрович. Ночь, тьма, редкие звезды под щетинистыми сопками. Пробирается Митрофан Петрович в темноте, чтобы чужой глаз не заметил, околицами, задворками, держит путь к дружкунприятелю. Тут, в укромной горенке, за самоварчиком и полдиковинкой, разрабатывается план дальнейшего наступления, заманчиво шуршат ассигнации.

— Да нешто я когда тебе, Митрофан Петрович?.. Да уж будь благонадежен...

Давно смылся из села Митрофан Петрович — тайный мясоторговец, нелегальный прасол, проклинаемый хозяйками, взвизгивающий цены на мясо. Но след его остался.

Только-что село узнало о цифрах, о твердых заданиях кулацко-зажиточным хозяйствам, и вот бурлят общие собрания.

Что такое твердое, максимально возможное задание?

«Если у кулака (а такие кулаки имеются) есть 50 голов крупного рогатого скота, изымите у него 40—45. Это будет максимально возможное. Если у середняка 4 коровы, он сможет выделить в порядке скотозаготовок одну, а у кулака изымите из двадцати 15—18. Это будет правильная политика».

(Из доклада секретаря вост.-сиб. крайкома ВКП(б) тов. Леонова на 1-ой вост.-сиб. партконференции в январе-феврале с. г.)

... На собраниях — давка, ругачка, буза. Кулаки, которых заготовка бьет плеще всего, на чьи хребты пало вы-

полнение 30 процентов всего плана, собрав своих сторонников, начинают свирепую подначку:

— Граждане, это лавочка! Весь народ разоряют. Мужика в петлю гонют. Мы кормили-поили, а таперича отдавай!

Передовая часть села, актив, беднота, сознательные середняки кроют в ответ:

— Должны мы однако помочь нашей власти, ай не должны? Нешто мало для нас власть сделала?.. Не слушай, товарищи, кулаков. Заткнись, живоглоты!..

Несколько дней крепкой драки — и передовики побеждают. Крестьяне-единоличники подписывают договор на контрактацию скота для государства.

Но гибок, живуч, изворотлив кулак. Пророс в крестьянском теле, впился в него, как клещ. Связанный, с городскими нэпманами, скупщиками, торговцами, он имеет своих людей и в низовом советском, партийном и кооперативном аппарате. Кто бессознательно, с самими, казалось, благими намерениями, а кто и вполне сознательно выполняют они роль агента классового противника.

И вот что иногда получается:

«Мы дали такую директиву, чтобы скот кулацко-зжиточных хозяйств составлял определенный процент к общему плану, примерно от 20 до 30 процентов, — говорит тов. Леонов. — А что получилось на деле? Сухобузимскому району мы дали директиву, что кулацкое задание должно составить 164 тонны, а он установил 77 тонн. По Красноярскому району планом дано 178 тонн, он установил 6. Газимуро-Заводскому — 100 тонн, он установил 46 и т. д.»

Скотозаготовки — развитие наступления на кулака. И он, прекрасно это понимая, идет на все, чтобы только сорвать выполнение плана. Мутит, агитирует соседа-середняка. Своих быков, телят, свиней передает приятелю-подкулачнику. Тайком бьет скот, особенно свинью, мясо с'едает сам или сбывает в город частнику. А если все же надо сдавать скот, то прекращает откорм, сдает скотину тощую, кожа да кости. Обрабатывает, и не всегда безуспешно, иного сельсоветчика или кооператора.

В прошлом году кулацкая агитация разлилась по всей стране. Под ножом растерявшегося попавшего на кулацкую удочку мужика стихийно падала всякая домашняя животи́на, от быков до цыплят.

Борьба все длится, каждодневная и упорная.

### О сибирском натюрморте.

Если сложить вместе Польшу и Германию, прибавить Францию, Италию, и всю эту территорию еще удвоить, тогда только получится площадь, занимаемая Восточно-сибирским краем: 3,5 миллиона кв. километров. Живет же здесь всего три с небольшим миллиона человек—почти в 60 раз меньше, чем в Зап. Европе.

Иркутская краевая контора Союзмяса кормит не только Восточную Сибирь, но и вывозит свою продукцию далеко за пределы края. В тихоокеанских портах лебедки опускают распяленные бараны и бычьи туши в трюм морских пароходов. Курс—на Сахалин и через Охотское море, в далекую туманную Камчатку.

Ледники изотермических вагонов везут восточносибирское мясо на Дальний Восток и на запад, в Москву, в Ленинград.

Речные пароходы волокут груженные баржи на приполярный север. Шлепают плиты по холодной воде, пыхтит машина, скрипят стальные тросы, переброшенные за корму. Вниз по Лене, по Ангаре, Енисею. Идет мясо на Ленские прииска, помнящие залпы жандармского ротмистра Трещенко, в Бодайбо, на золотоносные алданские земли. Добирается до полярных заводов Игарки, куда с севера, пробившись через торосы Ледовитого, приходят пловучие караваны Карской экспедиции.

И сейчас, как в дни Ермака, на сибирском севере речные системы—главные пути сообщения. Упрямые и сильные реки, сдавленные лесистыми горами, пробиваются сквозь скалы, пороги, «щеки». Кругом—ель, береза, нежная лиственница, сильный кедр. Тайга. В иных местах не ступала нога европейца. Бродит только тунгус, выискивая лесного зверя, шкуру которого отнесет в факторию Госторга.

Москва и Ленинград, Востокуголь Комсеверопуть, железнодорожники двух дорог—Томской и Забайкальской, золотискатели Лены и Алдана, слюдная промышленность, красноармейцы ОКДВА, Дальний Восток, Сахалин, Камчатка, не говоря уже о местном внутрикраевом населении, все это кормится продукцией краевого Союзмяса.

Закупаются скот и за границей. Теснясь, подымая облако пыли, движутся из страны монгол гурты сарлыков и хайнаков—косматых, хрюкающих, с конскими хвостами сородичей тибетского яка. Идут с солончаковых предгорий Большого Хингана, с границ Гоби. Один тракт на Борзю, другой, от Дархат-Хурэ, Тункинской долиной, к железной дороге—на запрятавшийся в лесистой пади Култук. Восемьдесят процентов импортного скота (из Монголии) перерабатывает край.

До 1 апреля краевой конторой отправлено в Москву и Ленинград 6 тысяч тонн мяса, на Восток—10 тыс. тонн, для внутрикраевых нужд—6 тыс. тонн. Всего, включая импортный монгольский скот,—38 тыс. тонн мяса и 1.500 тонн сала-сырца.

И забой, и переработка мясopодуктов пока что в крае производится весьма примитивно, кустарными способами. Нет еще ни одной технически усовершенствованной скотобойни. Салотопки, кишечно-копчальное производство оборудованы кое-как, по-старинке, вернее вовсе не оборудованы.

... Ранним утром поехали мы за город, на бойню. Верхнеудинск, пыльная и деревянная столица советской Бурятии, остался позади. Песок сыпучий и розовый. В него впивались ревматические корни сосен. Колеса брички вязли. Бойня притаилась в сосняке. Ее пронизывали весеннее солнце и холодный ветер. Была это обычная салганная сибирская бойня—длинный, дощатый, крытый тесом сарай, лишенный одной стены.

Вся картина забоя перед глазами быков, привязанных к розово-чешуйчатым стволам. Быки, мелкорослые, шершавые, понурые, ждали своей очереди. В их косящих глазах переливалась вода сосредоточенного ужаса, влажные, бледные ноздри вбирали зловещие запахи.

Отбросим на минуту соображения гуманности, ненужность излишней, вполне устранимой жестокости. Будем исходить из голого практического расчета. Любой мясник прекрасно знает, как бредно отражается на качество самого мяса предсмертное волнение животного. Бык, видящий, как на его глазах забивают, теряет в весе, от повышенной температуры мясо его приобретает нездоровый, огненно-красный оттенок. Все это легко устранить, все это нужно устранить, сами работники мясного дела так говорят, и все же скот здесь забивается, как столетие назад.

Фартуки и руки бойцов—в бурых засохших пятнах, сапоги промокли, на поясе связки ножей в деревянных ножнах. Упирающегося быка волокут на помост убойной камеры за веревки, обвязанные вокруг рогов, крутят хвост. Удар коротким ножом в широкий загривок, в мозжечок. Иной неопытный боец делает три-четыре удара, пока животное рухнет на подкосившиеся колени. Второй удар перехватывает горло. Стекая по желобам, кровь впитывается прямо в землю, пропадает зря. Пропадает ценное сырье: из него выделяется черный альбумин, из которого получают необходимый для производства фанеры клей, и светлый альбумин, применяемый в медицине. Начинается разделка неподвижной, каменеющей туши. Отрубают голову. Срез шеи похож на клубок спутавшихся многоцветных шелковых ниток. Подпирая кулаками, сдирают шкуру, лоснящуюся изнутри влажной синеватой клеенкой.

Извлекают легкие и сердце, зеленовато-голубой, точно из персидской бляхы набитый перезаренной пищей мешок брюшины. Его относят в сторону несколько скуластых, переговаривающихся по-бурятски работников. Между распяленных задних ног, обрубленных по коленный сустав, вставили палку и, накручивая на ее концы висящие с балок канаты, поднимают тушу над полом. Здесь нет лебедки для подема, отсутствует даже простой блок.

Скоро распятые туши, покачиваясь, висят в воздухе. Точно плащи, спускаются со сплетений мышц и сухожилий полукодранные шкуры.

А на стоящих прямо под небом де-

ревянных столах все увеличиваются ряды длинных, шершавых и влажных языков, лежит вишневое желе легких, оскальпированные головы, гора маслянисто-желтых, зыбких комьев говяжьего жира.

— Наверно бывают случаи пропажи?

Заведующий бойней отозвался со спокойствием философа:

— Не без того. Так, на глаз приходится считать.

И вздохнул:

— Главная беда — камеры для хранения нет...

Приехавший с нами молодой ветеринар резал скальпелем туши, выскивая вредные фины, и шлепал лиловые квадратные клейма на связки оголенных мускулов.

Забили в этот день голов семьдесят.

Поодаль желтели камеры новой строящейся бойни, более обширной и гораздо лучше оборудованной. Верхнеудинская бойня, варварская по оборудованию и по методам производства, доживает свой век. Через год—полтора ее заменит технически усовершенствованный мясокомбинат.

Труд быкобойца или работницы-кисленицы, неприятный, грязный, тяжелый, так же важен и почетен, как всякий человеческий труд. И тут развито ударничество. И здесь есть свои герои.

1 мая вечером в клубе чествовали верхнеудинских ударников Союзмяса.

Они стояли дюжие, смущенные общим дружелюбным вниманием, опустив тяжелые, нескладные руки. Русские, буряты, китайцы. Для них разливался «Интернационал», им гремели рукоплескания, о них говорили ораторы. Говорили о их тяжелой работе зимой в сорокоградусные забайкальские морозы, под открытым небом, когда—сугробы, звонкие и твердые, как мрамор, воздух обжигает гортань, а работать приходится голыми руками, в обуви, промокшей от крови. Несмотря на эти условия, на перебой в снабжении хлебом, бойцы делали свое незаметное и нужное дело точно, аккуратно, не покидая своих мест. Мало того, вызывали

товарищей соревноваться на улучшение качества работы.

Когда замолкали речи, они, откашлявшись, охрипшими от волнения головами говорили:

— Так что, товарищи, и вперед буду так работать... До конца пятилетки... Не брошу своей работы, покада пятилетку не закончим.

### Советские мясники

Экспресс Москва — Манчжурия. Сибирский путь. Купе. Два человека.

Один — в заграничном костюме, малиновых башмаках, крахмальном воротничке. Курит душистые папиросы, доставая из коробочки, выложенной серебряной бумагой, лениво читает немецкий роман. Свиная кожа его дорожного чемодана облеплена географией таможенных ярлыков.

Другой — маленький, на вид щуплый, затянут в полувоенную гимнастерку. Белобрысый вихор сползает на задумчивые глаза.

— Наша фирма — одна из крупнейших в Германии, — говорит первый на прекрасном хох-дейче. — Вероятно вы слышали. Франкфурт-на-Майне. Мясная торговля (он называет фамилию).

— Да, слышал, — говорит второй на скверном немецком языке.

— А какая ваша специальность, мейн герр?

— Приблизительно такая же, — улыбается второй.

— О! Вы тоже мясоторговец?

— Да. Отчасти.

— Это интересно. Скажите, мейн герр, каков годовой оборот вашей фирмы?

Собеседник называет цифру. Купец из Франкфурта едва успевает подхватить выпавший из раскрытого рта мундштук и говорит:

— О!

Он снова прикусывает папиросу и с недоверчивой почтительностью осматривает солдатскую блузу, высокие сапоги, задорный хохол соседа. Удивительная страна — Советская Россия!..

— О! Это колоссально. Ни одна германская мясная фирма не может похвастаться таким оборотом... А во сколько времени оборачивается ваш

капитал?.. Что?.. Не может быть! Вы шутите.

Почтенный франкфуртский немец, оглушенный цифрами, видимо, с трудом понимал разницу между принципом его прадедовской торговли и торговлей социалистического государства, которой руководили вот такие совершенно не похожие на коммерсантов люди. Поистине, он ехал по удивительной стране.

Да, эти люди занимались раньше чем угодно, только не торговлей.

Были среди них слесари, кузнецы, электромонтеры, машинисты, хлебопашцы, солдаты, инженеры, врачи, учителя. Были ученые, публицисты, писатели, знатоки искусства и философии. Но мясников не было. Мясным делом ведали краснорожие молодцы из Охотного ряда и Зарядья, первыми шедшие с царскими портретами «бить жидов и студентов». Они монополизировали мясное дело...

— Надо учиться торговать. — об'явил Ленин, и вчерашние подпольщики, чекисты, красные партизаны и комбриги стали изучать боевое дело, свойства концентрированных кормов, кон'юнктуру мясного рынка.

Советскую мясную индустрию приходилось строить заново, на голом месте. Мало в чем пригодился опыт отечественных мясников и прасолов — уже слишком от их «методов» несло азиатчиной.

В числе многих пришел в мясное дело и Власенко. Стал во главе восточно-сибирской краевой конторы.

У него упрямый и задорный светлый хохолок. Так вот — бойцовым петушком, воякой — пробивался он в жизнь. Украинское детство, ленивые луга, на которых он — подпаском — гоняется за телятами.

Семья крестьянская, связанная с революцией. Старший брат — эсер-максималист, отца знает сам пан-становой:

— Это тот самый? Бунтовщик?..

Потом гимназия, куда как-то удалось прорваться напористому хлопчику, застать вместе с панычами за Юлия Цезаря и теоремы Пифагора. Потом партия, южные фронты, Очаков, Севастополь. Армия. Высшие командно-хозяйственные посты...

— Уменье переключаться!

Только наша эпоха, родившая этот термин, вырабатывает гибких, напористых, универсальных людей, с одинаковым жаром и успехом берущихся за любое, нужное стране в данный момент дело.

Новые задачи поставила история рабочей республике. И Власенко переключается на мясное дело.

— Нужно, чтобы в каждой деревенской ячейке был поросенок, и этот поросенок был бы лучшим в селе, — говорит он с блеском в глазах.

Что это — делячество? Нет, особый вид романтизма. Он конечно романтик. Может быть, сам скрывая от себя, отчасти даже и поэт, и что всего удивительнее, это нисколько не мешает ему быть расчетливым хозяйственником, предприимчивым и энергичным практиком-дельцом.

Трудоспособен, как муравей... Не щадя себя, не жалеет и других. И ценой лихорадочной работы успешно выполняет задание правительства и партии:

— К первому апреля — семьдесят процентов годового плана скотозаготовок.

Директива была выполнена досрочно. Дома он только обедает и ночует. Усаживаясь за стол, раскрывает книгу и глотает вместе с супом безразлично чего — Пильняка, Либединского, мемуары сороковых годов. Цитирует Пушкина, любит литературу и следит за нею, а сколько позволяет время и перегруженный мозг.

... Из Бурято-Монголии, дающей десять процентов восточно-сибирского мяса, из степной страны, которая ейчас превращается в одну из основных котловодческих баз СССР, пришли револьные вести. Присланные отсюда сведения о ходе заготовок скота оказались неправильными. Отчетность была юставлена хаотично. В результате действительное выполнение плана по району исчислялось не в 93 процента, а гораздо ниже — процентов семьдесят.

Крайконтора срочно командировала несколько работников для выяснения и улучшения дела.

Мы обогнули Байкал, еще стынущий во льдах, и голубой первомайской зарей приехали в песчаный, спящий за ставнями Верхнеудинск.

В республиканской конторе собрались на совещании работники. Сообщали:

— У кулаков вместо твердого задания в 30 процентов из'ято только 25 проц. Передали прокурору и РКИ, но пока дело на мертвой точке.

— Советские и партийные органы сплошь и рядом не оказывают должной поддержки работникам Союзмяса.

Власенко слушал, молчал, бледнел. Уставясь в стол, тихо заговорил:

— Я, товарищи, удивляюсь только одному. Что же вы-то делали? Вы не встречаете помощи, ответственнейшую работу тормозят, и вы с этим миритесь?.. Надо драться. Драться, как черти, чтобы кровь из носа. Конечно только не из вашего... Еще не научились драться за директиву партии?..

...Начала работать комиссия из представителей Союзмяса и РКИ, связавшаяся с краевыми и с республиканскими бурят-монгольскими партийными органами. Верхнеудинская контора спешно реорганизовалась. Убирались одни работники, их сменяли новые, более опытные и энергичные.

Поздно ночью в паршивеньких захламленных номерах, именовавшихся «Отель Метрополь», сидел в кальянах Власенко, неумело тыкал иголкой в синие свои галифе и смеялся. Глаза у него делались совсем детскими, волосы свалились на лоб.

— Вот, управляющий краевой конторой Восточной Сибири, с годовым оборотом...

На рассвете тяжеловесный юнкерс, бросая тень крыльев на монгольские солончаки, должен был понести его за границу в Улан-Батор-Хото. Власенко улетел проводить монгольскую импортную операцию.

Если бы почтенный коммерсант из Франкфурта попал сегодня в номер отеля Метрополь, он был бы просто шокирован.

...Кукин вошел в революцию прямо из смрадных шахтерских барачков, из могильной тишины штолен и штреков. Но сейчас, глядя на этого стройного, опрятно одетого, длинноволосого человека, никогда не скажешь, что валялся он на нарах, покрытый грязью и вшами, работал под землей на Парамонова, — катал вагонетки, полные блестящим антра-

цитом, ставил крепи, закладывал в породу динамитные бурки.

Партия, фронт, учеба... Щека Кунина вздрагивает мелкой, зыбкой дрожью—пожизненная память о польской войне, контузии, формировании в тылу неприятеля повстанческих полков из белорусских мужиков, о бегстве из панской военной тюрьмы, из-под расстрела.

Краевая контора послала его в районы обревизовать состояние низовой сети.

Он неутомим, дотошлив, беспощаден, если требует этого работа. Грозой пронесся по Аларскому и Боханскому аймакам, проверяя счета, сводки, бухгалтерские книги.

— Вот, не угодно,—говорит, кривясь саркастической усмешкой, которая не скрывает боли за то, что дело идет все еще не так, как надо.

— Вот!.. «При наличии расхождения цифровых данных по заготовкам скота между заготовителями и системой Союзмяса мер к устранению этого Наркомснабом Бурятия-Монгольской АССР не применялось». Будьте любезны! А вот еще: «Из'ятие скота по кулацко-зажиточным хозяйствам на 1 апреля выполнено только на 25,33 процента. По Кабанскому району сведений вообще нет...»

Мелкая зыбь бежит по щеке, пальцы роются в пачках документов, актов, докладных записок.

— Будьте любезны!..

Рассказывает об обнаруженных им злоупотреблениях, извращениях партийных директив, потакании кулакам, случаях вредительства.

Скот тайно забивался по зажиточным дворам, мясо просачивалось на частный рынок. Часто сами же государственные столовые закупали его по вольным ценам.

Всюду были трудности, и всюду нужен пронизывающий глаз и революционная энергия.

...Иркутская крайконтора. Кабинет управляющего. Всегда здесь народ. Приезжают таежные люди, в бахилах, в косоворотках, из лесных падей, откуда-нибудь с Подкаменной Тунгуски.

Приезжают степные люди в запыленном брезенте, с границ Монголии и Манчжурии, с унылых равнин Даурии.

Лица—кирпично-глиняные, губы обветрены, заросли проволочной щетиной, на ремешке через плечо наган. Все это скотпромышленники новой, советской формации: представители районных контор, кооператоры, работники животноводческих совхозов. Сообщают о работе, о нуждах своих, получают указания. Заключают договора на приемку и поставку скота.

Их принимает Терехов, заместитель управляющего. Голос у него авторитетный и лишенный полутонов—будто и сейчас командует полком украинских партизан. Свитая из медной проволоки, пышная борода задрана вверх, щеки багровеют.

Но это только лишь внешнее обманчивое впечатление. Парень простой и крепкий. Линию свою ведет, не держа, не бросаясь в стороны, упрямым, спокойным нажимом. Хозяйственник по призванию, по натуре, по всему внутреннему своему складу.

Были когда-то скитания по заводам, ссоры с прижимистым хозяином, было денкинское подполье и партизанские отряды. Были пулеметы на санях и гранаты на поясе!..

Это отошло. Иное настало время. Сейчас Терехов, задирая к потолку купеческую бороду, спорит с кооператорами о проценте нагула скота и пишет в журнал «Мясная индустрия» статьи о базовом хозяйстве.

С утра до ночной темноты он кипит в мясном бульоне крайконторы, вываривая сангвинический румянец своих волосатых щек, и только поздно вечером вернувшись в номер гостиницы, где мы живем, морщится и потирает лоб:

— Понимаешь, мозг болит... Прямо физическая боль.

И, едва коснувшись подушки, проваливается в сон.

...Приказ по восточносибирской краевой конторе от 1 июня 1931 года:

«...На ряду с общим выполнением планового задания на 1 апреля все же мы имеем ряд качественных по всему краю и количественных в отдельных районах невыполнений, свидетельствующих, что в ряде районов не вели достаточной борьбы с чуждыми, вредительскими элементами в нашем аппарате и правооportunистическими настроениями в от-

дельных звеньях животноводческой и потребительской кооперации, а также недостаточен нажим на кулацко-зажиточные элементы села по выполнению твердых заданий.

...Вокруг борьбы с потерями живого веса скота надо шире развернуть общественную работу путем социализации и ударничества среди гонщиков-воловоков, рабочих скотобаз и боев, взяв под непосредственный контроль работу отдельного хозяйственного звена...»

...Добиться 100-проц. выполнения заготовок по краю к 15 июня, жестко бороться с демобилизационными настроениями аппаратов как нашего, так и скотозаготовительных (кооперативных) организаций...»

...Техническая реконструкция мясной промышленности, скорейший перевод всего мясного хозяйства на индустриальные рельсы...

...Всемерное содействие сектору в развитии животноводства и быстрой коллективизации».

### Новые ветры

Степи советской Бурятии, где пасутся стада, превращаются ныне в одну из основных всесоюзных скотоводческих баз.

Похожи степи на широкие, плоскодонные чаши, иззубренные края которых — из синего, из голубого фаянса. Горные цепи. Здесь проходят Саяны, Хамар-Дабан, Хамбинский хребет, Монгольский.

Воздух прозрачен, горы, замыкающие далекий горизонт, до того голубые и легкие, что кажутся куском затвердевшего ветра. Крепко пахнут горячие травы: горькая полынь, седые метелки ковыля, ирисы, чернобыльник, скабиоза, солянки. Сверкают под солнцем серебряные бляхи солончаков. Летят ветры, несущие горькое дыхание Монголии, желтого буддизма.

В степях разбросаны русские и оседлые бурятские поселки, крытые тесом, с заборами, сложенными из сосновых бревен. Сиротливо протянется жердястая поскотина. Мелькнет вдали желтая, углами вверх, крыша буддийской пагоды. По утрам на балкон подымается жрец в красной мантии. Он подносит к губам большую морскую раковину. Уны-

лый тысячелетний вой летит над степью. С монгольского тракта иронически вторит ему сирена грузовика. Клубясь пылью, грузовик везет за границу, в Улан-Батор, продукцию Москвошвея, Нефтесиндиката, Резинотреста.

Отрывисто переговариваясь, вытянувшись острым углом, режут воздух дикие гуси, летящие на Гусиное озеро, а на земле ворчит трактор, которым управляет узкоглазый рулевой, впервые подымающий целину коммунарского массива.

Было время — рыскали в этих степях, неся разорение, пожар и смерть, банды семеновцев. Скакали раскосые эскадроны страшного барона Унгерна, прицепившего ржавые генеральские погоны к желтому халату, садиста и фантаста. Остзейский барон, потомок немецких крестоносцев, он служил при дворе последнего императора российского, а во время революции объявил себя князем всей Монголии. Поклонялся Будде, жарил людей на медленном огне и мечтал о временах Атилы и Чингиз-хана. Объединив вокруг себя кочевую, феодальную Азию, замышляя на двинуться на потрясаемую революционными бурями Европу, чтобы обратить все в пустыню и пепел...

В степях пасутся стада. Зной. Земля плоская и тяжелая. Пастух-бурят, свисившись с седла, об'езжает ленивые гурты на бойком и шершавом коньке. Далеко синее тырлык, мотается пышная красная кисть конусообразной шапки. Он кричит, завидев другого всадника:

— Эй, нухур!

С'езжают. Здравуются:

— Сэн.

Закуривают длинные, оправленные в медь трубки. Как здоровье? Что слышно?.. Как идет работа в коммуне?.. Правда, что теперь строят жилища для скота, как для людей?..

...Бурятские слова:

Тынгырь — небо, обиталище богов, Хазыр — земля. Хата — горы. Морын — конь. Гуу — кобыла. Хонь — овцы. Ухыр — корова. Убысы — сено. Талхын — хлеб. Тосо — масло. Маха — мясо...

В степях пасутся стада.

Бурятия будет одной из основных животноводческих баз.

Восточная Сибирь не знает хлева и скотного двора. Бурятская зимняя юрта — сложенный из бревен квадратный сруб с земляным полом, почти без окон, одиноко и голо выросший на равнине. Никаких дворовых пристроек, нет даже забора. Перешагнул человек порог и кругом степь.

Летом скотина на выпасах и выгонах, зимой под открытым небом. Трещит сорокаградусный морозище, бушуют, ставя степь на дыбы, бураны. Занесенный снегом скот понуро жмется с подветренной стороны юрты. Если снег неглубок — копытами разрывает его, докапываясь до промерзлой травы. Если ударила гололедица, дохнет с голоду. Коровы телятся на снегу, в морозе. Выживший теленок похож на мать, такой же мохнатый, мелкорослый, явно выродженческого вида. В среднем сибирская коровенка весит не более двух центнеров.

Немногим лучше обращается со своей домашней скотиной и русское население края.

И вот на такой базе, переламявая варварские навыки населения, заново выращивая породу домашнего скота, надо создавать социалистическое животноводство.

Сейчас в шести крупнейших мясосовхозах на базах Скотовода, просторных, светлых и чистых, лениво перетирают жвачку производители — симменталы, великолепные иностранцы, флегматичные, бело-палевые гиганты. Их потомство уже бродит в гуртах, с дурашливой угрозой сталкиваясь друг с другом широкими лбами.

Для хилой сибирской коровенки они слишком крупны, массивны. Поэтому оплодотворение производится искусственным путем.

По плану народно-хозяйственного строительства автономной Бурято-Монгольской республики, к концу 1931 года общее поголовье стада совхозов должно быть доведено до 48,1 тыс. голов, — увеличение на 97 процентов.

Обком ВКП(б) считает, что правление трестов Скотовод и Овцевод недооценивает благоприятных возможностей строительства крупных животноводческих совхозов на территории Бурятии. Не все возможности в этом отношении

использованы. Общее количество скота намечено довести в 1931 году до 2.830,6 тыс. голов. Из этого поголовья не менее 933,6 тыс. колхозного скота. Обобществленный скот составляет 34 процента всего стада республики бурято-монгол.

1931 год даст прирост поголовья на 6 процентов. И все же это пока не покрывает того ущерба, который нанес кулак советскому животноводству. Стихийный, хищнический, прошлогодний забой, прокатившийся по Союзу, не миновал и глухих бурятских аймаков и улусов. Под ножом богатеев-нойонов, зайсанов и тех, кто пошел за ними, пало не менее 17 процентов скота.

Только через два-три года Бурятия вполне сумеет оправиться от урона, причиненного ей классовым врагом.

Усиленно развивается Сибирь. Пере рождается на глазах. «Из Сибири каторжной — в Сибирь социалистическую».

В западной части края — Магнитострой, Кузнецкстрой. В восточной — растущие Черемховские угольные копи, все новые и новые нащупанные залежи угля в районе Канска, на Тунгуске, в Тарбогатае. Железная руда в Братске и Илемске. Свинец, Серебро, Цинк. Редчайшие металлы, молибден и вольфрам. Байкал, обещающий дать нефть.

Наконец выдвигающийся из тумана фантастики, почти сказочный Ангарострой, мощь которого уже в первые годы после пуска будет равняться пяти Днепростроям, взятым вместе. Пройдет года два, и работа здесь будет в полном разгаре, а через две пятилетки, примерно в 1942 году, на таежных, диких берегах Ангары и Енисея засверкают огни могучих гидростанций, заводокомбинатов, новых социалистических городов. Дешевая энергия Большого и Малого Ангаростроя, богатейшие месторождения находящихся поблизости железных руд, цветных металлов, угля, ценных минералов — все это превратит Прибайкалье во всесоюзный центр производства высокосортной электростали, цветной металлургии, тяжелого и легкого машиностроения, силикатной, химической и лесохимической промышленности.

Год за годом все более индустриализируется Сибирь. Это значит, что сотни



тысяч переселенцев, армии рабочих с их семьями потребуются для ее промышленности. По предварительным подсчетам, нужно не менее 5 миллионов рабочих, не считая семей, — цифра, превышающая основное, коренное население всей Сибири.

Кто же будет кормить всю эту уйму народа, как наладить бесперебойное снабжение населения мясопродуктами?.. Новые важнейшие задачи встают теперь перед краевой системой Союзмяса. Первобытные, дающие огромные потери салганские бойни, кустарные кишечные, колбасные заведения, примитивные салотопки должны замениться усовершенствованными по последним данным американской техники мясокомбинатами.

Постройка мясокомбинатов в Восточной Сибири не только намечена, но уже осуществляется. Здесь появятся три предприятия малой и средней мощности:

1. В Верхнеудинске, где будет перерабатываться в пищевые продукты скот Бурят-Монголии, основного поставщика мяса.

2. В Иркутске, краевом административном и промышленном центре. Здесь постройка комбината начнется уже в конце нынешнего года.

3. На ст. Ага, Манчжурской ж.-д. ветки, откуда наиболее удобно перебросить мясо на Сахалин, на Камчатку, снабжать далекий золотиносный Алдан и промышленные районы Забайкалья—Читу, Сретенск, рудники Нерчинска, где сейчас строится большой промышленный комбинат, — Нерчинскстрой.

Если бы не сознательный, злобный умысел притаившихся в центральном аппарате Союзмяса вредительских гадин, ныне обезвреженных, если бы не их черная работа, страна уже сейчас имела ряд первоклассных мясокомбинатов.

В свое время ожесточенные шли бои вокруг капитального строительства. Партия «старомясников» стояла только за переделку и рационализацию уже имевшихся прежних предприятий.

— Все это барахло, которое никак нельзя приспособить, — возражали «младомясники», — эти предприятия не удовлетворяют растущих потребностей стра-

ны. Только напрасно убухаем деньги. Надо заново создавать мясную индустрию. По последним данным техники.

Победила «молодежь». Началась постройка мясокомбинатов в Омске, Петропавловске, Краснодаре, Вятке и других городах.

Специалистов, знающих это дело, оказалось немного. Планами, проектами, проведением работы ведали старые знатоки: Денисов и Сергеев в Союзмясепродукте, Козлов в Беконотресте, Рязанцев, Эстрин и другие в научно-техническом совете Наркомторга, утверждавшем все проекты по мясообработывающим предприятиям.

Строили в течение трех лет — с 1927 по 1930 год.

Этот период строительства закончился в стенах следственных органов.

Оказалось, что во главе мясной индустрии стояли наемники заграничных банкиров и генералов.

Планы и чертежи были так спроектированы, как после оказалось, что некоторые новые предприятия пришлось оставить недостроенными — переделка их потребовала бы слишком много затрат.

Только в последние годы советская мясная индустрия начинает нормально развиваться. Печальный опыт прошлого учтен. Оргвыводы сделаны.

Кроме существующих, более или менее успешно работающих предприятий (мясокомбинаты в Омске, Петропавловске, Краснодаре, Вятке, Фрунзе, бэконкомбинаты в Полтаве, Мелитополе, и т. д.), намечено создание еще ряда новых. Среди них особенно выделяются два больших мясокомбината — Московский и Семипалатинский. Это первые в СССР крупные предприятия американского типа. Один будет расположен в наиболее населенном, потребляющем промышленном районе, другой — в центре одного из важнейших животноводческих районов, в степном Казакстане. Постройка этих комбинатов начнется уже в нынешнем году.

Осенью 1932 года Московский уже начнет работать. Пропускная способность его — 750 голов крупного рогатого скота и 2.000 свиней в смену. Семипалатинский комбинат будет пропускать

за смену 500 голов крупного рогатого скота, 1.000 свиней и 2.000 баранов.

Восемнадцать цехов московского гиганта будут выбрасывать на рынок говядину, колбасы всяких сортов, паштеты, консервы, копченые окорока.

Здесь же будет вырабатываться из говяжьего сала олео-ойль, идущий на производство маргарина, олео-стеарин, черный и светлый альбумин.

Эптон Синклер, американец, рассказал о «джунглях» Чикаго. О том, как комбинаты, принадлежащие капиталистам, обескровливают не только свиней,

но и человека, как мясо рабочего выбрасывается на улицу.

Это — в Америке.

Наш советский мясокомбинат, выросший на ковыльных равнинах Казакстана или Бурятии, будет перерабатывать кочевника в пролетария социалистической страны.

И ветры, дующие с Хамар-Дабана, понесут в сопредельные кочевые плоскогория Гоби и равнины Танну-Тувы весть о новом, индустриальном советском буряте.

Июль, 1931 г.

# Литература и искусство

1. ДИСКУССИЯ В ВССП: I. Речь Л. Леонова.—II. Речь Л. Сейфуллиной.—III. Речь В. Полонского.—IV. Речь П. Слетова.—V. Речь П. Павленко.—VI. Вторая речь В. Полонского.—  
2. ИНН. ОКСЕНОВ. Пушкин и советская литература. — 3. ИГН. ХВОЙНИК. Мещанские тенденции в оформл. советской массовой посуды.

## Дискуссия в ВССП<sup>1)</sup>

### I. РЕЧЬ Л. ЛЕОНОВА

— Товарищ, открывавший дискуссию, назвал ее запоздалой: эпитет ошибочный. Дискуссия проходит как раз в те сроки, когда потребность в ней особенно назрела. Только теперь накопился в достаточном количестве материал для нее, — я имею в виду лишь тот материал, который появился в нашей литературе после генерального поворота нашей страны на реконструкцию, ибо этот материал наиболее ярко показывает новые политические тенденции и творческие магистрали современной советской литературы. Дискуссия должна была бы продолжаться перманентно, если бы могла быть создана очень товарищеская атмосфера, необходимая для искренних выступлений. Только такая, и с упором на самую творческую сущность, дискуссия могла бы быть пло-

дотворной и полезной для писателя. Прежде всего тут придется говорить о тех многочисленных трудностях, которые за последнее время встали перед всей нашей литературой целиком.

Тов. Селивановский, делая обстоятельный доклад о происходящих размежеваниях в среде нашего союза, к сожалению очень мало сказал по поводу самой литературы, недостаточно конкретизировал те факты, в которые отлились литературные явления последнего времени. Впрочем лозунг — лицом к конкретной литературе, возникший уже давно, служил пока только орнаментом для соответственных страниц «Литературной газеты». Докладчик не миновал общего удела наших критиков, пройдя мимо этой конкретной литературы в значительной степени отвлеченными, порою даже схоластическими проселками. И кроме того, жаль, что он ни словом не обмолвился по поводу тех трудностей, которые больше всего должны беспокоить писательскую среду.

<sup>1)</sup> В сентябре месяце в Москве началась дискуссия в Всесоюзном союзе советских писателей по вопросам творческого метода. Первый доклад на тему «от попутничества к союзничеству» был прочитан т. Селивановским. Содержание его доклада сравнительно подробно было изложено в «Лит. Газете». В развернувшихся прениях высказалось большое количество писателей. Полностью вся дискуссия, т. е. доклад со стенограммами всех выступлений, будет издана отдельной книгой. В настоящем номере нашего журнала мы публикуем лишь часть речей, — а именно тт. Леонова, Сейфуллиной, Слетова, Павленко, Полонского. Все речи, представляющие собой выправленные стенограммы, печатаются разумеется в дискуссионном порядке.  
РЕД.

Литература не выполняет в полной мере того, что она могла бы сделать; пока она работает всего лишь процентов на сорок. Делается мало и зачастую плохо. Хорошие и редкие исключения не меняют положения на всем литературном фронте. Не следует забывать, что, кроме основного долга писателя помочь своей стране, строящей социализм, пе-

ред ним стоит обязанность создать большую литературу, достойную этого строительства. Я надеюсь, что в дальнейшем будут созданы условия для того, чтобы писатель мог работать на все сто процентов.

Обычно дискуссионные вечера начинаются с разговоров о политической перестройке, но об этом можно было говорить года 4—5 назад. С тех пор однако, как начался поворотный период в нашей революции, когда идет больше чем драка, когда все захвачено учащенным дыханием реконструкции, когда эта реконструкция коснулась всех наших привычных понятий, мне кажется, поздно говорить о самой перестройке. Пусть конечно не теряют надежды опоздавшие, но им будет трудно. Обычно они выступают с декларациями на подобных нашему вечерах; все это конечно чепуха: к ораторским фортелям мы привыкли, и писатель может показать свою перестройку только на своей творческой работе. По существу вопрос об этой перестройке уже решен для сильнейшей части нашего союза. Что ж, это правда: оглядываться нам некуда; мы выросли, и наше мирозерцание сложилось в гражданской войне; уже тогда враги рабочего класса были и нашими врагами; все мы творчески начались уже после Октября... казалось бы, — чего благополучнее! Но провалы есть, и зачастую, кроме тех причин, о которых говорил докладчик, играет большую роль неумение (общее наше) преодолеть эти самые специфические трудности. Я не говорю, что мы их не преодолеем никогда: рабочий класс преодолевает гораздо большие; нам стыдно не справиться с ними.

Кроме перестройки, необходимо и другое — так сказать, реконструкция самых писательских станков. Еще совсем недавно мы ежегодно имели литературные произведения, которые производили ветер в литературе, которые организовывали вокруг себя литературу тех дней. Теперь это случается все реже. В журналах печатается посредственный материал, прет совершенно обнаглевшая халтура, тематика мельчает, и время от времени в литхрониках можно встретить заметку: «писатель такой-то работает над отображением быта вто-

рой половины третьего квартала 1927 года». Книга уже через полгода потребует к себе комментариев. ГИХЛ включает в высокопочтенные серии книжки, вызывающие головокружительные недоумения. Я вспоминаю книжку — «200.000 вольт», написанную сплошь словами: добьемся, перебьемся, убьемся, а пробьемся! Большого издательства над рабочим читателем я не встречал. Понемножку, соблазнясь легкой возможностью нажать литературный капитал, начинают подхалтуривать и писатели с более крупными именами. К халтуре привыкают, ее не только терпят, ее ласкают... Я напому хотя бы ту очерковую бурю, которая еще недавно пронеслась над нашей литературой. Разъезжались, писали о колхозах, гигантах, героях, прорывах, писали плохо, произнося чужие слова, с налету, плохо, целыми бригадами. Кончилось тем, что председатель ГИХЛ должен был дать интервью в газете: осадите, мол, легче надо. Фальшивая монета пошла в ход. Было бы красно, остальное неважно. Коллективно запомывали и критики, и издатели, что не все то революционно, что красно, — тому пример хотя бы «Красное дерево»...

Писатель понемножку бежит от современной тематики. Пишут о Лермонтове, Мечникове, Болотникове, Петре, Ломоносове, и хотя на каждом из них все же лежит ответ сегодняшнего дня, бегство это пугает. Причин однако ему много. Современный быт поминутно меняется, литературный материал крайне сыр, — сделаешь нынче даже очень доброкачественный шкаф, а его завтра перекосят... да тут еще глупые разговоры об отставании литературы от темпов. Если нужно большое, а не фанерное искусство, вряд ли можно заимствовать для него методы из других, хотя бы и очень смежных областей нашей эпохи: получатся плохие книги; стыдно будет перед печатником за эту гиблую продукцию, стыдно требовать от бумажника бумаги на ее издание.

Старый, дореволюционный писатель брал героем рантье, офицера, помещика, день которого легко было сделать, — не труднее, чем показать чаепитие; старому писателю было легче. Сегодня герой большого произведения, претенду-

ющего быть художественным не только в плане пониженных требований сегодняшнего дня, требует добросовестного, внимательного, кропотливого порою изучения, требует, так сказать, большей логики, даже знания философии его ремесла. Самый фон романа выходит из комнаты в цехи, в клубы, в лаборатории, на улицу: тут не соврешь, заметят. На изучение нужно время; нужно минимальное хотя бы время, чтоб в писательской лаборатории произошли необходимые химические реакции, чтоб отлитый бетон не растрескался завтра же.

Вообще говоря, у нас утвердилось мнение, что литература — это легко, ежели с нахрапом. Многие, существующие в жизни разговорами о литературе, не понимают даже в малой степени особенностей литературного творчества. Упрекать в этом нашу критику стало банальностью. Упускают из виду — мне хочется именно так назвать это — биологический рост писателя; мне трудно сказать даже про близкого приятеля и спутника в литературе, на котором у него месте вырастет завтра тот или иной стучок. Либединского громили за «Рождение героя», а это — из лучших вещей Либединского. Ошибка его была конечно художественная; вряд ли партиец наших лет станет тратить время на размышления по поводу того, морально ли ему сойтись со свояченицей. Интеллигент прикинулся большевиком, а автор, режиссер книги, этого и не приметил. Но я считаю, что вместе с тем книга эта показывает крупный рост писателя. Разумеется, не о гнилых сучках говорю, там дело обстоит просто: стричь, как предписывается в брошюре

как по садоводству, избегая однако, чтоб не получился этакий советский, подстриженный Версаль, никому не нужный. Кстате и рабочий читатель вырос; у него достаточно чутья разгадать книгу. Помню, на рабочем редсовете в ГИХЛ при обсуждении Пастернака выступил эдгеричный молодой человек в роговых очках, Шапиро. Видимо, стремясь показать стопроцентность свою и спасительную левизну, он долго крушил поэта, который кстате не присутствовал, крушил мелко и скучно, пока не выступила одна работница с Москвошвеей. Она сказала, что никто и не собирается изучать революцию пятого года по Пастернаку, а читатель ищет у поэта образов, зарядки, которой у Пастернака как раз достаточно. И всем сразу стало просто и легко, а карьера Шапиро в этот вечер вперед не подвинулась. Вот еще недавно рабочим Электрозавода довелось разговаривать с леди Астор; судя по газетным отчетам, ребята с честью провели этот знаменательный разговор.

Очевидно писатель, в какой-то мере пытающийся преодолеть помянутые трудности, производится в союзники; мне не нравится эта схоластическая номенклатура. В перестройке писатель заинтересован прежде всего сам, ибо ему жить и работать; союзу попутчиков следует много думать над этим: не доехал ли уже до своей станции. Ибо в дальнейшем поезд ускоряет ход, перегоны станут все длиннее, и на ходу выпрыгивающим из социалистического экспресса все больше будет грозить опасность попасть под его колеса.

## II. РЕЧЬ Л. СЕЙФУЛЛИНОЙ

— Товарищи, каждый заслуженный попутчик знает, что, называют ли его попутчиком или союзником, все равно это звучит, как «вольнопрактикующий». Иногда мне приходит в голову, что это племя подкармливается время от времени похвалами для того, чтобы оно не вымерло и сохранилось для диспутов, — для того, чтобы было на ком производить эксперименты. (С м е х.)

Вопросы, разрешаемые дискуссией,

это — вопросы не о попутчике, а вообще о советской литературе. Это чрезвычайно серьезные вопросы, но в докладе они затрогиваются слегка, чтоб не разбередить очень сильно, чтобы все прошло гладко и хорошо. Но этот вопрос относительно советской литературы так ставить нельзя.

Товарищ Селивановский просто неверно определил, как и когда складывался попутчик в союзника. Он гово-

рил, что Мариэтта Шагинян пересела в вагон с дамским рукоделием, когда она вошла попутчиком в советскую литературу.

Когда Шагинян переходила к советской литературе, это было уж не так просто, как взять в руки дамское рукоделие и сесть в вагон. Тогда это был разрыв с традицией, с большинством интеллигенции и страшная ломка всего мировоззрения. Лариса Рейснер писала в статье «Против литературного бандитизма», что их глазам романтиков и идеалистов больно было смотреть в раскаленную топку революции, где корчились целые классы побежденных, но все-таки они смотрели, не мигая, на страшное и прекрасное лицо революции. Это был момент, когда Шагинян пошла по пути революции. Не с рукодельем в руках, не безмятежно, а глядя в раскаленную топку революции, писала она свой первый художественный очерк «Как я была ткачихой». Об этом очерке Селивановский не сказал. Это был этап, это было решение, это был литературный выход, ясный, категорический, настоящий попутнический выход. Теперь Селивановский вдруг из всех произведений Мариэтты Шагинян выбирает «Гидроцентральный» и говорит: «Вот где она нашла себя». Я этого не понимаю, потому что «Гидроцентральный» хороший роман, но говорить, что Шагинян в нем обрела звание «пролетарского таланта», — нельзя. При внимательном его рассмотрении можно сказать, что именно этот роман похож на рукоделие, с которым Шагинян села в вагон для того, чтобы не опоздать на выставку писательских рукоделий эпохи реконструкции. Почему в основу всей перестройки прежнего творчества Шагинян ставится этот роман, мне непонятно.

Точно так же мне непонятно, почему в основу перестройки Леонова ставится «Соть». Что в «Соти» столь перестроено для того, чтобы сказать, что из всего племени попутчиков, существующего для диспутов, Леонов один понял пролетариат так, как надо, и стал вдруг очень близким его союзником. Почему? По-моему, «Барсуки» в этом отношении гораздо более показательное произведение. Если рассматривать все творчество

Леонова, то с точки зрения перестройки «Унтиловск» звучит убедительнее, чем «Соть». Не тематика решает дело, и Селивановский сам говорит, что недостаточно взять одну подходящую тему, а надо представить художественно полноценное произведение, создающее какой-то переход, этап в литературе. «Соть» этого не делает, поэтому величайшее ее страшно голословно.

Возьмем «Фому Клещнева». Какие же художественные достижения по сравнению с прошлыми произведениями Селивановского в этой вещи, почему ее вдруг объявляют художественно полноценным произведением союзника? Я подчеркиваю «художественно полноценным», потому что это ставилось в обязательное условие.

Отставание. В боязни отстать мы перегибаем палку, и я боюсь, что благодаря этому мы душим советскую литературу. Тов. Сельвинский говорил, что через два года материал может устареть. Как может устареть материал рассказа о том, как заставили ленивую, пьяную, дебелую, распутную Россию подняться, индустриализироваться, из отживающих свой срок войти в число действующих государств? Как может такая идея, идея обновления жизни, устареть? Как может устареть художественное сообщение о том, как пролетариат почти без помощи посторонних сил овладел высотами? Как устареет новая любовь, которая в этих условиях рождается и протекает, любовь нашей эпохи, рождающая особенную семью, какой не было, и массу всяких новых отношений? Как тут устареет смерть, леность, порок, как устареет мерзавец, который существует в нашем быту, наш мерзавец, и будет существовать до тех пор, пока не наступит настоящий, подлинный социализм? Как устареет герой, который дарит новую идею, как устареет победитель, создающий новую жизнь на развалинах побежденного и т. д.? Разве какие-либо произведения, глубоко просветившие человека своей эпохи, которые пришли от другого поколения, разве они состарились, потому что написаны не сегодня? Возьмите хотя бы «Робинзона Крузо», ведь не важно, что хотел рассказать автор. Кажется, он хотел прославить, восхвалить колониальную

-политику англичан. Я плохо, правда, знаю историю литературы, я не только не разбираюсь в Гегеле и Канте, как тов. Сельвинский, но путаюсь даже и в таких вещах. (С м е х). Но и меня, и вас колониальная политика англичан не пленила, а образ борца с дикой природой вдохновляет на дальнейшую борьбу с ней.

Повторяю, что, по-моему, наши темпы строения искусства вредны. Каждый уд, каждое соиздание имеет свой закон производства и есть закон произведения художественного произведения. Здесь торопиться просто опасно. Мейте в виду, что та красная халтура, о которой говорят все, как явно лезет в глаза. А что делается теми ударниками, которых мы втянули в литературу? Мы их втянули, и в большинстве случаев сразу, без должной проверки даровали звание писателей, потому что уже некоторые их произведения в наборе, иные изданы и т. д. В то же время им дали для работы немудрые задания, что роман и повесть строятся как: строительство, пятилетка, пролетариат. Все! Довольно. Это — кастрирование литературы.

Ведь и теперь раскалена топка революции. Опять корчится класс победенных. Надо смотреть в эту топку мужественно и правдиво изобразить момент, чтобы не уменьшить, не принизить, не опозлить его.

Тов. Селивановский в своем докладе ам протестовал против красной халтуры, но вместе с тем он убивал своим выступлением всякие другие подходы к изображению момента, переживаемого нами, очень большого исторического момента. Он взял рассказ Рыкачева «Величие и падение Андрея Полозова», он взял прекрасный рассказ, глубоко советский, настоящий рассказ, нужный нам, потому что в нем изображен человек — неясный вредитель, неясный мерзавец, такой, которого нам оставила старая казенная, служилая Россия. Не герой, не творец, а такой, который ложится грузом на всякие начинания и который вредит не потому, что он идейный вредитель, а потому, что хочет жить легко, не приемлет дела, в котором нужно действовать ответственно за каждый свой шаг и поступок. Он вредит самым сво-

им прислуживанием. Изображение таких героев, коварных прислужников советской власти, необходимо, ибо это тоже рисует нашу эпоху.

Тов. Селивановский очень нехорошо обрушился на это произведение. Он критиковал «вульгарно», как сам определил. Он сказал: «Не обвините меня в вульгарности критического приема. Не подумайте, что я мысли героя произведения приписываю автору». Рассказ написан от первого лица, и рассуждения героя Селивановским приписаны автору, а так критиковать рассказы, по-моему, не нужно. Нельзя уничтожать необдуманной критикой такие хорошие рассказы, потому что это отпугивает, это заставляет некоторых попутчиков вязать спешно рукодельице и писать в повестях и романах историю интеллигенции, особенно не задумываясь этим создавать явную красную халтуру, создавать возмутительную литературу.

Я работаю в некоторых редакциях. Призванные в литературу несут в них свои рукописи. Среди этой нужной поставки большая часть не годится для печати. Нужна строгость отбора и в первую очередь борьба с упрощенством, с красной халтурой. Произведение бывает очень плохо зачастую потому, что примитивно построено именно в целях слепого восхваления. Иной раз у нелишнего дарования автора из-за этой цели получается произведение скверного качества. Ну, «Утро молодого ударника...» Ведь одно название за себя говорит. (С м е х.)

Изображение той раскаленной топки, в которой корчатся борющиеся классы, такого полотна революции для изображения величайшей перестройки старой России, которая заставила бы и содрогнуться, но восславить, этого величайшего полотна не позволено сделать. Мешают, во-первых, спешка, во-вторых, — явное искажение критикой любого образа, рисующего все опасности, все трудности нашей ответственной жизни. И классы, корчащиеся в топке, изображаются как враг, над которым легко посмеяться. Трудности строительства в художественном отображении преодолеваются легко.

И ясно, что и «Соть» Леонова, и «Гидроцентральный» Шагинян, эти произ-

ведения, как писателям, не вплетают авторам новых лавров в их венки. Это стояние на месте.

Когда Селивановский в докладе упрекал меня в молчании, то прежде всего он не совсем внимательно отнесся к тому, что производит племя, которое лелеется для таких докладов. (Смех.)

Мною написана пьеса, текст оперы (правда, вместе с Правдухиным), опера уже идет в Мариинке. Затем есть ряд очерков и рассказов. Но большого произведения, претендующего быть ро-

маном эпохи реконструкции, у меня нет.

Такого большого полотна, несмотря на все упреки в отставании и т. д., я спешно не сделаю, потому что мне дорога советская литература. И товарищей я призываю оберегать ее от навалов дешевой скороспелки.

На этом надо заострить внимание. Тем, кто, боясь опоздать, запыхавшись, кричит «аллилуйя» в своих произведениях и на собраниях, не надо спешить аплодировать.

### III. РЕЧЬ В. ПОЛОНСКОГО

— Товарищи, предположим, что Лидия Николаевна Сейфуллина права. Предположим, что ее концепция выражает истинное положение вещей. Тогда зададим вопрос: в чем же дело? Где причина такого состояния попутнической литературы, тех болезненных процессов, которые в этой литературе происходят? Только в том, что Лидии Николаевне Сейфуллиной кто-то мешает написать большое полотно и заставляет ее писать оперы, которые уже идут в Мариинке (Сейфуллина): Никто не мешает, и никто не заставит).

Да. Но я скажу больше. Если мы, советские критики и советские читатели, пришли бы к вам и стали бы просить:

«Лидия Николаевна, напишите пожалуйста большое полотно, в котором мы увидели бы нас самих и нашу эпоху, с ее борьбой, с ее страстью, с ее великим напряжением и многообразием, если бы мы вас очень об этом просили, да не только вас, но и других, самых талантливых попутнических писателей, я скажу наперед — сейчас ни вы, и никто другой такой вещи не написали бы, потому что причины вашего молчания, причины срывов и неудач многих талантливейших наших попутчиков лежат гораздо глубже. Дело обстоит куда серьезнее, чем это вам кажется, и наша нынешняя дискуссия темто и значительна, что в центре ее стоит не тот или иной частный вопрос о тех или иных удачных или неудачных произведениях попутчиков. Вопрос стоит о судьбах самого попутничества.

Большой круг писателей, блестящих

писателей, которыми могла бы гордиться любая страна, писателей, создавших много блестящих и революционных для своего времени произведений, которые останутся в истории литературы, этот круг писателей в наши дни явно не справляется с теми художественными задачами, выполнения которых ждет от него наша страна. И ясно, что вина тут не лежит на ком-то, кто мешает писать, и не в недостатке способностей этих писателей, и не в ряде других внешних причин. Сейчас очень много говорят о бумажном кризисе: вот-де бумаги мало и нельзя печатать книги. А мне думается, что если бы бумаги было больше, чем достаточно, положение писателей, сваливающих вину на бумажный кризис, стало бы, пожалуй, более тяжелым; читатель воочию увидел бы, что бумага есть, а вещей, достойных своего времени, за одним-двумя исключениями, нет. Но ведь литература одними исключениями жить не может.

И вот мне хочется сказать по поводу этого основного вопроса о судьбах попутничества. Мне не придется спорить с докладом т. Селивановского; этот доклад дает мало материала для принципиального спора. Мне кажется, что основной доклад, озаглавленный «От попутничества к союзничеству», надо было насытить более глубоким содержанием, а его доклад в сущности — большая сборная рецензия о семнадцати новых книгах, при чем много книг, о которых говорить следует, в обзор не вошли, о некоторых можно было не го-



ворить совсем, а самое главное, в этом обзоре, занимавшемся индивидуальными оценками, не было социально-философского анализа тех глубоких процессов, которые и проявлялись в этих произведениях. Селивановский констатировал переход одних авторов на новые позиции, уход назад других, одних хвалил, других порицал. Внешнюю картину он приблизительно наметил верно, хотя и схематически, но марксистского анализа причин, приводящих к этой происходящей в среде попутничества перестройке, у него почти что не было.

Поэтому я позволю себе не тратить много времени на спор с автором доклада. Я хочу говорить о существе того процесса «перестройки», который на деле в писательской среде происходит. Но если поставить вопрос о перестройке шире и глубже, то мы увидим, что это вопрос не попутничества только, что проблема «перестройки» — есть проблема, выдвинутая ходом нашего социалистического строительства вообще, проблема изменения человека, и стоит она не только перед попутчиком, но также перед любым пролетарским или крестьянским писателем и не только беллетристом, но также перед критиком, перед ученым, перед любым теоретиком и практиком наших дней. Эта проблема выдвинута нашим временем. На 14-м году революции наступил момент, когда за перестройкой внешних условий, перестройкой жизни пришла очередь перестройки самого человека. Эта задача стоит перед каждым из нас, и от нее никуда не уйти, никуда спрятаться нельзя. Никакие стены, никакое уединение не защитят от напора новой жизни, новых социальных условий, ломающих старину во всех областях практики и теории, быта и воззрений. Для каждого отдельного представителя разных социальных групп конкретные формы этой перестройки будут конечно различны. Но она обязательна для всех в равной степени.

Здесь мы находимся в ВССП — организации преимущественно попутнической. Будем поэтому говорить о проблеме «перестройки», как она стоит перед попутчиками.

«Попутничество» блистало и продолжает блистать талантами, и оно име-

ет много дарований, и вместе с тем вы знаете, ведущую роль в нашей, советской художественной литературе попутничество утеряло. Эта ведущая роль вырвана из рук попутничества. И когда Сейфуллина говорит о том, что кто-то мешает ей писать настоящие вещи, кто-то не понимает ее полновесных художественных образов, она совершает некоторую ошибку. Она не учитывает изменений, происшедших в жизни. А с изменением жизни меняется и отношение к художественному образу: он может быть очень «полновесным», но для сознания нового класса, для нового мировоззрения он может терять свою силу, так что «полновесность» его не абсолютна, а относительна. Кроме того, когда мы говорим о полновесном художественном образе, мы не должны забывать, что для нас имеет значение не только «полновесность», но также то «существо» образа, которое заключено в этой «полновесности»! Мы боремся не только против бездарной или хаптурной литературы. Мы боремся также и с теми художественными образами, хотя бы и «полновесными» с точки зрения их автора, которые заострены против пролетарской революции. И вот этого очевидно не хочет или не может понять тов. Сейфуллина. Она не хочет заметить того обстоятельства, что радикально изменились условия, в которых происходит творчество.

Изменилась обстановка социальная, а значит вслед за ней и философская. Попутничество было тем отрядом, который пришел к нам в значительной степени из старого порядка. Это были писатели чаще всего большой художественной культуры, но эту культуру свою они почеркнули в старом, доэволюционном, буржуазном порядке. Все приемы их мысли, их умственные навыки, их эстетические вкусы, вся установка их жизни — все это было сколком старой культуры, все это было чаще всего выражено старым порядком. Они этот порядок ненавидели — они мечтали о революции, и когда революция произошла, они с восторгом — первые годы — воспевали ее буйство, размах ее разрушительных сил, ее метель, ее вихрь. Этот восторг их стал остывать по мере того, как революция вслед за военной

борьбой принялась за социалистическое строительство, когда она стала разрушать старые формы жизни, старые учреждения, когда она стала ломать старую идеологию, старую науку, старую философию, эстетику, когда она стала выкорчевывать корни капитализма во всей стране, а вместе с ними и все те идеологические конструкции, которые этими корнями питались. Вот тут-то и наступил момент, когда в попутничестве окончательно обнаружились глубочайшие расщепления. Оно никогда не было «единым», «монолитным» течением. Это была всегда разношерстная, составленная из различных, преимущественно мелкобуржуазных социальных элементов масса. Но в первые годы восстановительного периода попутничество, несмотря на внутренние антагонизмы, было объединено единым, я бы сказал, эмоциональным отношением к революции. С наступлением «реконструктивного периода» распался этот обруч — и попутничество неизбежно должно было дифференцироваться на «левых», «правых» и т. д. — в зависимости от того, как они относились ко всему тому, что происходило в стране. Многие, вначале готовые воспеть «размах революции», оказались с ней в конфликте, как только увидели, что она пошла значительно дальше тех границ, которые им казались «запретными». Кое-какие ценности старого порядка обрели в них своих защитников. Революция затронула уже не право собственности на вещи, — она касалась их «святынь», их мировоззрения, их философии, их идеалистических навыков, их эстетических вкусов, не только их «манеры» жить, но их «манеры» мыслить и чувствовать. Это, разумеется, повергло многих из них в глубочайший пессимизм, даже в отчаяние — перо заколебалось в их руках, и тут была главная причина того, что многие из попутчиков, голоса которых звучали в унисон с революцией, стали замолкать, а в голосах других зазвучали ноты далеко не революционные. Духовное наследство, вынесенное ими из «старого порядка», довело себя знать: оттого-то проблема «перестройки», т. е. выкорчевывания в себе духовных идеологических корней

капитализма, представляет для многих значительные трудности. Их не надо преувеличивать, но не следует также на них закрывать глаза. В последнем грехе например грешен тов. Сельвинский. Он с легкостью говорил о том, что он и его друзья могут миновать стадию союзничества, подобно тому, как некоторые части нашей страны прямо из натурального хозяйства делают прыжок в систему хозяйства социалистического. Тов. Сельвинский пользуется аналогией как доказательством. Это — ошибка. Человек, выросший в нашу эпоху, не имеющий «хвоста» старого духовного наследия, человек, которому нечего переделывать, ибо он уже есть создание «нового порядка», — такой человек легче придет к социалистическому мировоззрению. Но не об этих людях мы говорим. Мы говорим о том слое интеллигенции, который пришел в революцию из «старого порядка», с определенным духовным строем, выросшим в старых условиях, с наследством не только интеллектуальным, но и психологическим, наследством взглядов, восприятий, ощущений, навыков и т. п.

(Селивановский: Вы не дифференцируете попутчиков).

Неверно. Я дифференцирую их. Попутничество — не однородно. Кроме того, есть уже молодое поколение попутчиков, только-что выросшее. Но чем оно отличается от пролетарских и крестьянских писателей? Тем, что оно психологически является осколком старого попутничества.

(Селивановский: Только поколение?)

Не в том дело, что это «поколение», а в том, что это поколение — определенной социальной прослойки. Нет внеклассовых поколений. В нашем обществе еще сохранились остатки старых социальных групп. На развитие молодого писателя оказывает влияние также и та конкретная среда, в которой он вырастает. Эта узкая бытовая среда может оказывать известное воздействие на развитие мировоззрения, — будто не так? Молодой писатель, не колхозник, не фабричный рабочий, а городской интеллигент, вырастающий например в кругу внутренней эмиграции или например богемствующих писа-

телей, может воспринять влияние этого круга, и такое влияние, разумеется, скажется в его идеологии. Кто станет с этим спорить?

И вот, когда пришло время идеологической мировоззренческой, внутренней перестройки попутчиков, обнаружили для многих из них большие или меньшие трудности. Иным из них это дело кажется очень легким. Но именно эти последние своим примером показывают, насколько поверхностно понимают они «перестройку». Возьмем хотя бы Сельвинского и конструктивистов. Еще три-четыре года назад эта литературная группа самонадеянно уверяла, что она «уже» перестроилась, и что будто бы давным-давно конструктивисты перешли на рельсы пролетарской идеологии. Они поэтому протестовали, когда их называли «попутчиками». «Мы не попутчики, — говорили они. — Мы сопролетарские писатели». Вы знаете судьбу конструктивизма. Сельвинский здесь говорил, что когда писал «Пушторг», он не предполагал, что это будет ошибочное произведение. Вот в этом дело и заключается: Сельвинский поверхностно смотрел на «перестройку» и продолжает смотреть на нее столь же поверхностно. И когда он бьет себя в грудь и уверяет, будто ему и его друзьям уже не надо перестраиваться, будто они уже перестроились, будто они уже стали коммунистами, диалектиками-марксистами, — позвольте усомниться: не верим. Творчество их не дает убедительных доказательств, а мы не хотим верить словам: довольно мы слышали их! Мы верим только делам, только практикой проверяем слова, а практика Сельвинского расходится с его теорией.

Маяковский был ничуть не менее Сельвинского предан революции, не менее Сельвинского он хотел «перестроиться»! И однако как трудно это ему давалось. Трудно давалось — это не значит, что он не смог бы перестроиться. Повторяю: не надо преувеличивать трудностей, но не следует также их преуменьшать. В последнем случае вместо действительной перестройки мы получили один сплошной «Пушторг»! Подлинная перестройка будет заключаться не в том, что писатель

объявит себя диалектиком-материалистом. Товарищи, кто сейчас не диалектик-материалист? (С м е х). А спросите такого «диалектика»: с чем кушают диалектический материализм?

Выкорчевывание идеологических, так сказать, «корней капитализма» в живом человеке — вещь серьезная и необходимая. Старая философия, старые вкусы, старые взгляды на мир — это все не уходит по доброй воле, все это «защищается», и с ними нужно драться так же, как мы деремся за реконструкцию промышленности, за индустриализацию страны. Происходит ли такая же борьба за перестройку человека именно в попутнической среде? Очень мало. Этот процесс в попутничестве замедлен. В смысле «перестройки» оно не далеко ушло от того положения, в каком находилось десять лет назад. По мере того, как углублялась и усложнялась революция, по мере того, как новые задачи ставились перед искусством, ряды попутчиков стали редеть и колебаться. Из попутничества стали выпадать отдельные писатели. Жизнь стала опережать их. Кое-кто из попутчиков стал отставать, а для художника, особенно в революционную эпоху, да еще такую, как наша, этот разрыв с жизнью очень опасен. Я могу здесь повторить то, что писал в своей статье «Концы и начала», посвященной как раз той самой проблеме, какую мы сейчас обсуждаем: «Если писатель, — писал я, — вопреки своему таланту и мастерству живет прошлым, он выпадает из современного литературного движения!» Вот это выпадение многих очень талантливых попутчиков и является фактом, который не может не тревожить. И это «выпадение» происходит не по тем причинам, которые приводила тов. Сейфуллина. Правда свое вредное действие здесь могла оказать некоторая часть нашей критики, головопояска, невежественная, разнузданнобранчаливая, заезжательская. Но суть все же не в ней. Суть в том глубоком процессе борьбы «старого» с «новым», о котором я говорил: «старое» еще очень сильно в идеологии многих попутчиков, и оно сопротивляется «новому» изо всех сил. Оттого-то нельзя жаловаться на несвободу художественно

оформлять что хочешь и как хочешь. Нельзя об'являть «художественный образ» неприкосновенным только потому, что он художественен и полновесен. В какую сторону работает этот образ? «Образ» — великая сила, могучая сила. Потому-то революция не может предоставить «художественному образу» делать, что ему вздумается. Именно потому, что некоторые попутчики желали писать так, как будто ничего не произошло, как будто не произошла смена одного классового господства другим, как будто не изменился в корне характер социальных отношений, — именно здесь и лежит причина того «разлада», того «конфликта», который как будто назревает между некоторыми попутчиками и генеральными требованиями нашей эпохи. Я не могу здесь подробно говорить об этом. Но суть именно в социальных изменениях, происходящих в нашем перестраивающемся обществе, где господство принадлежит пролетариату, а значит — и его идеологии. И в недостатке понимания основных социальных причин, обуславливающих трудное положение попутничества, я могу упрекнуть его представителей.

Я приведу один пример мелкого, легкомысленного понимания процессов, происходящих в попутничестве. Представители этой группировки мало высказывались в печати по интересующему нас вопросу. В «Литературной газете» было напечатано немного статей: две-три, не больше! Среди них была и статья Виктора Гольцева. Правда его высказывания нельзя принимать в серьез, так как он несколько не показателен для попутничества, — тем не менее он один из «околопутнических» деятелей, он что-то тут творит, хлопочет, где-то выступает от имени ВССП, словом «энергично фукцирует». Так что его высказывание любопытно, как обнаружение уровня, на котором находится «околопутническая» часть ВССП. Смысл того, что говорит Гольцев, сводится примерно вот к чему: попутнические писатели не понимали того, что происходит. У них возникали самые двусмысленные представления о том, что происходит. Они стали делать массу ошибок, противопоставлять искусство жизни, штопать старые теорий-

ки буржуазного эстетизма, — словом вели себя очень легкомысленно. Но в то же время были толстые журналы, критики и редактора. Так где же были эти критики и где же были эти редактора, когда происходили страшные изменения в нашей жизни и когда советский писатель не понимал этих изменений? И вот, говорит, наступил момент, когда между писателями и их временем, жизнью, наступил разрыв. Кто же виноват? Вывод ясен: виноваты редактора и критики.

(Гольцев: Я этого не писал.)

Нет, Гольцев, вы это написали. Я могу сейчас процитировать газету. Вот послушайте:

«Где же были в это ответственнойшее время литературные критики, редактировавшие «толстые» журналы и альманахи, создавшие различные писательские группировки и фактически, на практике руководившие литературой?»

Увы, никто из этих критиков-«марксистов» ни слова не произнес о том, что вместе с обострившейся классовой борьбой во всей стране неизбежно и литература вступает в период ожесточенных классовых боев. Никто из них не предупредил писателей о тех затруднениях и опасностях, которые встали на пути развития попутнической литературы. Никто из них не сказал со всей прямотой... и т. д.» Разве здесь не показано отношение между «критикой» и «писателем-попутчиком» именно как между нянькой и ребенком? Писатель-попутчик, видите ли, был «несмышлениш»: «В силу недостаточности своего политического развития многие писатели, убаюканные этими колыбельными песнями (т.е. песнями «нянек-критиков» — Вяч. П.), пребывали в блаженном до поры неведении относительно всех тех политико-литературных проблем, которые было необходимо немедленно разрешить». И вот критики, редактора, вместо того, чтобы не баюкать колыбельными песнями, а взять ребенка за ручку и, вытерев ему носик, указать правильный путь, — вместо этого критики-марксисты не сказали ни слова и т. п. Какая трусливая дребедень! Какое жаленькое представленище о «вине» попутчиков, и о всем поведении их. Дело следовательно не в

том, что писатели-попутчики, как и всякие другие писатели, были представителями определенных социальных слоев, с определенным мировоззрением, которое они оформляли в образах, за которое они боролись, а в том, что им критики не сказали во-время: «Веди себя хорошо, будь пай мальчик». Такое понимание процесса литературного развития могло возникнуть только в детской какого-нибудь кадетского профессора. Пильняк был «политически неразвит»? Или Алексей Толстой? Или Сейфуллина? Или Бабель? Или Олеша? Или Буданцев? Или Пантелеймон Романов? Или кто-нибудь еще? В представлении Гальцева литература — это большая детская, в которой милые детки, «пребывавшие в неведении», потянулись к бутылке с вином и высосали всю. А когда пришло время расплачиваться, они оправдываются: «Где же была няня, когда...» и т. д. Право более пошлую и трусливую концепцию трудно придумать. А ведь с этой концепцией выступает товарищ, который, к стыду ВССП, является членом его правления. Он в некотором роде «вождь» Союза советских писателей. Хорош вождь! Хороша концепция!

Критика конечно имеет огромное значение для выпрямления литературной линии того или иного писателя. Но ведь это сплошной вздор, будто писатели «пребывали в блаженном неведении», будто они не выражали определенных классовых воззрений, будто они были нейтральны. Попытки Гальцева так объяснить позицию, занятую попутчиками в классовой борьбе, происходившей в литературе, следует толковать именно как обывательскую попытку замазать истинную классовую подоплеку процессов, происходивших в попутничестве и не только замазать эту подоплеку, но свалить «вину» на критиков и редакторов, оправдывая те или иные позиции попутничества политической «неразвитостью», «блаженным неведением», глубоким «сном» под «колыбельные песни» критиков и т. п.

Дело в том-то и заключается, что если бы 7—8 лет назад нашлись критики, которые стали предлагать например Гальцеву превратиться в пролетарского писателя, он замаха бы руками и

ногами, он отверг бы такое предложение. И, отвергая такое предложение, он стал бы искать такого критика и такого редактора, за спиной которого он мог бы приспособиться со своей идеологической установкой, если не навсегда, то хоть на время. На самом-то деле были ведь критики, которые сказали в свое время совершенно недвусмысленно о наступлении классовых боев в литературе. Это — напостовцы. Конечно у них было много и грубейших ошибок, но в основном они оказались правы. Почему же Гальцевы шарахались от них в диком страхе? Кто же мешал им «понять» и сбросить с себя плен того «неведения», в котором они находились?

(Смех в зале).

Вам мешало ваше старое духовное мелкобуржуазное наследство, тот хвост, о котором я говорил раньше.

(Селивановский: Апологеты, которые были среди критиков).

Да. Вы говорите об апологии попутничества. Много таких апологетов было в нашей критике. Я ведь знаю, в кого метит Селивановский. Что ж: не стану отрицать: грешен; я был среди таких критиков. Но ведь я не увиливую от ответственности. Я плачу по своим векселям.

(Сельвинский: Какой валютой?).

Странный вопрос: конечно советской. (Смех).

Разумеется, я сделал много ошибок. И не думаю их отрицать. Редактируя в такую эпоху, как наша, — сложнейшую в мировой истории, — несколько журналов, нельзя уберечься от ошибок. Вы говорите о моих ошибках так, как будто все вы безгрешны в этом случае, а один есть великий грешник, Полонский, и этот великий грешник с величайшим нахальством отрицает свои ошибки. Но это неправда. Я не раз говорил о своих ошибках. Я признавал их, правда, не так, не в тех выражениях, как этого от меня требовали налитпостовцы. И когда я напечатал статью о «перестройке» нашего воемени, статью, жестоко обруганную Селивановским в «Лит. газете», — она знаменовала мой «пересмотр» моих ошибок, она означала мою собственную «перестройку». Я ведь «перестраивался» так же, как всякий участник нашего

соцстроительства. Но почему я делал ошибки раньше? Да потому же, почему их делали и вы: потому что то, что сейчас кажется мне ошибочным, тогда, в тогдашних условиях, казалось правильным. В 24-м, 25-м, 26-м годах мое отношение к ряду проблем, в том числе и к попутничеству, было правильным. Позднее, с изменением конкретной обстановки, в которой происходила классовая борьба, не изменилось мое отношение к ряду проблем, в том числе и к попутничеству. Если вы спросите, какие это были ошибки, большие или маленькие, — я скажу: большие. Но Селивановский может сказать, что я делал ошибки большие, а он и его друзья — маленькие. (Смех).

Но он этого не скажет, ибо знает, что их ошибки также были немелкие. Так вот, были ошибки. Что же это значит? Это значит, что в процессе литературного развития целый ряд литературных оценок, целый ряд литературных прогнозов был сделан мною неправильно. Это очень для меня неприятно. «Ага! — кричат мне, — ты ошибался!» — «Да, — отвечаю я, — ошибался. Но тот из вас, кто не сделал ни одной ошибки, пусть бросит в меня камень!» Я знаю — такого праведника среди вас не найдется, потому что в сложнейшем и труднейшем переплете классовой борьбы в искусстве, впервые поставившей перед нами множество глубочайших проблем, ошибались почти что все, по крайней мере очень многие, одни больше, другие меньше. И эти ошибки были неизбежны. Это была плата, которую платили мы за новый опыт. Конечно суть не только в том, что были ошибки, суть еще в том, каковы они были, в какую сторону они росли, и здесь я не стану отрицать: мои ошибки были большей частью правооппортунистического характера. Было бы лучше, если бы я их не делал. Но они были сделаны, их из прошлого не вычеркнешь и отрицать их я не буду. Стыдиться тут нечего и защищаться нечего. Но ведь такие же ошибки были совершены теми моими критиками, которые меня больше всего укоряют. Говорим ли мы о моих ошибках или ошибках Селивановского или чьих-нибудь, — безразлично, — мы приходим

к заключению, что критики без ошибок нет. Так что с этой стороны можно было бы сказать, что в известном смысле история критики есть не что иное, как история ошибок. Это неизбежно, так как критика есть борьба за истину. Но поиски истины, всякие поиски истины, как всякие поиски новых путей, особенно в таких условиях, как наши, сопровождаются ошибками.

Это, я думаю, бесспорно. Когда же вы говорите обо мне, о моих ошибках, вы говорите так, как будто все вы могли ошибаться, а я ошибаться не мог, не смел, не должен был этого делать. Могли ошибаться попутчики, могли ошибаться рапповцы, не мог ошибаться только Полонский, а если он ошибался — горе ему! Когда мы берем любую литературную группировку, то ее взгляды, ее идеология и самые ее ошибки проистекают не от злой воли, а от классового существа ее воззрений, которые конечно могут изменяться под воздействием нового опыта, но которые до новых изменений вырастали на основе опыта старого. Попутническая идеология и все установки попутничества не есть «ошибки» попутчиков, проистекавшие от неведения, а есть выражение тех классовых взглядов, которые они вынесли из старого порядка и которые они должны изменить в себе, перестроить, чтобы идти в уровень с нашим временем. И даже тогда, когда некоторые попутчики хотят доказать, что наше время — само по себе а они, люди искусства, — сами по себе, они этим утверждением обнаруживают не простую «ошибку», а глубокое нежелание стать лицом к «политике». Но такое нежелание имеет глубокие классовые корни.

Сельвинский тут цитировал Тихонова. Он говорил, что Тихонов не прав в том, что сейчас нельзя писать художественные произведения без политики. Если Тихонов понимал дело так, будто надо политику как бы шприцем вливать в художественные произведения, он конечно ошибался. Он ошибается, если, говоря о политическом характере современного искусства, имеет в виду только политическую тематику.

Вопрос надо поставить иначе: даже тогда, когда в произведении нет ни

слова о политике (а иногда, может быть, именно поэтому), это произведение на деле оказывается политическим. Можно сказать: всякая литературная борьба есть борьба политическая. И всякое произведение — хочет автор того или не хочет — оказывает то или иное политическое действие. Так было всегда. Особенную же остроту приобретает политическое значение литературы в наше время, когда классовая борьба особенно обострена, когда нет нейтральной литературы, когда есть только два стана. Именно потому, что социальные функции искусства в условиях жестокой классовой борьбы приобретают все большее политическое значение, значение литературы делается все более актуальным. А это значение литературы как могущественного фактора общественной жизни налагает новые обязанности на автора, на художника. Он не просто кустарь, «творец», «индивидуальный» участник общественной борьбы, который может выбирать с кем идти и куда идти. Это и делает чрезвычайно трудным положение некоторых писателей, преимущественно лирических, которые в силу особенности своей творческой организации не могут легко и быстро перестроиться. Писатель вообще лирик. Это не чеховская «Душечка», которая без труда могла менять свой внутренний мир, свои взгляды на мир. Перемена писателю дается с трудом, но хотя это и трудно — на такой трудный путь писатель должен вступить. Это например прекрасно понимает Пастернак. Стихотворение, где он говорит о своей грудной клетке, показывает борьбу, какая в нем происходит. И он, лирик, меряется пятилеткой, но в нем еще есть некий комплекс настроений, мыслей и чувств; существуя в нем, помимо пятилетки, они имеют для него огромное значение, ибо это есть его лирический мир, — и надо этот мир, интимный и личный, привести в согласие с суровыми требованиями эпохи.

Разумеется, можно было бы очень просто разрешить все вопросы писательской перестройки. Взять да и разбить писателей на группки и налепить жаждой соответствующий ярлык: это попутчик, а это союзник, а это пролетарский писатель. Одному дать пасса-

жирский билет в поезд, о котором говорит Леонов, а другого, наоборот, выбросить из поезда.

Но такое решение вопроса, разумеется, никуда не годится.

Пролетариат не заинтересован в такой поверхностной классификации писателей. Наоборот, он хочет, чтобы настоящему перестроилось в сторону революции возможно большее количество писателей. И это конечно возможно. Мы имеем прекрасные примеры действительной перестройки. Леонов сказал, что пора писателям перестроить свой станок. Это хорошо сказано. Но я спрашиваю: кто станок и кто писатель? Писатель ведь и есть свой собственный станок. (В о з г л а с ы: Правильно). Леонов прекрасно понимает, что художественное творчество писателя, которое не будет ставить перед собой всех вопросов своего времени, не будет жить идеями своего времени, дышать его воздухом, творчество такого писателя неизбежно оторвется от своего времени, отстанет от него. А это и будет значить, что писатель выпадает из поезда жизни. Билет на право ехать в этом поезде и дают писателю его творчество, его дела, а не его слова.

Надо заметить, товарищи, что часть этих серьезнейших проблем недооценивается многими нашими писателями. Имея определенные идеологические навыки, взгляды, установки, приобретенные довольно давно, они не проявляют горячего желания эти старые навыки подвергнуть жестокой критике. Надо сказать, что некоторые наши писатели-попутчики действительно мало политически развиты. Они часто говорят о диалектическом материализме, но я сомневаюсь, чтобы они действительно были знакомы с диалектическим материализмом. Ходят злые слухи, что они не читают даже книг друг друга и говорят про себя: мы писатели, а не читатели. (С м е х). Ходят слухи, что они, кроме своих корректур, ничем не хотят заниматься. При таких условиях охватить всю сложность вопросов и задач, выдвигаемых нашим временем, они конечно не в силах. Раскачка происходит не очень быстро. Правда в последнее время, около года, наступил как будто перелом, писатели раскачались. Они

стали вылезать из своих кабинетов, иногда доставшихся им по наследству от дореволюционных папаш, из недр «старого порядка». Они стали делать вылазки из своих кабинетов на фабрики, заводы, колхозы, совхозы. Это очень хорошо. Но это имеет и плохую сторону. Плохую потому, что писатель нередко ограничивается только поездками в колхозы и совхозы. А время требует органического вживания в эпоху. И не странно ли, когда так много говорят о показе ударников, я попытался найти образцы хорошего показа, — я их не нашел. Пишут много, но хороших портретов нет. Даже хороших очерков очень мало. Писатель должен изломать свой быт, старый интеллигентский, индивидуалистический быт, потому что быт — часть бытия, а бытие, как известно, определяет сознание. Пока писатель остается только профессионалом пера, индивидуалистом, пока он, находясь в стороне от строительства социализма, говорит: «Мое дело писать», он недооценивает необходимость своего постоянного участия в живой действительности.

Старые писатели знали лучше свое старое время. Они писали о своем времени как знатоки, они знали плоть и кровь своей жизни, эпохи. Поэтому они так хорошо писали. Наше время, выбившее из колеи старого человека, выдвинуло совершенно новых людей, с новой психологией, с совершенно новым ощущением мира. До того, как изменился писатель, успел радикально перемениться читатель, изменилась воспринимая среда, на которую рассчитывает писательство, без которой ему просто нечего делать. И здесь попутничеству грозит новая и большая беда: оно теряет своего прежнего читателя. А новый, «перестроившийся» человек не поймет попутчика, который о современном будет говорить с ним на старом языке.

Попутничество, оставаясь на своих прежних позициях, как бы теряет контакт не только с эпохой, но и с читателем: последний ведь не стоит на месте. Писатель — не воздушное растение. Он тогда крепок и силен, когда корни его глубоко сидят в земле и много берут из нее соков. Но попутничество этого как раз и не сможет сделать, по-

тому что теряет социальную почву под ногами, поскольку отстает от задач жизни, поскольку не перестраивается вместе с нею. Здесь-то и возникает проблема «перестройки», о которой мы толкуем, проблема превращения «попутчиков» в «союзников».

Если бы мы считали тот отряд писателей, которых называем попутчиками, незначительным, ненужным — для революции и для пролетариата, мы вряд ли бы так много говорили об его перестройке.

Но в том-то и дело, что ценность этому отряду мы придаем большую. Он еще не исчерпал своих возможностей. Он очень богат талантами. Он представляет собой значительный конденсатор культуры, техники, умения.

Попутничество в известной степени досталось нам как часть культурного наследства от старого порядка, и растратить зря, не использовать этого наследства было бы неразумно.

Я глубоко убежден, что этого, разумеется, не будет. Перестройка началась. Хотят или не хотят этого те или иные попутчики, старающиеся укрыться от жизни, жизнь рано или поздно ворвется к ним в кабинет и ударит кулаком по письменному столу. От нее не закроешься никакой дверью, не удерешь ни на какую гору, — она разыщет везде. Эта мудрость самой жизни является залогом того, что попутничество еще будет играть видную роль, но ведущую вряд ли сохранит.

Ведущую роль оно уже потеряло. Оно не является господином тех идей, которые в художественной литературе являются ведущими в наше время. Эти идеи создает пролетариат, он диктует их всему нашему искусству. Должна воспринять их и воспринимает и «союзническая» часть попутничества. Кроме того, вырастает совершенно новый слой писателей, с новым мировоззрением, с новой психологией. Отряд пролетарской литературы является фактом, который нельзя сбросить с весов. Этот новый факт становится могучим фактором, вносящим изменения в наше искусство. Он окажет также свое положительное воздействие на попутничество, ибо будет способствовать тому процессу перестройки, необходимость которой сами попутчики ясно сознают.



Позвольте мне теперь, товарищи, коснуться одного частного вопроса, имеющего однако прямую связь с тем, о чем мы спорим.

— Я говорю об искусстве и лирике. Селивановский в своем докладе процитировал стихотворение Кириллова. Сделал он это для того, чтобы с'язвить по моему адресу: Кириллов-де стихами изложил один из афоризмов Полонского. Афоризм же мой заключался в том, что лирика будто бы может подождать. Выходит так, что Полонский против лирики. А он, Селивановский, — за. И Полонскому должно быть очень стыдно.

Но дело в том, что Селивановский либо не понял меня, либо не захотел понять. Мысль моя заключалась не в том, что-де лирика нам не нужна. Вот что писал я в статье «Концы и начала», и что старательно т. Селивановским было переврано.

Я говорил, что в нашу эпоху, которая ставит новые трудные задачи перед искусством, на долю лирики выпадают самые трудные испытания. На долю какой лирики? Лирики вообще? Нет, — писал я, — на долю лирики и н т и м н о й, лирики у е д и н е н н о й души. Для определения такой лирики я взял начало известного стихотворения Фета «Шопот, робкое дыханье». Почему я взял именно его? Да потому, что мне вспомнилось одно место из Достоевского. В дневнике писателя он между прочим писал, что если бы во время лиссабонского землетрясения, когда перед толпами народа стояли серьезнейшие вопросы жизни и смерти, появился бы на улицах поэт и стал бы петь: «Шопот, робкое дыханье» — толпа разорвала бы его на клочки. И она была бы права. Через пятьдесят лет, — добавлял он, — этому поэту поставили бы памятник, потому что стихи хороши, но в тот момент, когда он явился с этими стихами, людям было не до «Шопота, робкого дыханья». Я полагаю, что в этих словах есть доля правды. Время революции, время гражданских войн — не время интимно-лирических, глубоко индивидуалистических песен. Я добавлял при этом: «Было бы ошибкой думать, будто революция обрекает лирику на смерть. Такое утверждение неверно в корне уже по то-

му одному, что само искусство революции — если это будет настоящее искусство — лирично, как лирично искусство вообще». И я подчеркивал: «Речь идет не о лирике вообще, но о лирике уединенного сердца, живущего и страдающего лишь интересами своего изолированного «я»... Вот какова была моя мысль, — ее каждый может проверить, если желает. Но Селивановский мне подсовывает другую мысль: он уверяет, будто, по-моему, лирика вообще нам не нужна... При этом, как водится, приписывая мне глупости, каких я не говорил, Селивановский показывает на эту глупость пальцем, — и даже соответственные карикатуры для в'ящей убедительности заказал. Ему решительно не понравилось мое указание на то, что «музы» революции не похожи на тонких, мифологических созданий с длинными волосами и тонкими пальцами. Выходит так, что тот условный образ музы революции, — с грубым, т.-е. нежным голосом, и с руками, покрытыми загаром и пылью, будто такой облик дискредитирует революционную поэзию. Этим самым тов. Селивановский, разумеется, обнаружил свое личное пристрастие к нежным музам, в хитонах и с распущенными волосами, на которые именно буржуазия задолго до него пред'явила патент. Селивановский старался пред'ставить дело так, будто я отрицаю необходимость лирики теперь, будто, по-моему, пролетариат в лирике не нуждается, будто я обедняю искусство. С одной стороны, по Селивановскому, выходило так, что «Шопот, робкое дыханье» ждать не должны, напротив, «Шопот, робкое дыханье» должны звучать именно теперь, в период острейших классовых боев. Но ведь это — пустяки: хотел бы я посмотреть, как встретил бы Селивановский нынешнего Фета или Тютчева, если бы они пришли к нему со своими «фетовскими» или «тютчевскими» стихами. А с другой стороны, Селивановский заявляет, что и в будущем «Шопот, робкое дыханье» совсем не понадобятся, т.-е. будто бы интимная, индивидуалистическая лирика вообще как будто выпадет

из искусства. И здесь я не могу с ним согласиться: задачи искусства шире тех задач, какие ставит наша эпоха: она отстраняет в сторону целый ряд мотивов глубоко личных, глубоко интимных, ибо сейчас не время для таких мотивов, такие мотивы могут отойти в сторонку, уступив место мотивам общественным, мотивам, не уведящим человека к переживаниям индивидуального сердца, а напротив — сближающим людей в их общей борьбе за будущее. Но, ограничивая, с одной стороны, материал искусства, революция, с другой стороны, неизмеримо расширяет его, вовлекая в область лирики такие мотивы, такие чувства, которые никогда до нашего времени не были предметом лирической поэзии: таковы все мотивы борьбы, мотивы коллективистические, социальные страсти, делающиеся страстями личными. Но когда закончится борьба, когда мы перешагнем в коммунистический строй, или подойдем к этому строю, когда будет разрешен вопрос о «хлебе» в широком смысле, словом когда осуществляются задачи, поставленные пролетарской революцией, — разве не выдвинутся опять на видное место многие из тех самых мотивов, которые сейчас отодвигаются на задний план. О, конечно «личная» лирика будущего человека будет другой. Придут новые Феты и Тютчевы, не похожие на нынешних, но разве не зазвучит как-то по-новому нечто, напоминающее «Шопот, робкое дыханье», т.-е. лирика интимная, лирика человеческого сердца, живущего своими узкими, индивидуальными интересами? Мне думается, что такая лирика существовать будет. Но сейчас-то ей не время и не место не потому, что я этого не хочу, но потому, что этого не хочет наше время, как я писал, — суровое время борьбы, когда узкие личные интересы должны отступить перед интересами общественными и общими, коллективными.

На этом я пожалуй закончу о лири-

ке и вернусь к основной теме нашей дискуссии.

Повторяю: самое существенное в ней то, что перед попутничеством, перед этой группой разнородных писателей, стоит задача осмысливания происходящего и задача внутренней перестройки. Процесс перестройки мира влечет за собой перестройку самого человека. Эта задача перед попутничеством поставлена, и так или иначе оно ее должно решить. Она уже началась — эта перестройка. Уже выделяются из попутничества писатели, которых мы называем союзниками, — этот процесс должен сделаться сознательным. Именно ускорение и углубление этого процесса ликвидируют то кризисное состояние, которое переживает наша путническая литература.

(Селивановский: Переживает ли наша литература кризис?).

Кризисное состояние, мне думается, характеризует всю нашу литературу, все группы и виды ее. Но кризис попутничества является кризисом ущерба; попутничество, как группа писателей, сформировавшаяся в начале революции, несомненно переживает распад, ибо выделение крыла союзников есть процесс, разлагающий старое попутничество. Кризис же, переживаемый литературой пролетарской, является кризисом роста, кризисом, который оказывается результатом многих причин: и повышения удельного веса задач, встающих перед пролетарской литературой, и увеличения ее роли в развитии нашего искусства, и увеличения ее ответственности, и результатом внедрения в нее большого числа новых сил: ударников, рабочей молодежи. Бурный количественный рост пролетарской литературы создает некоторую диспропорцию между этим количественным ростом и качественным уровнем, которого требуют задачи, поставленные искусству, и специфические интересы самой пролетарской литературы, как особой деятельности. Я полагаю, это два разных «кризиса». Не так ли?

## IV. РЕЧЬ П. СЛЕТОВА

— Товарищи, для всякого художника, который задумается о путях своего дальнейшего движения, чрезвычайно важно, чтобы эти пути рисовались ему как что-то увлекательное, как что-то, что способно поднять все его силы для того, чтобы направить их к известным свершениям, кажущимся заманчивыми.

О путях попутнической литературы, о путях, которыми она идет к союзнической литературе, говорил тов. Селивановский. Он дал нам анализ той действительности, которая сейчас представлена некоторыми произведениями, отнесенными им к союзнической литературе, и другими, которым он не нашел места в этой союзнической литературе. Его доклад вызвал много нападков. Мне хочется разобраться в том, где же причины этих нападков, почему например нападали на «Соть», почему, часто обобщая вопросы, уходя в сторону от темы доклада, сопоставляли попутническую литературу с литературой пролетарской.

Т. Селивановский нарисовал такой путь: попутничество через союзническую литературу стремится к соединению с литературой пролетарской. Это первый его тезис, который вызвал возражения. Почему это произошло? Я думаю, это случилось потому, что здесь нужно было условиться точнее о терминах. Что понимать под пролетарской литературой? Когда мы говорим «пролетарская литература», мы представляем себе РАПП, мы представляем себе ту продукцию, которую дают писатели, входящие в литературную группировку РАПП. Но дело в том, что очевидно так понимать пути, которые предстоят попутчику, не приходится. Такое понимание и вызвало как раз поток возражений. Стали сопоставлять, стали спрашивать: почему вы думаете, что пролетарский писатель пишет лучше? как это можно сказать, что такое-то произведение пролетарского писателя нужнее, больше соответствует нашей действительности, чем такое-то произведение попутчика? Словом, весь вопрос упирался в то, что очевидно нет сговоренности в терминах. Я не сумею вероятно в эту неопределенность внести какую-то большую ясность, но я бы сказал просто

так: нам важно, чтобы пути развития были путями движения вперед. Поэтому, когда мы представляем себе, что пределом, лимитом достижений попутчика, союзника является пролетарская литература, то чувство протеста растет тогда, когда мы понимаем пролетарскую литературу как имеющийся у нас ряд произведений пролетарских писателей. Это потому, что мы за этими произведениями не видим ни большого совершенства, ни большой степени выразительности, мы не видим, чтобы эти произведения выражали действительность много лучше и даже часто вообще лучше, чем литература попутническая.

Другое дело, если поставить вопрос так, что пределом нашего сближения будет такая литература, которая выразит чаяния современного движения, выражаемого РАПП. Ясно, что никогда ни один художник не доволен тем, что есть, в частности своим творчеством, или творчеством той группировки, которую он представляет. Ему мерещится какое-то такое искусство, которое способно зажечь все его силы.

И вот здесь, я думаю, мы можем твердо сказать, что нам по пути с РАПП. Рапповское движение эти наши надежды на будущее искусство поддерживает. В каком-то далеком будущем этого сближения нужно ждать и желать. Но когда придет это будущее, это — вопрос другой.

Такая же неясность в постановке вопроса очевидно чувствовалась оппонентами Селивановского тогда, когда они обрушивались на «Соть». Селивановский грубо наметил линии разграничения попутнической литературы. Эта первоначальная грубая наброска такова: вот попутническая литература, а вот ряд произведений, которые трудно считать попутническими, которые стоят на какой-то иной платформе, которая появилась благодаря каким-то иным творческим установкам. Вместо того, чтобы попробовать дальше дифференцировать наблюдаемые нами литературные явления, явления литературного творчества, выраженные произведениями, вместо этого мы стали обобщать, и как будто бы выходило так, что все возражения

против «Соти» относились к возражениям против самой постановки вопроса, сделанной докладчиком.

Я думаю, что здесь недоразумение произошло вот почему. Ведь рассуждали в том же плане: «Соть» — произведение союзническое. Никто вероятно не хочет умалять значения «Соти» и не хочет во что бы то ни стало развенчать леоновское творчество, но если объявить «Соть» пределом достижений союзнической литературы, то это рождает реакцию отпора. Попробую показать — почему.

Я сопоставлю два романа: «Соть» и «Фому Клешнева». Начну с «Соти». Я, товарищи, был на большом строительстве, я видел два больших индустриальных строительства, я видел, как люди строят в условиях целины, как они организуют это производство, как это производство связано с индустриальными центрами, связано с теми задачами, которые решаются в центрах, и, признаться сказать, я совершенно не вижу в «Соти» выражения того, что я видел в действительности.

Для нас всех искусство, его пути мыслятся всегда как пути наибольшего сближения с действительностью, и то искусство выше, которое больше выражает и воссоздает действительность. Может быть, даже вся история искусства доказывает нам, что искусство всегда двигалось по линии от реального к наиболее реальному, так, как это формулировали например символисты. Вопрос другой, что в данную эпоху кажется наиболее реальным. Но вот сейчас есть определенное недовольство, определенное неприятие того искусства, которое было раньше. Мы хорошо знаем, что искусство сейчас как-то не выражает, не воссоздает полностью действительность, — то оно отстает, то оно как-то уклоняется в сторону, идет вспять, и по этой линии происходят все наши литературные бои, все наши литературные дискуссии.

Возвращаясь к «Соти», замечу, что Козаков в своей книге «Человек и его дело» вспоминает об инженере, который, прочитав «Соть», отметил такую несуразицу: там описывается решетка из «кованого чугуна». Инженер отмечает, что если чугун, то он не может быть кованым, а если кованый, то это мяг-

кое железо. Второе возражение. «Лицо его играло, как сталь при закалке». Технолог отмечает, что сталь играет при отпуске, а не при закалке. Это мелкие примеры. Но дело в том, что этот образ беспокоит инженера, потому что в натуре нет кованого чугуна. Если человек пишет о кованом чугуне, то здесь что-то неладно. Не овладел материалом. Но когда мы берем весь роман в целом, то тут наши претензии к несуразицам гораздо крупнее. Я не видел в «Соти» таких например вещей: я не видел индустриального города, не видел пролетариата, который производит окружное строительство, не видел там например инженера, который бы делал то, что обычно полагается делать инженеру. Все современное строительство, а тем более то, которое производится по последнему слову техники, обязательно связано со всей индустрией страны, даже индустрией зарубежных стран, но в «Соти» инженеры сидят на месте. Почему им не нужно выезжать принимать машин; машины не прибывают, не видишь здесь того, что является праздником строительства, — пуск электростанции, свет первой лампочки.

Позвольте далее сослаться на место, которое отмечено в гихловском предисловии, которое впрочем указано неверно: должна быть не 104-я страница, а 121-я. Там взята такая цитата: на это строительство шли все, кому тесно было вообще в деревнях, шли новгородцы, вотяки, псковичи и т. д., — целый абзац. Всем руководил Фадей Акишин, фигура с коньком подмышкой (конек должен символизировать строительный энтузиазм). Фадей Акишин бывал на многих строительствах и наконец попал на Сотьстрой. Вот этот выразитель стихийной строительной рабочей силы приезжает на Сотьстрой, и первый вопрос, который он задает, был: а где сортир, где нужно строить сортиры?

На предыдущей странице вербовка рабочей силы намечается таким образом: какими-то тайными, подземными тропами стало известно, что нужны рабочие, и вот они: поехали. Застают пустую станцию, дальше идут пешком. Товарищи, таких вещей не бывает на строительстве. Это — не мелочь, это — вещь крупная. Строительство у нас производится планоно, вербовка рабочей

силы производится также планоно, — существуют конторы и т. д.

Многие страницы «Соти» — я мог бы подкрепить это цитатами, но это удлинит время — не соответствуют тому, что мы наблюдаем в действительности.

Этот роман написан на материале современном. Вполне понятно, что Леонов вполне овладел материалом, тем более, то начал писать роман два года тому азад. В конце концов получилось, что оман является образом строительства, е адекватным той действительности, которую мы наблюдаем во многих чер-ах.

Я отметил эти характерные черты, не келяя вообще умалять заслуг Леонова, аоборот, желая подчеркнуть, что взята ювая тема и поэтому трудно с ней правиться досконально.

Я хочу отметить еще одну черту. В «Соти» мы видим такую человечески-рупную фигуру, как Увадьев. Может ыть, на этой крупной человеческой фи-гуре автор хотел показать переустрой-тво общественных отношений, которое являлось для него первостепенной те-мой. Но этого в романе не увидишь. Увадьев как человек вообще не спосо-бен строить отношения. Например не способен построить семейных отноше-ний, а ведь это часть общественных от-ношений и чрезвычайно важная часть. Раньше считалось, что вопросы семьи — это вопрос крепости всего государ-ства, и сейчас проблема семьи у нас про-блема очень острая, проблема, целиком уходящая в проблему переустройства об-щественных отношений. Посмотрите его семейные отношения. Он не умеет нала-дить их ни с матерью, ни с любимой женщиной. Вспомните то место, где он берет человека — Геласия — и пробует перестроить его на свой лад. Было ли это задумано так или так вышло, но с Геласием получился полный провал. Ге-ласий, в конце концов выходит из рома-на, как кастрат. Таким образом мы имеем провал в том единственном случае, когда Увадьев взялся за человека, как за сырой материал, с целью что-то из него сделать.

Затем образ Кати, для которой Увадьев — даже не Увадьев, а будущее поколение — даст букварь, напечатан-ный на бумаге, выработанной на Сотин-

ской бумажной фабрике. Этот образ присутствует в романе, в сознании Увадьева как какой-то мираж, который является недейственным началом, кото-рый как будто подчеркивает бессилие Увадьева в настоящем.

Я на этом заканчиваю с «Сотью». По-прошу вас обратить внимание на «Фому Клешнева», я по тем же категориям по-стараться сравнить этот роман с рома-ном «Соть».

Во-первых, роман «Фома Клешнев», — если взять тему романа, а темой ро-мана является перестройка интеллиген-ции, — «Фома Клешнев» представляет собой задуманный образ того, что мы действительно наблюдаем в повседнев-ной жизни. Я бы сказал, товарищи, что теперешняя дискуссия о путях пере-стройки попутничества как раз является темой романа, потому что попутничество — это интеллигенция в огромном своем большинстве, и следовательно «Фома Клешнев» — роман, написанный на тему нашей сегодняшней дискуссии. Вы види-те там ряд персонажей, начиная от сы-на профессора Буднова, дефективного юноши, который совершил дважды по-кушение на члена партии Фому Клешне-ва, затем вы видите реакционного про-фессора — его отца — Буднова, затем — Юрия Лаврова, Бориса Лаврова. Юрий Лавров — старший брат, и он го-раздо более подпадает под влияние сре-ды, реакционно настроенной. Младший брат Борис много уступчивее. Это то, что мы называем на сегодняшней дис-куссии союзник. Эта градация идет вплоть до Фомы Клешнева.

Если сравнить человеческий материал «Соти» с человеческим материалом «Фо-мы Клешнева», то ясно становится, на-сколько Фома Клешнев является произ-ведением, написанным на основе гораздо более продуманного мировоззрения, шаг-нувшего гораздо дальше вперед. Я не знаю, чему это приписать. Я совсем не хочу согласиться с тов. Эфросом, кото-рый думает, что союзники способны писать только на интеллигентскую тема-тику, что у них может быть только ин-теллигентская тематика. Может быть, это помогло Слонимскому, но во всяком случае факт, что произведение «Фома Клешнев» как образ гораздо более адек-ватен действительности, для меня совер-шенно неоспорим. Может быть это по-

лучилось оттого, что писатель-попутчик гораздо больше обречен в своем творческом методе руководствоваться мыслью, чем пролетарский писатель, именно в нашу эпоху, в нашей конкретной действительности.

Я думаю, что здесь повлияла та работа, которая была проделана рядом ленинградских писателей-попутчиков. Мне известно например, что ленинградцы интересовались таким вопросом, как вопрос мотивировки. Мне кажется, что вопрос мотивировки в искусстве, в литературе для попутчиков будет одним из центральных вопросов, по линии понимания и осознания которых пойдет перестройка попутнической литературы.

Тут конечно стоит вопрос творческого метода. Попутчики часто защищают творческий метод, покоящийся на подсознательном. Насколько это делается серьезно, насколько основательно, я затрудняюсь сказать. Мне кажется, что это часто результат желания найти какой-то общий фронт, потому что например в одной из своих критических статей Андрей Белый, разбирая творчество Вячеслава Иванова, отмечая у него развитие изобразительных средств, пишет следующее: «Пейзаж процветает словом поэта, слово же поэта процветает мыслью поэта о слове». Эта формула никак не ссылается на подсознательное, как на творческий метод. В позднейших же высказываниях, в сборнике «Как мы пишем», А. Белый присоединяется к пониманию творческого метода как пифического выборматывания.

Попутничество — явление совершенно промежуточное. Я думаю, что формула всякого промежуточного явления, это — эклектика. В докладе товарища Гроссмана я слышал много таких мыслей, которые как-будто бы подводили к тому выводу, который я предлагаю, к той мысли, что попутчик должен обратить внимание на эту характерную черту своего творчества, — эклектизм художественного приема. Когда Гроссман старается определить, почему наступил кризис попутнического мировоззрения, то он говорит о том, что попутчик пришел со старым багажом в эпоху, когда он уже был настроен совершенно созвучно с революцией, и благодаря очень усвоенному, привычному методу письма, как его определил тов. Гроссман, «тонко-

му», попутчик был обречен на то, что этот старый багаж все время замещал у него недостаток мировоззрения, которого он не мог не чувствовать, когда он становился на пути сотрудничества с революцией.

Я излагаю мысли товарища Гроссмана своими словами, но мне кажется, что я уловил верно. Так или иначе, я с такой мыслью согласен. Попутчик, принимая частично явления революции, вынужден был эту неполноту, эту ущербность своих взглядов заполнять своими старыми представлениями. Так рождалось эклектическое мировоззрение. Когда мы сейчас говорим: попутчик, это значит, что под понятием «попутчик» мыслится какое-то мировоззрение, значит, что явление, которое замкнулось, стало каким-то статическим.

Я бы считал, что мы станем на очень опасный путь, если мы будем, говоря о союзнике, думать, что союзник будет иметь какое-то собственное мировоззрение, типичное союзническое мировоззрение, подобно тому, как это было с попутчиком. Термин «попутчик» в свое время помог писателю оттолкнуться от той литературной практики и теории, которая была реакционной, он помог попутчику самоопределиться. Но в дальнейшем этот же термин не давал ему движения вперед, потому что в конце концов была усвоена такая субъективная формула — я не пролетарский писатель, но я же с революцией. Если союзник будет точно так же рассуждать, то пусть не через 10, а через 5 лет мы соберемся опять и будем дискутировать вопрос о союзническом мировоззрении, — ничего более печального для меня быть не может. Я думаю, что эклектика никогда не была и не могла быть формулой, на которой может строиться большое искусство. Мне приходилось уже напоминать такую эклектическую формулу, которая была дана Болонской академией живописи, угробившей огромное искусство эпохи Возрождения: «Кто хочет быть хорошим художником, тот должен унаследовать благородный рисунок Рима, движения и тени венецианцев, тот должен обладать... и т. д.»

Такая эклектическая формула означала крах великих школ эпохи Возрождения. И конечно никогда эклектика не была путем большого искусства. По-

тому-то мы и наблюдаем сейчас кризис нашей литературы, что кризис этот по-коится на эклектике попутнической литературы и если есть кризис пролетарской литературы, то в значительной мере потому, что пролетарская литература своего ясно оформленного творческого метода пока не имеет и ее творческий метод в значительной мере заимствован от старых классиков, отчасти даже от попутчиков. Еще раз о мировоззрении союзника. У нас есть опасность считать союзника как известную мировоззренческую категорию. Доказательством этому служит высказывание товарища Леонова, который говорил так: кто не перестроился 4 — 5 лет тому назад, тому уже трудно перестроиться. Я заметил в этом выражении ту мысль, что перестройка, это есть что-то такое мгновенное, — вот человек перестроился и кончено, дальше ему идти нечего, потому что достигнуто известное совершенство. Такое понимание перестройки совершенно лишает дальнейших перспектив. Оно так и замыкает союзника в известных границах.

Товарищ Левидов на одном из прош-

лых собраний делил наших попутчиков на кальвинистов и вольтерьянцев. Если прибегать к этим терминам, то я лично с вольтерьянцами в литературе будущее. Я думаю, что попутчики вышли со своим мировоззрением на арену нашей революционной литературы примерно так, как выходит сторож, зажигающий фонарь в кладовой, — он вышел из своей семейной обстановки, из обстановки дореволюционной интеллигентской семьи, и пронес этот фонарь до самого последнего времени. Я думаю, что таким образом он мог пользоваться только небольшим озаренным кругом, небольшим кругом, который освещался его ручным фонариком. Я напомним здесь одну цитату из произведения художника всех времен и народов—Леонардо да-Винчи: «Когда восходит солнце, разгоняя мрак для всех, ты гасишь свет, служивший тебе для личных надобностей и удобств». Если бы попутчики помнили об этом раньше, я думаю, что кризис, который мы наблюдаем сейчас, был бы не так глубок и не так в конце концов неожидан.

## V. РЕЧЬ П. ПАВЛЕНКО

— Товарищи, прения по докладу тов. Селивановского развернулись не по той линии, по которой должны развернуться. Выступавшие критиковали главным образом доклад и недостатки доклада, в то время как следовало говорить о проблеме перехода, о существовании самого вопроса, поставленного тов. Селивановским, о проблеме, стоящей перед попутчиками. Другая часть выступавших занималась совершенно беспредметными lamentациями, говорили о чем угодно, только не о том, что составляет генеральный вопрос дискуссии — может быть, вследствие непривычки к целеустремленным выступлениям, вследствие того, что мы редко собираемся говорить по литературным вопросам и не умеем концентрировать внимание на основной генеральной линии вопроса. Во всяком случае большинство выступавших товарищей не подыняли прений на большую принципиальную творческую высоту. Сегодня

прения наполовину закончены. Почему так случилось, что важнейший вопрос, пусть обще поставленный, не сумел мобилизовать внимание писателей вперед, поверх его барьеров, так, чтобы они сами наметили те проблемы, которые, допустим, забыл поставить докладчик. Ведь вопрос творческой перестройки писателей, это — вопрос не только Селивановского или меньше всего Селивановского. Это жизненный вопрос писательской массы, которая в кулуарах охотно и красноречиво разрабатывает его, а собравшись вместе, лишается дара слова и занимается сведением личных счетов.

Если мы возьмем творческие принципиальные вопросы, которые здесь стояли, то, пожалуй, лишь отчасти вопрос об интуиции, о тематике задержал внимание выступавших товарищей, да и то как-то вскользь, и об этом даже не стоило говорить, если бы не сама манера товарищей касаться этих вопросов. Когда докладчик здесь твердо отметил

свое отношение к интуиции, товарищи выступили с огульной защитой ее: интуиция, мол, в творчестве необходима, без интуиции творить нельзя. Эта защита была похожа на обвинение. Попутчики безусловно хотели защитить интуицию, но оказались бессильны сделать это. Никто не сказал о роли интуиции в своем личном творчестве, о ее связи с мировоззрением писателя, о том, какое место она занимает в творчестве каждого.

Из выступлений, пытавшихся дать принципиальное освещение, наметить какую-то новую программу, может быть, следует остановиться на выступлении тов. Эфроса, который пытается дать философское обоснование очень интересной литературной концепции. Признавая гегемонию пролетарской литературы и необходимость перестройки попутнических рядов, он высказал свое мнение, что писатели-союзники всегда будут иметь свою автономную тематику — тематику об интеллигенции. У цегр была попытка политически размежевать литературу на отдельные автономные области: РАПП — для пролетарской литературы, ВССП — для интеллигентской литературы. Это не право на будущее. Это отрывка, остатки далекого прошлого. По существу это не сближение попутчиков с пролетарской литературой, а искусственное отсечение их от литературы вообще. Выделяя тему об интеллигенции как автономную, самостоятельную, которая может быть отдана на концессию попутчикам, он занимает реакционную точку зрения, и в этом смысле его философия чрезвычайно близко напоминает заявление тов. Евдокимова, хотя внешне они как будто не похожи одно на другое. Эфрос, признавая гегемонию пролетарской литературы, требует лишь себе небольшую изолированную область, небольшую тематическую концессию. Евдокимов, не признавая гегемонии пролетарской литературы, оставляет за попутчиком ведущую роль. Автономия художественных проблем и есть право на политическое самоопределение, на свой особый путь, право на ведущую роль, и к концу концов эта точка зрения Эфроса совпадает с точкой зрения Евдокимова, хотя они этого или не хотят. Оба они

стоят на той позиции, которая ничего не прибавляет к тому, что говорилось в Союзе писателей 3—4—10 лет назад.

Речь тов. Шкляра на прошлом нашем заседании, в которой чаще всего мелькали слова об общении, о товариществе, о любви к ближнему, об уходе в царство Авербаха добрыми хорошими квакерами, эта речь тоже недалеко ушла от того, что говорили Эфрос и Евдокимов, так как переносила вопрос перестройки писателя в плоскость морали, отбрасывая общественно-политическую жизнь писателя. Он говорит: вот существует писатель и вот нищие духом выдвигенцы, и нужно сойти к ним во всей чистоте своих творческих одежд. Но разве в этом сущность вопроса? Разве только в этических моментах? Разве, если завтра Шкляр возлюбит Селивановского как брата своего, будет закончена перестройка, которая требуется от писателя? Вот тов. Скосырев любит Селивановского как родного брата и признает ударников. Но нельзя же сказать, что Скосырев наметил правильные творческие пути перестройки писателя. И повидному вообще нельзя так ставить вопрос.

Тов. Гольцев, по-деловому остановившийся на многих интересных вещах, выступил в прениях против Полонского за то, что тот не работал в Союзе писателей. Как будто основной грех Полонского в том, что он не работал в Союзе писателей. Но его по существу и не звали работать в Союз писателей. Если нужно было выступать против Полонского, то для того, чтобы говорить по существу его творчества, а не о том, что он не приходил на заседания.

Характерно для большинства выступлений, что удары были направлены мимо. В частности тов. Хаит в своей горячей речи при правильных частностях все же не ставит вопроса о путях перестройки — своей по крайней мере.

Мне казалось бы, вопрос перестройки — это критика определенного произведения, это критика своих собственных ошибок, т.е. сообщение о своих путях, которые писатель продумал, которые для него ясны, которые он предлагает для всеобщего пользования. Этого во многих выступлениях нет.



Возьмем выступление такого опытного оратора, как В. Б. Шкловский. Непривычка говорить целеустремленно сказалося на выступлении, начатом довольно правильно, в серьезных деловых тонах, относительно ошибок, сделанных в поисках перестройки. Оратория так увлекла В. Б., что он вступил в полемику с Гольцевым по истории литературы, о кино, но ничего так и не сказал об ошибках попутничества. Его речь казалась незаконченной, когда он сошел с трибуны. Разница между тоном его начала и тоном конца настолько разительна, что, думается, эта речь еще должна иметь принципиальное продолжение, где тона начала будут продолжены, потому что он дал основание думать, что может сказать нечто, освещающее новый этап его литературной работы.

Что экстрагируется из всей суммы прений? Что писатели-попутчики субъективно признают гегемонию пролетарской литературы, но повидимому еще не всегда правильно представляют эту перестройку. Когда говорят: признать гегемонию ведущего отряда литературы РАПП, то действительно для писателя большой литературной культуры ставится в вульгарном выражении вопрос: как признать ведущим отряд, пишущий хуже? Нельзя снижать понятия о ведущей роли пролетарской литературы до сравнения ее с сегодняшними, еще не всегда значительными достижениями.

Если вы вспомните выступление Слехова, он говорил, что РАПП—ведущий отряд не потому, что в нем все есть, но потому, что в нем все будет.

Если мы спросим РАПП, доволен ли он сегодняшним положением, РАПП скажет: недоволен.

Я устанавливаю, что писатель-попутчик субъективно признает гегемонию пролетарской литературы, но еще не проложил дороги к ней, не показал объективных факторов творческой перестройки. Признавая гегемонию сознательно, он еще окончательно не определил функций интуиции, а следовательно и законов чуждой нам философии и отводит ей больше места, чем следовало бы в свете диалектического понимания процессов творчества. За интуицию он цепляется просто потому, что это ему знакомо издавна, что с этим он свыкся.

И как-то еще не ясен такой простой вопрос, что интуиция, догадка, вдохновение есть функция сознания, что вдохновение тем сильнее, чем больше сознательной работы в творчестве, чем больше опыта и исследований, что «коснящая молния» вдохновения — это результат систематической организованной работы, это бессознательное продолжение сознательного процесса. Если мы станем на такую точку зрения, то во многом не придется обвинять тогда и тов. Селивановского.

Еще существует путаница в решении вопроса о новаторстве и тематике. Новаторство ныне понимают как штукарство, тогда как новаторство есть качественный показатель социальных замыслов художника. Чем шире и смелее социальные задачи художника, тем оно новее. При решении новых задач старые творческие средства изменяются или становятся совершенно ненужными. Никто из товарищей не сказал, как, начиная свою новую тему, свою новую работу, он произвел чистку своих поэтических средств, что у него отпало и что может остаться в дальнейшем. Творческий режим художника претерпевает резкое изменение. Идеологическая перестройка писателя может быть только документальной. Те, кто считают, что они перестроились, должны были рассказать о своем пути реконструкции, чтобы на этот путь встали остальные.

Перестройка писателя — это не просто признание РАПП. Это — глубокий философский пересмотр своего поэтического хозяйства в свете новых задач, встающих перед искусством нашей эпохи. И вот, если вы начнете под этим углом зрения рассматривать выступления товарищей в прениях, то увидите, что все жаловались на то, что-де плохо Союз заседает, много пьют чаю и т. д. Странно, что в творческих сомнениях многих еще играет роль чай в Союзе писателей. Все хватаются за внешние вопросы. ВССП можно улучшить и вероятно он будет лучше, но ведь в конце концов, помимо судьбы ВССП, есть другие вопросы творчества, о которых ничего не сказали, хотя только они важны и показательны в деле перестройки попутчиков в союзников и в движении их дальше. Когда здесь писатели

говорили о том, что коммунисты — это новаторы, а рапповцы не новаторы, потому что они эпигоны старых образцов, — то кто же выступил здесь не из рапповцев и показал новые формы, новые открытия? Кто указал, на какую-нибудь новаторскую вещь, отвергнув РАПП, несмотря на всю ее новизну и оригинальность? Этого не было. Смешно думать, что писатель перестраивается только до дверей обетованного РАПП, а попадая туда, получает некоторый патент на торговлю своими прошлыми идеями. Вопрос о перестройке занимает РАПП так же, как и Союз писателей. Но там она гораздо интереснее. Если вам приходилось быть на секретариате РАПП, то вы могли бы видеть, что эта организация, которую попутчики называют бюрократической, занимается тем, что выслушивает доклады писателей о их творчестве. А насквозь писательская организация — Союз писателей — занимается тем, что решает хозяйственные дела.

И наконец, когда здесь товарищи, топчась на одном месте, говорили об искусстве большевиков, то не в качестве ли хорошей концовки в своем беспредметным речам? Никто не вложил жизни в эту схему. А между тем многие признаки решительной ломки старых литературных законов уже налицо. Мне например мыслится, что всегдашней мечтой старых литераторов было приобретение прав писать людей с их действительными именами, с их настоящими адресами, чтобы читатель мог разыскать героя через адресный стол. Однако здесь был непроходимый тупик, который никогда не удалось преодолеть литературам капиталистического мира. Им были отданы во владение мертвецы и выдуманные люди. Отсюда мода на литературные фамилии героев, немногим отличающиеся от действительных имен «моделей», отсюда игра на деталях портрета, которая, совершенствуясь день ото дня, позволяла угадать в герое живое лицо, несмотря на маскировку выдуманной фамилией.

Так родилась орнаментика, искусство мелочей и дипломатических тонкостей в ущерб основным задачам искусства. И все это получало объяснение после смерти автора и героев в мемуарах последующих поколений. Мне ду-

мается, что литературные мемуары — только комментарии к произведениям, справочники к подпочвам художественных произведений. Их нужно было бы издавать вместе с художественными романами, как их реальное продолжение. Без этих справочников многие классические произведения казались бы выдуманными, как человек без своей тени. А дневники и мемуары исторических лиц или биографические биографии? Что это, как не показатель величайшего спроса на реальность?

Выдумка художника волею вещей обращается не на изобретение героев, а на живописание внутреннего мира действительно живущего человека.

Только этим спросом на реальность объясняется значение очерка или путешествия, жанров, в которых издавна канонизировано право называть настоящим именем героев и указывать их адреса. Очерк занимает у нас важнейшее место, потому что через него (пока что) начинает накапливать смелость наша литература. Она хочет сбросить условности старых литератур, приобретенные в условиях других режимов и теперь уже ненужные, и писать о живых людях со всей открытою мужественностью, как это сейчас делается в очерке о строительстве, в очерках о героях пятилетки. Вот как в новом освещении встает старый лозунг за живого человека в литературе. Открываются возможности, о которых еще и не мечталось.

Более того, книга Ставского, о которой здесь говорили как о большом явлении пролетарской литературы, действительно такое произведение, которое по своим художественным достоинствам можно смело поставить в ряду лучших произведений попутчиков. Эту книгу написал вчерашний очеркист, которого никто не читал. Книга Ставского «Разбег» написана на реальных героях, написана, так сказать, «в глаза». Тов. Макарьев говорил мне, что есть предположение создать конференцию героев «Разбега». Вот где лежат начала будущих путей. Два-три года назад это казалось фантазией. Я кстати сам написал рассказ на тему о пленуме героев одного знакомого мне писателя. А теперь на самом деле герои будут приходить к писателю и спорить с ним. Ответственность писателя утысячается, но вме-

сте с тем писатель получает права и возможности неограниченного организатора сознания и эмоций нового человека. И мы как-то мимо этого вопроса прошли.

Искусство стремится стать авторитетным и безапелляционным, как судебный процесс, точным, как математический анализ, и разве для него эти требования философско-тематической автономии, являющиеся выражением социальной обреченности их авторов. Это чувство обреченности сквозило, пожалуй, и в выступлении т. Замошкина, в той части, где он говорил обо мне. Он говорил, что я написал хорошую пролетарскую повесть — «Пустыню», но меня никогда не назовут пролетарским писателем, потому что я состою в ВССП. К моему сожалению, я не написал пролетарской вещи. Тому много причин. И старые грехи эстетизма, и неправильное отношение к материалу, и неверное представление, что в каждую вещь надо впихнуть все, что знаешь, — а ведь

знаешь обычно гораздо меньше, чем кажется самому. Успех в некоей плановой, целевой ограниченности. Надо уметь себя ограничивать единой целью. Интеллигенты не всегда это умеют делать, стремясь прежде всего блеснуть эрудицией, которая в большинстве случаев не экстракт знаний или опыта, а поза.

Я не написал пролетарской вещи к сожалению, но я не могу стать на точку зрения Замошкина, что я никогда не буду пролетарским писателем. Я думаю, что рано или поздно я пролетарскую вещь напишу, и тогда никакой Союз писателей никогда не помешает назвать меня пролетарским художником. Я думаю, что вообще надо было все споры направить по этой одной линии. Если у писателя, сегодня еще не пролетарского, нет этого категорического к себе требования вырасти в пролетарского художника, то у него вообще нет никакого будущего, ему нет смысла писать, его творчеству нет путей.

## VI. ВТОРАЯ РЕЧЬ В. ПОЛОНСКОГО

Председатель: Позвольте считать 7-е собрание открытым. В прошлый раз было намечено на сегодняшний день заключительное слово, но т. к. от ряда выступавших поступили заявления о желании дополнить свое выступление в той части, которую они считают не дошедшей до аудитории, то сегодняшний день начнется рядом выступлений, посвященных этим вопросам. Слово имеет тов. Полонский.

Полонский: Я решил взять слово именно для того, чтобы кое-что, не дошедшее до аудитории, до нее дошло. Третьего дня на дискуссии мне передали последний номер «Литературной газеты». Там я нашел резолюцию 4-го пленума правления РАПП. Вот что прочитал я в этой резолюции по моему адресу: «усилить борьбу с правооппортунистическими извращениями в вопросах попутничества, наиболее ярко проявляющимися в настоящее время в выступлениях Вяч. Полонского и находящими свое отражение в части рапповской критики». Резолюция эта была вынесена конечно в моем отсутствии, — меня не

позвали, никаких вопросов мне не задавали.

(Селивановский: И не нужно).

Селивановский говорит: и не нужно. Ему все ясно. Он все знает. Он убежден, что истина у него в руках, что он конечно застрахован от ошибок. Поэтому он любит судить и осуждать, как говорят, фамилии даже не спрашивая. Но когда вот я становлюсь в положение такого «осужденного», я испытываю затруднение: как на такой «приговор» реагировать? Передо мной постановление пленума РАПП, могущественной организации. Оно не может не иметь известного удельного веса. Постановление вынесено, запроотолировано, пущено в оборот. Правооппортунистические извращения Полонского официально, так сказать, удостоверены. Поди, апеллируй к общественному мнению. Поди, доказывай, что ты не верблюд! И мне вспоминается следующий анекдотический случай. Врач, спешно проходя по палате, пощупал на ходу голову пациента и кивнул санитарам: «В покойницкую!» Санитары, не мешкая,

положили его на носилки и понесли. Между палатой и покойницей больной проснулся: «Куда вы меня несете, братцы?»—«В покойницкую».—«Так ведь я еще жив!»—«Рассказывай, врач сказал, что помер, значит помер».

Уважаемые товарищи, вынесшие резолюцию, напомнили мне такого врача: чего долго раздумывать, заниматься исследованием вопроса; слушали и постановили: «правооппортунистические извращения» и кончено. Дальнейшее предоставить санитарам.

Третьего дня, вот здесь, читая эту резолюцию, я на секунду действительно почувствовал себя как бы на носилках: вот несут меня живого в покойницкую, впереди бойко в носилках идет Эфрос, сзади—бравый Мстиславский, а сбоку спешно роет могилу довольный Виктор Гольцев. И мне показалось, что действительно они могут меня зарыть. Положение, как видите, тяжкое. Что делать? И вот я прыгаю с носилок, я прихожу сюда и с этой трибуны заявляю, что я жив и хочу собственными своими устами говорить о своих ошибках и о том, в какой мере данная резолюция совсем не верна.

Резолюция эта вынесена по докладу Селивановского. Мне кажется, что она принадлежит также перу Селивановского. Единство «стиля» этой резолюции и его доклада — несомненно. Несомненно также и то, что резолюция о моем правом оппортунизме есть не что иное, как оргвывод из его же статьи, посвященной моему недавнему, предпоследнему крупному произведению «Концы и начала». Для меня таким образом становится ясным, почему в том же номере «Литературной газеты» репортер пишет о моем выступлении так: «В. Полонский упорно отстаивал свою пресловутую статью «Концы и начала». Почему «пресловутую»? Почему доклад Селивановского «не пресловутый», а моя статья «пресловутая»? И почему газета ставит мне в вину, что я «популярно излагал» эту статью; и не ставит в вину Селивановскому, что он, подобно мне, на том же собрании, так же как и я, популярно излагал свой доклад, прочитанный ранее на пленуме РАПП? Селивановскому это можно, а Полонскому запрещено? Я не говорю уже о том, что репортер скрыл от чи-

тателей содержание моей часовой речи. Он не привел из нее ни одной существенной мысли, он просто оклеветал меня, сведя мое выступление к одному полемическому замечанию, брошенному мимоходом. Все это, разумеется, не случайно. В этом видна система, та самая, которую проводят по моему адресу товарищи из РАПП, — система травли, система передержек, система извращения моих высказываний. И эту систему мне приходится рвать без милдальностей. Здесь причина тех враждебных, недружеских отношений, которые сложились между мной и некоторыми товарищами из РАПП. Сегодня, говоря о своих ошибках, я принужден буду говорить также о той неправде, которая систематически на меня возводится. И вот, возвращаясь к резолюции, я ставлю перед присутствующими вот прос: скажите пожалуйста, если наиболее ярко оппортунистические извращения проявляются в моей деятельности, то ведь нельзя же мою деятельность как критика отрывать от моей деятельности как редактора. Ведь я один, даже с точки зрения не диалектической. И вот я спрашиваю: как могло случиться, что те самые замечательные произведения, которые являются гвоздем дискуссии, которые являются объективным, математически ясным доказательством перехода лучших попутчиков в союзники, как могло случиться, что напечатаны они были в журнале, редактируемом оппортунистом Полонским? Почему именно в «Новом мире» появились «Соть» и «Гидроцентраль», а не в «Красной нови», не в «Звезде»? Случайно это или не случайно? Могут сказать, что случайно. Хорошее у В. Полонского, видите ли, случайно а плохое, видите ли, не случайно. Но ведь цену такой теории мы знаем. Кто-то здесь уже бросил слова о готтентотской морали. Надо ли их повторять? Впрочем не стану называть такое отношение ко мне готтентотским. Я не хочу оскорблять товарищей готтентотов. Я спрашиваю, почему это так? «Новый мир» разделяет судьбу его редактора. По адресу этого журнала сыпались всевозможные упреки. Ему пред'являлись различные обвинения, он подвергался такой придиричливой, мелкой, несправедливой критике,

как ни один другой журнал. И тем не менее «Новый мир» в последнее время дал ряд передовых произведений попутнической прозы, которые являются наилучшим показателем для характеристики положительных процессов, наблюдаемых в попутничестве. Все это происходило в то время, когда другой журнал, ставящий те же задачи, что и «Новый мир», но находившийся фактически в руках налитпостовцев, был на деле журналом, отражавшим правое, реакционное крыло попутничества. Разве «В прок» был напечатан в «Новом мире», а не в «Красной нови»? А «Повесть о страданиях ума»? А «Арабская сказка» П. Романова? А вещи Глеба Алексеева? А «Обреченные на гибель» и многое другое? Ведь весь этот период «Красная новь» редактировалась гг. Раскольниковым, а теперь Фадеевым — членами РАПП? «Новый мир» последние годы завоевал положение журнала именно левого попутничества. Именно потому на его страницах и появились знаменитые вещи Леонова и Шагинян. Это было вовсе не случайностью. И вот редактору, который нещадно браковал реакционные произведения правых попутчиков, неизменно находившие себе приют именно на страницах «Красной нови», этот редактор объявляется правым оппортунистом. Но ведь поступать так — значит извращать факты, закрывать глаза на факты. Не правда ли?

Мне думается, товарищи, не так просто объявить мою позицию сейчас правооппортунистической. Я ссылаюсь на «Новый мир» как на один из частных фактов. Я говорю о нем мимоходом. Более обстоятельно я буду говорить при анализе статьи Селивановского. Не хочу сказать, будто в моей многолетней литературной деятельности, протекавшей в страшно трудных условиях, не было правооппортунистических ошибок. Разумеется, они были. Но ведь надо же понимать: подобно всем вам, и я не стою на месте. Об этом-то я и говорил прошлый раз. Относясь к своим ошибкам как диалектики, к моим ошибкам вы относитесь как механисты.

Обращаясь к статье Селивановского, я хочу на ее анализе показать, насколько определение моей теперешней пози-

ции, данное в революции РАПП, неверно, как сущность моих взглядов на нынешнее положение литературы неправильно, извращенно толкуется моими дорогими гг. из журнала «На литпосту». Я буду это говорить не в порядке личной реабилитации. И не в порядке «исповеди» в грехах. В «Литературной газете» напечатан возмутительный отчет о последнем нашем заседании. Я уже говорил о нем. Он возмутителен потому, что продолжает ту же систему травли В. Полонского, травли беспартийной, травли, которая доходит до того, что в отчет вставляются фразы, которые могут бросить тень на В. Полонского, но которые никем не были сказаны. «Лит. газета» приводит в отчете следующие слова Рейзена: «наши теоретики Эфрос и Полонский» — сказал будто бы Рейзен. Поставить Полонского, революционера, коммуниста, на одну доску с Эфросом, объединить их как «теоретиков» ВССП — это, по мнению редакции «Лит. газеты», должно крепко дискредитировать Полонского. Но ведь все дело в том, что этих слов — я полагаюсь на свою память, и вы, сидящие здесь, это подтвердите — Рейзен не говорил. Вот в моих руках стенограмма его речи — их нет и в стенограмме. Значит?.. Значит репортер эти слова выдумал, он совершил подлог, чтобы клеветнуть на меня, и сделал это с благословения редакции «Лит. газеты», которая думает, что в борьбе с Полонским все средства хороши.

Заключительный абзац отчета чего стоит: Полонский-де, под влиянием «резкой» критики некоторых товарищей стал «просить» аудиторию: выслушайте мою «исповедь». А ведь дело обстоит иначе. Вы ведь были свидетелями: возмущенный демагогией некоторых товарищей, я заявил о готовности моей развернуть здесь картину моих ошибок, которых не скрывал и не скрываю.

Мне приходится говорить об этих вещах потому, что они в сознании тех товарищей, которые моих работ не читали, могут создать фикцию, будто Полонский действительно — махровый оппортунист. Молодые товарищи, которые не знакомы с истинным положением дела, могут действительно поверить этой системе травли: она ведь не проходит без следа.

И если я сейчас хочу остановиться на статье Селивановского, то опять-таки не в порядке личной реабилитации. Я хочу поговорить по существу о тех процессах, которые происходят в попутничестве, о чем мы сейчас дискутируем и лишь мимоходом снять с себя ряд клепов. На тему нашей дискуссии я в январе этого года напечатал большую статью. Вот эту статью и извратил Селивановский. Именно с помощью извращения и передержек он получил возможность говорить обо мне сейчас, в 1931 году, как о правом оппортунисте.

Многие из вас эту статью вероятно читали. Но я прошу все-таки позволить мне цитировать материал так, как это мне нужно для моей задачи, хотя бы мне пришлось цитировать строки, хорошо вам знакомые.

Вот как начинает свою статью тов. Селивановский:

«Вяч. Полонский относится к числу критиков, не торопящихся со своими высказываниями по спорным вопросам литературы. Он обычно предпочитает мудро молчать, выслушивать других и лишь после того выносить свое решение» и т. д.

Таково начало. Характер статьи уже определен. Полонский здесь трактуется как субъект, трусливо мыслящий, повторяющий чужие зады. Обратимся к фактам. Вспомните борьбу с Лефом. Я напал на Леф, когда он был в зените славы, когда с ним блокировался РАПП. И я напал на него один. (Голоса: Правильно!).

Я написал статью «Леф или блеф», и в ней поставил вопрос о судьбе Лефа и предсказал конец этого течения. А что делали вы, товарищи рапповцы? Вы тогда блокировались с Лефом, вы тогда защищали Леф от моей критики. Вы тогда создали с ним единый фронт и дрались против меня, — Авербах плечо к плечу с Левидовым, Селивановский рука об руку с Шкловским. Через полтора года после моей статьи даже слепым стало ясно, что Леф был действительно блефом, — ибо он лопнул, умер, разложился. А теперь налитпостовцы в числе своих больших заслуг ставят борьбу с лефом и с лефовщиной.

Возьмем другой пример. Помните шум с теорией «социального заказа»? Кто о ней не говорил! Ее склоняли на всех

перекрестках, — в том числе и рапповцы. Она завоевала как будто всеобщую популярность. Кто всерьез выступил против теории? Против кого на защиту этой теории пошли единым фронтом и Коган, и Горбачев, и Нусинов, и Брик, т.-е. правые и левые? Да все против того же Полонского. Поинтересуйтесь, почитайте статьи, — вся эта дискуссия прошла в «Печати и революции». Вы убедитесь в правоте моих слов.

Возьмем еще случай. Моя борьба с Рязановым: разве я ждал, чтобы был решен вопрос о том, пользуется ли моральными критериями Рязанов в своей деятельности или не пользуется. Я выступил против Рязанова, а ведь он был — силища, не чета Лефам. Убоялся я мощи Рязанова? Струсил? Вы знаете — не убоялся и не струсил, хотя эта борьба мне дорого стоила. Возьмем мой столкновения с Обществом крестьянских писателей. Допустим, что я был неправ. Я действительно допустил грубые ошибки в полемике с ними. Но о чем говорят эти ошибки? Да именно о том, что я не ждал, когда кто-нибудь вопрос разрешит. В том-то и дело, что я сам ставил вопросы и решал их, не ожидая, чтобы кто-нибудь их разрешил за меня. И здесь, выходит, Селивановский писал про меня неправду.

Напомню наконец историю с «Перевалом». Перевальцы одно время были моими друзьями, — это известно. Они работали в журналах, которые я редактировал. Но наступил момент, когда наши пути стали расходиться. А расходиться они стали до того, как вопрос о «Перевале» был решен дискуссией в Комакадемии. Товарищи Павленко и Слетов, которые были перевальцами, могли бы рассказать о моих переговорах с «Перевалом». Я задолго до дискуссии с «Перевалом» указывал перевальцам на необходимость пересмотра их платформы, сделавшейся реакционной, о необходимости чистки «Перевала» от правых элементов, о создании новой, революционной платформы. В одном из закрытых заседаний в ноябре 1929 г. — там был и т. Павленко — я выступил против «Перевала». Это было в то время, когда Горбов приходил в редакцию «Нов. мира» и заявлял, что он и Катаев встречаются с Авер-

бахом и Сутыриным и ведут какие-то разговоры о чем-то в роде блока. Это было похоже на правду: в то время РАПП еще не «решил» вопрос о «Перевале». И вот на заседании, в ноябре РАПП еще не «решил» вопроса о «Перевале», я выступил с речью, в которой доказывал, что «Перевал» не может существовать далее с той платформой, какая у него есть, что он должен перестроить эту платформу, что он, если хочет существовать в нашем литературном движении, должен сделаться организацией левых попутчиков, а не сборищем левых и правых, каким он был. Это мое выступление — сохранилась ведь стенограмма — вызвало взрыв бешенства в «Перевале». Я помню незабываемое зрелище, — на этом заседании против меня образовался блок перевальцев с налитпостовцами, и Горбов под рапповские аплодисменты громил меня как врага «Перевала». После этого моего выступления Горбов и написал свой пасквиль по моему адресу, нашедший приют в «Красной нови» — под крылом Ивана Беспалова, прославившегося своей последовательностью и принципиальностью. Тогда и Павленко, и Слетов, и все прочие, — также как и многие рапповцы и друзья рапповцев, — единодушно поддерживали Горбова, думая, что его хилой рукой наконец-то меня покарает Немезида. А что произошло вслед за этим? Не вышел блок РАПП с «Перевалом», покинули «Перевал» и Слетов, и Павленко, и Пакентрейгер, и многие другие.

Я вспоминаю, что и Макарьев здесь, совсем в духе Селивановского, бросал на меня густую тень: я-де, — уверял он, — выступаю так, будто хочу всех примирить, всем понравиться. Но ведь присутствующие при нынешнем хотя бы моем разговоре могут удостовериться, что т. Макарьев возводит на меня поклеп: будто бы я хочу так уж понравиться Селивановскому и Эфросу, Левову и Макарьеву? Будто бы я, нападая на «Леф» или на «Перевал», или даже на некоторых рапповцев, являюсь тем примиренцем, какого здесь изобрал Макарьев? Вздор все это и выдумка, продиктованная чем угодно, но не честным и беспристрастным отношением к противнику.

Я прошу извинения, товарищи, за это

отклонение. Но ведь необходимость иногда говорить о себе и об отношении ко мне моих дорогих противников, эта необходимость вынужденная. Не по моей доброй воле приходится мне обращаться к этим личным моментам.

Позвольте теперь вернуться к статье Селивановского. Обратимся к существу ее. Он обвиняет меня в том, что я извращаю сущность процессов, происходящих в попутничестве. Маршрут, указываемый мною попутничеству, неверен, — уверяет он. И тот характер нового человека, которого я выставляю как «героя нашего времени», этот мой «герой», новый человек, по словам Селивановского, оказывается не кем иным, как фединским Сваакером.

Если бы это было действительно так, если бы я героем нашего времени объявил Сваакера, то, разумеется, Селивановский прав кругом, а я действительно правый оппортунист. Но если я докажу, что Селивановский не прав, что герой мой — не Сваакер, что в данном случае я ни с какой стороны правым оппортунистом не являюсь, что Селивановский меня оклеветал, тогда вы увидите, что из нас двоих бить надо не меня, что бить меня — преступление, и надо тут кому-то поменяться местами. (С м е х.)

Для этой цели, товарищи, позвольте мне теперь процитировать те места из статьи «Концы и начала», которые имеют прямое отношение к нашей дискуссии. И эту статью я написал, не дожидаясь директив т. Селивановского. В ней я наметил схему, которая мне кажется верной для данного периода советской литературы.

«На наших глазах происходят небывалая ломка и небывалое строительство. В корне меняются производственные отношения. Рушатся быт, понятия, вкусы. От буржуазного порядка в буквальном смысле не остается камня на камне. Разламываются вековые устои жизни. Умирает религия. Рассыпается старая семья. Терпит крах старая философия. Утрачивают власть старые эстетические догмы. Опрокидываются вчера еще неколебимые научные идеи и методы. Все претерпевает решительные перемены. Земля встала дыбом — все переверотилось, сдвинулось со своих

мест. Ценности, недавно обладавшие гипнотической силой, теряют всякий кредит. Вековая культура, феодальная и буржуазная, построенная на частной собственности, на рабстве масс, индивидуалистическая, эстетская, гурманская, утонченная, барская культура падает на наших глазах. Гаснут фетиши буржуазного мира, отступают перед победоносным марксизмом-ленинизмом, меняющим лицо науки и лицо самого мира.

Мы хороним буржуазный порядок. Мы выкорчевываем корни капитализма в нашей стране, строим новые общественные отношения, новые культурные формы, новое искусство. Наш быт обновляется всесторонне. Еще не исчезло старое. Но оно отмирает, разваливается, либо в силу внутренних причин, либо под разрушительным воздействием пролетариата, который для своего торжества расчищает место от ветхого старья. Борьба старого и нового, отживших форм и форм нарождающихся, «концов» и «начал» пронизывает всю нашу общественность, все стороны нашего быта, идеологического и материального.

«Наша литература живет и дышит воздухом грандиозных сдвигов. Она находится сама в состоянии перестройки. Она отражает то новое, что приносит с собой эпоха ломки и строительства».

Вот, товарищи, отрывок, дающий представление об основной установке этой статьи. Я предлагаю вам решить: можно ли эту установку назвать правооппортунистической (Нусинов: Скажите нам что-нибудь поновее!).

Нусинов требует, чтобы я подал ему обязательно что-нибудь новенькое.

Но я сейчас не хочу хватать звезд с неба и предоставляю это Нусинову. Почему я обязан быть изобретателем, а Нусимов обязан жевать жвачку? Мне, может быть, именно и хочется сейчас походить на Нусинова. Разве я не имею права вслед за Нусиновым повторять вещи, которые ему кажутся затертыми истинами? (Голос: Всем кажутся). Но если вы такие умные, о чем нам дискутировать? Если вы все науки превзошли и все знаете наперед, зачем вы пришли сюда?

(Нусинов: Мы думали, что вы скажете что-нибудь свежее.)

Но ведь я еще не успел ничего сказать, а вы меня уже прерываете. Дайте срок: может быть, что-нибудь и услышите. Я ведь привел выписку из статьи, напечатанной мною много месяцев назад. Ее положения конечно могли за это время устареть. Но суть не в том, новы они или не новы, суть в том, дают ли они основание для квалификации их как правооппортунистические положения? Нет, не дают.

В прочитанном мною отрывке, определяющем установку всей статьи, нет ничего правооппортунистического, если, разумеется, не подходить к ней с сугубым пристрастием. В последнем случае можно где угодно найти что угодно.

Игнорируя эту установку, тов. Селивановский уверяет своего читателя, будто все грандиозные проблемы, происходящие в нашей литературе, я свожу к смене героев. В этом как будто вся суть. Но это — чепуха. Селивановский припишет мне какую-нибудь глупость, а потом прыгает вокруг нее и ликует: смотрите, какая ерунда! Ерунда, действительно, Сочинил-то ее Селивановский, а не я. Я писал совсем другое, я писал о смене старого порядка новым порядком, о грандиозных сдвигах, происходящих во всех областях жизни, быта, культуры, философии, об отмирании буржуазного порядка и о зарождении порядка нового, пролетарского. И смена «старого героя» новым — лишь одно из частных следствий этой грандиозной смены культурных эпох.

Допустим, что здесь нет ничего нового. Допустим, что все это до меня уже сказал Нусинов. Предположим, что все это так: разве об этом спор? Разве меня обвиняют в правом оппортунизме только потому, что я мало сказал нового? Нет. Меня обвиняют за существо высказанных мною в этой статье мыслей, за мою постановку вопроса. А я утверждаю, что это есть диалектическая, ленинская постановка вопроса. Вы упрекаете меня, что она не новая. Но одно из двух: или моя установка правильная, не оппортунистическая, и тогда она может быть новой. Или, если вы требуете, чтобы она была обязательно новой, она конечно сможет оказаться оппортунистической в той мере, в какой она отходит от марксизма-



ленинизма. Но ведь такого отхода у меня нет, вот в чем ваша беда. Вы меня обвиняете, будто я свожу перемены, происходящие в литературе, к смене героев. Отвечаю: это ложь. Я говорю о смене классов, о смене производственных отношений. Я говорю о гибели старой культуры, включающей и науку, и искусство, и философию, и психологию и т. д. Слушайте:

**«Смена старого порядка повлекла за собою радикальные сдвиги в самом существе литературы. Меняются герои, тематика, образность, весь сложный набор изобразительных и выразительных средств. Меняется стиль и искусство. Приходят люди с другим классовым мировоззрением, с новыми вкусами, с иным словарем, с небывалыми задачами, предъявляемыми искусству».**

**«Происходит грандиозная перестройка, меняется лицо науки и лицо самого мира»** — так писал я. Между прочим меняются и герои. И вот тов. Селивановский, критикуя мою концепцию, заявляет, что мой новый герой — **Фединский Сваакер**. «Сомнений нет, — написал т. Селивановский в «Лит. газете», — это — кулак Сваакер из «Трансваала» Федина».

У него на этот счет нет сомнений! Но в таком случае разрешите мне показать вам портрет моего «Героя нашего времени», того «нового человека», о котором идет речь у меня и которого мой уважаемый критик хочет подменить портретом своей собственной фабрикации. Имейте при этом в виду характер моей статьи. Мне хотелось героя наших дней противопоставить той фигуре дворянско-буржуазной литературы, которая была характерной для истекшего периода. Ведь был такой «стержневой», что ли, тип, который проходит по многим произведениям нашей литературы XIX в., это некий облик интеллигента-барина, о которым писал Некрасов: «по свету рыщет, дела себе исполинского ищет». Ведь есть общие, сходные черты и у Онегина, и у Печорина, и у Чацкого, и у Рудина, даже у Базарова, Ивана Карамазова и т. д. И вот из этих общих черт, из фрагментов, из мелких штрихов я хотел в статье своей дать некий синтетический портрет «героя старой литературы» буржуазно-дворянского периода, а рядом с ним, против него по-

ставить облик человека, в наши дни идущего ему на смену. Может быть, мне это не удалось. Может быть, сделано это плохо — не буду спорить. Я не художник. Но ведь спор идет не о том, художественно или не художественно я портрет нарисовал. Спор идет о конкретных чертах самого портрета: кулак — это Сваакер — или не кулак. Словом, прав Селивановский или, наоборот, он неправ на все четыре стороны. Так вот позвольте прочесть характеристику человека, которого Селивановский обзывает Сваакером:

**«Из развалин старого общества, стряхивая пыль прошлого, подымается человек, главной чертой которого является революционная активность. Он стоит за фабричным станком, держит в руках винтовку, руководит государством, делает большие дела и незаметную работу, строит заводы и колхозы, прокладывает шоссе, железные дороги, ставит совхозы-гиганты, коллективизирует деревню, организует печать, ликвидирует кулака, воздвигает школы, борется с неграмотностью, истребляет разгильдяйство, громит религию, счищает грязь, накопившуюся веками, в поту и пыли, засучив рукава, опрокидывает миллион препятствий, подвижник труда, враг фразы, солдат революции, ударник, массовик. Он еще не оформлен как художественный образ. Его оформлением и должна заняться литература».**

Товарищи, таков портрет человека, которого я считаю героем нашего времени. Об этом человеке Селивановский говорит: **«это — кулак Сваакер!»** По Селивановскому выходит, что Сваакер у нас стоит во главе государства, строит совхозы, колхозы-гиганты, громит религию, защищает страну нашу с винтовкой в руках и так далее, и так далее. Селивановский утверждает это, не моргнув глазом. Но есть же границы! Ведь я пишу не в безвоздушном пространстве! Есть же люди, которые мои статьи читают! Если Селивановский, выступая против моей опубликованной в печати, т.-е. доступной всякому читателю, статьи, осмеливается так дерзко извращать ее смысл, и на основе этих своих извращений квалифицирует ее содержание как правооппортунистическое, товарищи, я скажу: дальше ехать некуда. Но при таких методах критики за-

чем нам спорить, зачем обсуждать какие-то тезисы, искать какие-то общие пути, бороться с пером в руках, когда придет товарищ и в «Лит. газете», органе федерации писателей, извратит, изуродует, исказит тебя самым возмутительным образом и пустит это свое искажение в оборот.

А ведь резолюция пленума РАПП, объявляющая мою нынешнюю позицию правооппортунистической, была написана на основании именно этого критического извращения моих взглядов. Я спрашиваю, где же кулак Сваакер в моей концепции? Его нет. Он выдуман Селивановским. А тот новый «герой», новый человек, о котором писал я в «Концах и началах», — он действительно живет, требует к себе внимания и продвигается в наше искусство. Положение многих попутчиков тем-то и трагично, — я об этом говорил в своей первой речи, — что они не учитывают происходящих перемен. Они как будто не охватывают их грандиозности. И вот здесь-то, говоря о старом и новом человеке в литературе, я и намечал разграничительные линии, которых не захотел понять т. Селивановский. Вот что писал я о «новом человеке»:

«Он истребляет идеализм, мистицизм и всякое поповство. Старый интеллигент, воспевая разум, поклонялся вместе с тем бесознательному, загадочному, тайному, непознанному. Современный человек — рационалист по преимуществу. Его рационализм вытекает из его реализма: он хочет знать точно, строить верно, разрушать уверенно. Он вместе с тем диалектик-материалист. Это должно застраховать его от метафизического материализма. В этом смысле он не походит на интеллигентного пролетария шестидесятых годов.

Старый человек был эстетом. Он обожал искусство независимо от того, куда оно вело. Нынешний относится к искусству критически. Он принимает его лишь в той мере, в какой искусство служит борьбе за жизнь. Он не ударяется в нигилизм, как шестидесятники или футуристы; не отрицает Пушкина, не отвергает Толстого. Напротив: с любовью учится у них. Он умеет восторгаться лирической поэмой и психологическим романом. Он широк настолько,

что воздаст должное Тютчеву и Фету. Но он знает, что «довлеет дней злоба его», что сегодняшний день живет своими интересами, иными запросами, а значит, — новыми формами и жанрами. Тютчев и Фет — прекрасны для своего времени. Но нынешние Феты и Тютчевы не должны походить на них, как не походит день сегодняшний на день вчерашний. Борьба — прежде всего. Общественный интерес на первом плане. Таков закон эпохи. И нет исключений для искусства. «Поэзия» искусства не противопоставляется прозе «жизни». Напротив. Время требует, чтобы искусство впитало в себя «прозу» действительности, освоив, перевоплотило в художественные формы. Прежде искусство могло замыкаться в башню из слоновой кости со стеклами цветными, уходить в пустыню, становиться в сторонку от потока жизни. Современный человек хочет, чтобы искусство и жизнь были неотрывны, чтобы жизнь говорила языком искусства на улицах, площадях, в фабричных зданиях, в колхозах, в окопах. Искусство, по его мнению, не должно быть белоручкой: пусть и его будут руки мозолисты, а голос грубоват. Музе революции не пристало быть неженкой. Искусство эпохи пролетарской перестройки мира не может походить на тепличное растение.

Перед нами новые задачи, трудные, непривычные, неслыханные. Но таково наше железное время борьбы. Все неспособное, хилое, изнеженное уходит. История производит свой отбор. Что выдержит — хорошо, годится. Что не выдержит — туда ему и дорога.

Тема о старом и о новом человеке — центральная тема советской литературы. В то время как литература, связанная с буржуазным порядком, продолжает лелеять и беречь облик уходящего в прошлое интеллигента, литература, вырастающая в условиях порядка пролетарского, напротив, рвет с традиционным героем, увлеченная созданием нового образа. Именно по этой линии нетрудно провести разграничительную черту между литературой буржуазной (и новобуржуазной), попутнической и пролетарской».

Здесь т. Селивановский и бросает мне возражение, убийственное, по его

мнению. «Разве этот герой, — спрашивает он, — живет в буржуазной (и новобуржуазной) литературе? Разве этот герой вдохновил украинского контрреволюционера Ивченко в романе «Чьи силы» или Замятина в «Мы», или Пильняка в «Кр. дереве»? Разве буржуазная опасность в литературе в том, что писатель отстаивает право на сентиментальность, а не в том, что буржуазная литература, активизируясь, оказывается агентурой мирового империализма, производителем идеологических диверсионных актов, трибуной контрреволюции?»

Вопрос, что и говорить, поставлен круто. Иной читатель, пожалуй, подумает, будто то, что Селивановский с негодованием отрицает, я именно и утверждаю. Но ведь все дело в том, что вопрос Селивановского бьет по воздуху. Мы говорим о разных вещах. Я говорю о тех традициях, которые переплелись из старого порядка, из старой литературы в наши дни. Я утверждаю: эти традиции, заключающиеся между прочим и в культивировании облика старого русского интеллигента, героя старой литературы, продолжают прочней всего существовать в буржуазной литературе; с ними уже ведется борьба в литературе попутнической, лишь частично отражающей вторжение новых условий, разрушающих старые формы и старые традиции. В пролетарской литературе влияние этих традиций минимально. Правильно это или неправильно? Будет это отрицать Селивановский или не будет? Я думаю — не будет. Это так на самом деле и есть. Вот об этом-то я и говорил. А в ответ на эти мои правильные замечания Селивановский горячо замечает: «Разве этот герой вдохновил украинского контрреволюционера» и т. д. Конечно не этот! Конечно его вдохновила классовая ненависть, классовый интерес и т. п. Но пусть Селивановский проанализирует наиболее крупные произведения буржуазной и новобуржуазной литературы и выяснит, в каких литературно-художественных традициях они сделаны, каковы особенности психики их героев, их краски, их стиль, — он должен будет согласиться, что по линии художественной они продолжают традиции старой русской литературы. В этом дело и со-

стоит. Об этом-то я и писал. И здесь, в русле одних и тех же старых литературных традиций, работали и Борис Савинков, и Иван Шмелев, и Куприн, и Бунин, и Зайцев. Герои могли совершать различные конкретные действия, — у Савинкова напр. вести контрреволюционную борьбу, у Бунина вспоминать свое прошлое, у Зайцева грустить о прошлом. Но художественные тона, но краски, но психика героев, их навыки, их духовные облики, их стиль — все это было продолжением старых, ставших традиционными черт дворянско-буржуазного периода. В этом-то и заключается эпигонство буржуазной и новобуржуазной литературы. В ней нет и не может быть ничего нового. Она живет и не может не жить старым. Она обречена. Сила попутничества была в том, что оно уже рвало с традицией и воспринимало новое хотя и не последовательно, не всегда решительно, не всегда до конца. В попутнической прозе мы видим эту борьбу, эту смену традиционных черт новыми и в характерах героев, и в красках, и в формах, и т. п. Разве при обсуждении «Соти» Леонова или «Гидроцентрали» не проскальзывали здесь замечания о том, что и в героях Леонова, и в героях Шагинян есть еще черты старого русского интеллигента? Это говорилось и об Увадьеве, и об Арно Аревяне. Так ведь это то самое, о чем писал я и чего тов. Селивановский не понял или не хотел понять. Конечно содержание контрреволюционной прозы нынешних буржуазных писателей имеет своим материалом идеологические диверсионные акты, борьбу с социализмом и т. д. Это сушая правда, что она является агентурой мирового империализма. Но ведь эта «агентура мирового империализма» работает приемами и методами старой, дворянско-буржуазной литературы, — вот что утверждал я. Разве это отрицает т. Селивановский? Нет. Но тогда о чем же он спорит? Он и не спорит. Он просто подменяет понятия, а потом сам приходит в справедливое негодование.

Отсюда можно сделать заключение, что культивирование старых форм, старых канонов, старых образов, старых переживаний есть не что иное, как эстетическая форма политической борьбы,

как эстетическая форма контрреволюции. Даже если бы здесь не было героя, который объявлял поход против социализма, здесь есть защита его, опоэтизирование старины, эстетическая реакция. Я считаю, товарищи, что в этом вопросе Селивановский неправ трижды.

Неправ он и в вопросе о лирике. Между прочим Селивановский, желая нанести мне бесчестье, сделал мне большую честь, поручив карикатуристу иллюстрировать его нападение на меня. Очевидно Селивановскому нехватало собственных сил. Он это чувствовал и позвал на помощь художника. Правда, художник оказал ему плохую помощь, потому что карикатуры получились халтурные, бездарные. Я не думаю, чтобы мои слова были обидны для т. Селивановского. А если обидны, тов. Селивановский, не сердитесь. Я лично на васнисколько не обижаюсь. Не обижайтесь и вы. Я не хочу лично вас обидеть, но я не могу драть в бархатных перчатках, когда у вас на руках железные.

(Селивановский: Вы думаете, что ваша речь, это — драка?)

О нет, это простая любезность (Смех).

Итак, я перехожу к вопросу о лирике. Это очень существенный вопрос. Но для того, чтобы меня не обвинили в замазывании своих неправильных формулировок, позвольте точно прочитать следующее:

«Тютчев и Фет прекрасны для своего времени. Но нынешние Тютчевы и Феты не должны походить на них, как не походит день сегодняшней на день вчерашней». Но вот приходит т. Нусинов и возражает, что будущие Тютчевы и не будут походить на этих Тютчевых... (Нусинов: Я не говорил этого). (Голоса: Говорил.)

Т.-е. он повторяет именно то, что говорил я. Он повторяет мои зады, но делает это с запальчивостью и раздражением, и выходит так, будто я, Полонский, говорю страшно банальные вещи, а он, Нусинов, крайне оригинален. Я ведь подчеркивал, что Феты и Тютчевы будущие не будут походить на вчерашних.

Но в наши-то дни, когда кипит борьба, когда речь идет о перестройке мира, когда общие интересы отодвигают в сторону интересы узко личные, интим-

ные, эгоистические, — в такие дни, писал я, на долю лирики выпадают самые серьезные испытания.

«В эпоху диктатуры «обидега» над «личным» лирика уединенной души отступает на далекий план. «Когда говорят пушки, молчат музы» — кто не ссылался на этот афоризм! Но в нем — доля лжи. Мы приводили Брюсова: «Буря с песней вечно сестры». Не все, оказывается, под гром пушек смолкает музы. Замыкают уста те, что были созданы «для звуков сладких и молитв». Но революция имеет своих муз. Правда, их нельзя уподобить мифологическим созданиям. Их голос груб, руки мускулисты, а кожа покрыта загаром и пылью, но они умеют петь боевые песни, и эти песни остаются как настоящая литература, литература революции. Разве мало таких песен создала наша борьба? Их лирический пафос не в тончайших переживаниях нежных душ, не в печали от неразделенной любви, не в восторгах от шороха листьев, от дуновения полусонного ветерка, от соловьиной трели и т. п. атрибутов канонической лирической поэзии. Лирика революции — лирика борьбы, не личной, но общественной, не интимных переживаний, а классовой ненависти, передающая восторг не от соловьиных трелей, но от побед и достижений. Это — по преимуществу политическая лирика, лирика гражданская в буквальном смысле, проникнутая общественными, классовыми мотивами. Она заглушает лирику личных чувств и переживаний».

«Личной лирике, почерпающей мотивы из глубин изолированной души, величайшую трагедию приносит время, когда не остается места для лирически-интимных излияний. В нашу эпоху Ф. Тютчев был бы несчастным человеком. Фет ушел бы в молчание. Ибо их музы — именно те, которые молчат в грозу. Что могут они, угончегно-барские, сказать нашему времени о нашем времени? Революция самым фактом своего существования выбрасывает из обихода многое множество вещей, для нее безразличных. Когда стоит вопрос о перестройке мира, «шопот, робкое дыханье» могут подождать. От этого страдают лирики и даже само искусство? Что ж делать!

Закон революции — высший закон».

И вот, прочитав эти строки об изнеженных музах прошлого и о музах революции, мой друг Селивановский заставляет художнику Елисееву карикатуру и просит его разоблачить эту музу революции без пощады, и рисует сей художник бабищу дебелую и румяную, но безобразную, и выводит т. Селивановский эту дурную бабищу на страницы «Литгазеты» и уверяет всенародно: «вот-де, какое Полонский имеет представление о музе революции». И выходит, что я должен отвечать за постыдное воображение тт. Елисеева и Селивановского. Но я отвечать за них не хочу. Я просто обращаюсь к читателю и прошу проверить моих кригиков. О чем я говорил? Я говорил о том, что в эпохи гражданских войн на долю интимной лирики, лирики уединенной души, падают самые серьезные испытания. Но я не говорил, будто революция уничтожает лирику. Будто революция не куждается в лирике. Приписать мне такую мысль — а мне приписывали ее и т. Рейзен, и т. Макарьев, и т. Селивановский — значит либо не понять меня, либо, поняв, умышленно извратить. И мне нетрудно ведь показать это. Достаточно процитировать то самое место в той же самой статье, на которое закрывают глаза мои уважаемые друзья. Вот оно:

«Было бы ошибкой думать, будто революция обрекает лирику на смерть. Такое утверждение неверно в корне уже по тому одному, что само искусство революции — если это будет настоящее искусство — лирично, как лирично искусство вообще. Подчеркиваем: речь идет не о лирике вообще, но о лирике уединенного сердца, живущего и страдающего лишь интересами своего изолированного «я».

Ясно сказано? Как нельзя более ясно. Но что здесь правооппортунистического? По совести говоря, если говорить честно, глядя в глаза, здесь только при большом патологическом желании можно найти правый оппортунизм. Но Селивановский, быть может, проявлением правого оппортунизма считает мое понимание «музы» революции? Он, быть может, хочет сказать, что никаких муз вообще нет? Правильно. Но ведь я

употребляю это слово как метафору. Разве я буквально говорю о музах? Это — оборот речи. Говорят же люди еще и теперь: «когда грохочут пушки, молчат музы». Это повторяли даже рапповцы. Так что ничего нет ужасного в том, что я противопоставил «музу» революционной поэзии — классическому, дворянско-буржуазному представлению музыки интимной лирики. И, по-моему, революционная «муза», если воспользуемся этим понятием, не может походить на старую, изнеженную музу с нежным голосом и тонкими пальцами. Я и писал, полагаю, правильно, что музам революционной поэзии не пристало быть неженками. Сказал же Демьян Бедный про себя: «мой голос огрубел в бою». Что тут было плохого? Хорошо сказано, И вот тот самый Селивановский, который года два провозглашает необходимым «одемянить поэзию», этот самый Селивановский, как дело дошло до муз, становится на защиту эlegantных муз прошлого. Ему кажется оскорбительным, чтобы муза революции и — вдруг! — имела грубый голос и мускулистые руки, покрытые загаром и пылью. Это правый оппортунизм, заявляет он.

Вернемся однако к лирике. Это пустяки, когда Рейзен заявлял, будто я, Вяч. Полонский, душу литературу, не позволяю ей развернуться, изгоняю из нее лирику. Только этого обвинения не доставало! Стихотворение Пастернака о грудной клетке, сделавшееся знаменитым, одно из замечательнейших лирических стихов наших дней, было напечатано именно в журнале, который редактирует Полонский. Это стихотворение сейчас у всех на устах. Кто его не цитирует? Селивановский его читает наизусть. И вот, когда оно еще не было напечатано, а лишь набрано, друзья мои, прочитав его, сказали: «а не выбросить ли нам это стихотворение? В нем что-то есть». Когда я его прочитал вновь, я увидел, что в нем действительно что-то есть. Но так как это «что-то» — замечательная лирика, открывающая нам на мгновение «грудную клетку» одного из талантливейших наших поэтов, я считал, что его напечатать необходимо.

Я могу поэтому заявить, что упрек, будто моя точка зрения на лирическую

поэзию мешает пролетариату создать настоящую пролетарскую лирику, — несправедлив. Я лирику люблю не менее Селивановского. Правда я ее вероятно люблю иначе, чем он. Я получил основное воспитание до революции. И это воспитание дало мне некоторый груз прошлого. Я напомним вам Маяковского, когда он говорил о трудностях его внутренней перестройки. У меня также много от литературы и искусства старого порядка. Я не криваю этого. Но с этим наследством я каждый день борюсь. Возможно, что отсюда и пристрастие мое к лирике. Но когда передо мной как перед теоретиком становится вопрос о том, каково положение лирики в эпоху революции, то, люблю я ее или не люблю, говорю: в эпоху революции, в эпоху, когда в порядке дня стоит реконструкция мира, не время для лирики «уединенной души». Не лирики вообще, а именно «**лирики уединенной души**». Я прочитал вот то место, где я подчеркивал, что речь идет не о лирике вообще, но о лирике уединенного сердца, живущего и страдающего интересами своего собственного «я». И вот по поводу этих строк, в которых тоже нет ничего правооппортунистического, вы, т. Селивановский, заявляете, что, если уберутся все Феты и Тютчевы, туда им и дорога, ибо они были бы в наше время контрреволюционерами. Но ведь это опять передержка. Разве я говорил об «исторических» Фете и Тютчеве, Фетекрепостнике, о Тютчеве — царском дипломате? Я привел их имена в качестве представителей определенного вида поэтического творчества. А вы возражаете: Тютчев был бы контрой. Может быть, и был бы. С точки зрения Переверзева он наверняка был бы контрой. Но ведь не об этом речь. Если мы станем говорить о Фете только как о помещике, о Тютчеве — как о дипломате, то ведь надо вспомнить, что Пушкин был царский камер-юнкер, Лермонтов — царский офицер, Гончаров — цензор, Салтыков-Щедрин — губернатор, а знаменитый Лев Толстой — был не кем иным, как помещиком, да еще «его сиятельством» графом Львом Николаевичем Толстым.

Совершенно очевидно, что если мы

станем на такую точку зрения, мы докажемся чорт знает до чего, а докатившись, пожалуй, возьмем да и пошлем их полные собрания сочинений в самые Соловки.

Но я говорил о Тютчеве как о типе лирического творчества. Я писал: в нашу эпоху Фет и Тютчев были бы несчастны, потому что в нашу эпоху таким поэтам делать нечего. Поэт, который способен петь только о своем сердце, который видит только себя в мире — такой поэт — в наше время обречен. Я считаю своей обязанностью сказать это в глаза тем из лириков фетовского или тютчевского типа, которые не ищут путей к своему времени, не пытаются вырваться из тисков индивидуального лиризма, из тесного мира личного «я». Надо, чтобы они понимали, что и перед ними стоит задача перестройки, что им также надо думать о включении в нашу эпоху, что и они должны научиться говорить языком нашего времени, что «шопот, робкое дыханье» сейчас неуместны, несвоевременны. Это может подождать.

«Ага, скажете вы, подождать! Значит, по-вашему, «шопот, робкое дыханье» при социалистическом строе будет? Да, будет. Неужели вы думаете, что когда окончательно будет разрешена проблема нашей борьбы, когда мы будем жить в коммунистическом строе, когда не будет классов, неужели вы думаете, что люди не найдут множество личных ярких переживаний и стремлений, которые послужат материалом для тогдашней лирики? <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Привожу для ясности цитату из статьи «Концы и начала», которая умышленно игнорируется моими критиками, желающими навязать мои отрицания лирики вообще:

«Подчеркиваем: речь идет не о лирике вообще, но о лирике уединенного сердца, живущего и страдающего лишь интересами своего изолированного «я». Поэтам, наводняющим наши редакции такими произведениями, мы могли бы сказать:

«Товарищи! У нас фронт. Наше сознание, наша воля поглощены борьбой. Помогите нам закончить ее. Спойте нам бодрые песни, с блеском, с молодостью, с любовью, с ненавистью, но пусть эти песни не уведут нас из мира борьбы в узкий круг личных, себялюбивых, эгоистических переживаний. Не подменяйте огромного и широкого мира мелким мирком уединенной души. Сумейте связать вашу личную лирику — пусть она будет любовной! — с пафосом общей борьбы, с теми чувствами,

Я подхожу к концу статьи т. Селивановского. Разделав меня под орех, он кончает свою критику такими словами:

«Рыссыпав перед попутчиками букет любезностей, Полонский кончил тем, что оставил их перед разбитым корытом. Проблема будущего очень остро стоит перед ними. Две исторические перспективы тут возможны: переход на позиции пролетариата и вращение в литературу социализма, либо уход из литературы вообще».

Так говорит Селивановский:

Две исторические перспективы: **либо вращение попутчиков в литературу социализма, либо уход из литературы.** Но если бы Полонский написал о том, что попутчики будут **вращаться в литературу социализма**, он разлетелся бы как одуванчик, от него ничего бы не осталось. Что Селивановскому здорово, то Полонскому смерть. Но я этого не писал и написать не мог, потому что это — правооппортунистическая мысль. Достаточно убедительно было сказано о правооппортунистическом тезисе: кулак **врастет в социализм.** Но приходит т. Селивановский и с великолепной ортодоксальностью учит нас, что попутчик **врастет в литературу социализма...** Правда нельзя ставить знак равенства между попутчиком и кулаком. Попутчик — не кулак. Но попутчик во всяком случае — единоличник. И вот нас уверяет т. Селивановский, что эти единоличники **врастут в социализм.** И, выказав эту классически отчетливую, как бы показательную правооппортунистическую мысль, он конечно корит меня: **я-де указываю неверный маршрут попутчикам.** Правда маршрут мой и маршрут т. Селивановского не совпадают. Он заявляет, что попутчики либо **врастут в литературу социализма, либо уйдут из литературы.** А я говорил о том, что попутчики **будут не вращаться в литературу социализма, а бороться.** И борясь, **участвуя в социалистической стройке,** которые горят в нас и которые должны также гореть в вас самих. Но не разлагайте нашу волю вашей лирической грустью. Такой лирике сейчас нечего делать. Такая лирика должна умолкнуть». («Н. мир», 1930, № 1, стр. 129).

Здесь все сказано как нельзя более ясно. Это не мешает однако некоторым товарищам читать в этих строках то, чего в них нет, но что они хотели бы вычитать. (Примечание — для наст. публикации. Вяч. П.).

перестраивая жизнь, литературу и самих себя, наиболее честные, наиболее талантливые, наиболее преданные революции и пролетариату сумеют окончательно перейти на точку зрения пролетариата. Я подчеркивал серьезность перестройки, потому что, на мой взгляд, быстрее и легче всех (на словах конечно) перейдут на новую точку зрения пенкосниматели. Но не о пенкоснимателях и подхалимах идет речь, когда говорим мы о перестройке и зовем перестраиваться. Эти не нужны революции и пролетариату, даже если бы они, по рецепту т. Селивановского, изо всех сил вращались в литературу социализма. Не окажутся нужными также и те, кто остается на своих старых мелкобуржуазных позициях.

Такова точка зрения, какую я развивал в статье «Концы и начала». Эту же мысль я развивал и в своем предыдущем выступлении на этой дискуссии...

Теперь вы, товарищи, можете судить, почему я не мог отнестись хладнокровно к резолюции РАПП, которая клеймит меня как правого оппортуниста. Ведь по словам резолюции выходит так, что Полонский сейчас представляет последнюю опасность: покончили с Переверзевым, покончили с Воронским, надо покончить с Полонским. Что ж кончайте, товарищи, но позвольте заметить, что относительно Полонского вы ошибаетесь. Я понимаю, почему вы хотите забыть, что ошибаетесь.

(Гольцев: Это вы забыли, что вы ошибались).

Божественное зрелище! Гольцев упрекает меня в ошибках. Правда, говорят, что иногда устами младенца глаголет истина... (Шум, аплодисменты, смех).

Но в настоящем случае происходит как раз наоборот: уста младенца...

Теперь позвольте мне перейти к моим ошибкам. Меня здесь упрекали, будто я защищаю право на ошибки. Но защищать право на ошибки я не хочу. Я считаю, что более ошибочно и опасно защищать свою монополию на ошибки, лишая других права ошибаться.

Полемизируя с Селивановским, я говорил, что товарищи из РАПП лишают меня права ошибаться, оставляя за собой это право. Но почему мне запрещают ошибаться? Почему о моих ошибках

так много разговора? Почему не говорят например, что Нусинов только что, с грехом пополам признал свои ошибки? А ведь о нем пишут и сейчас как о правом оппортунисте. Это не мешает ему здесь в яростных нападках на меня обнаруживать свою выдержанность. Очевидно здесь какое-то пристрастие. Но если вопрос о моих ошибках поставлен и интерес к ним очевидно большой, — я коснусь и моих ошибок. Я не буду замазывать своих ошибок. Буду говорить жестко.

(Г о л о с: Когда?).

Не спешите. Сейчас. (Шум, смех). Дорогой товарищ! Я слышу, как вы дрожите от нетерпения. «Миг воделенный настал! Полонский признал свои ошибки!» Одна из моих ошибок заключается, быть может, в том, что я еще несколько лет назад не написал письма в редакцию «Лит. газеты», в котором признал бы свои ошибки. Действительно, письма я не написал. Я избрал другой путь. К стати т. Гольцев говорил, что я несколько раз формально отмежевывался от Воронского. Я спрашиваю его: где, когда и сколько раз я формально отмежевывался от Воронского? (Г о л ь ц е в: На совещании при культпропе в ЦК от Воронского отмежевались). Вы присутствовали? (Г о л ь ц е в: Нет.).

Вот как! Вы сами не слышали. Вам кто-то рассказал!

(Г о л ь ц е в: Есть стенограмма, напечатана в сборнике «Вопросы культуры при диктатуре пролетариата».)

У меня есть эта книга. Пожалуйста поищите.

Почему я задал этот вопрос? Когда Гольцев утверждает, что я несколько раз формально отмежевывался от Воронского, получается странная картина. Если я несколько раз от него отмежевывался, почему на меня сердится Селивановский? Дело-то в том и заключается, что формально...

(Г о л ь ц е в: Я не говорил «формально»).

Нет, вы говорили это. Это все слышали. Это напечатано в «Лит. газете». Так вот, в том-то и дело, что я как раз формально от Воронского и не отмежевывался. Я не помню ни одного выступления печатного или устного, где бы я формально отмежевался от Ворон-

ского. Это мне как-то претило. Почему? Да потому, что ошибки Воронского были часто моими собственными ошибками. Мы с ним шли вместе и вместе ошибались. Нас сближали не только литературные, но и политические ошибки. И когда он из литературы выпал и стал объектом справедливых нападков, я считал, что эти нападки касаются и меня. Я должен был так же платить за ошибки, как и Воронский. И я, повинный в тех же ошибках, что и Воронский, не мог бросить в него камень. Тем более, что мое расхождение с Воронским происходило не сразу. Я не мог, оставаясь искренним, писать в редакцию: «дорогие товарищи, я признаю свои ошибки» и т. д.! Я не делал этого не потому, что считаю такой способ признания своих ошибок нецелесообразным. Нет. Он разумен и нужен. Но я считаю, что центр тяжести лежит в действительном осознании совершенных ошибок и в их действительном исправлении. Я буду говорить жестко и откровенно. Ведь из этих заявлений очень многие литературные работники делали нечто в роде спорта. Я помню, полтора года назад на пленуме МАПП—председательствовал тогда Фадеев—Зонин меня упрекал в том, что я не каюсь. Я сказал ему в ответ, что легкомысленное, внешнее покаяние — опасная вещь. Ну, покайся раз, покайся другой, но не до бесчувствия же! — говорил я ему. Ибо, если ты из покаяния сделаешь профессию, наступит момент, когда покаянию твоему перестанут верить. По отношению к Зонину я оказался пророком. Что же касается меня лично, то мое нежелание прибегнуть к словесному признанию моих ошибок с целью застраховать себя от нападков мне ничего, кроме неприятностей, не принесло. Предположим, что я три года назад послал заявление в РАПП примерно такого содержания: «уважаемые товарищи, я дрался с вами по многим вопросам, я признаю, что я был неправ, вы оказались правыми, и я признаю свои ошибки». Я убежден, что налিপостовцы, прочтя такое письмо в газете, вероятно изменили бы свою тактику травли по отношению ко мне.

(С е л и в а н о в с к и й: Никогда).

Как?! Никогда?! Но почему же!? Я не понимаю Селивановского. В таком



случае надо сказать, что Полонского налитпостовцы травят не за его ошибки, а за то, что он — Полонский, и им безразлично, признал он их или не признал. Даже тогда, когда он их признает и осуждает, Селивановский говорит: «н и к о г д а». (Шум, смех).

Значит вы меня лично, как Полонского, не переносите? Значит «признаю или не признаю» — вам все равно? Но если таков взгляд РАПП, то конечно мне нельзя позавидовать. Очень тяжело работать, имея против себя такую могущественную организацию, которая заявляет, что прав Полонский или не прав, признает он свои ошибки или не признает, все равно Полонского надо истребить.

Так вот, товарищи, возвращаясь к своим ошибкам, я говорю: я решил исправить их на деле. Я стал пересматривать свои работы, свои теоретические взгляды, свои прежние оценки. Для меня это были не пустые слова. Есть люди, которые без труда и с большой легкостью пересматривают свои литературные взгляды. Мне это было не легко. Но я пересматривал их. Я обнаруживал ошибки. Я менял свое отношение к отдельным вопросам, менял даже их систематическое соотношение. И с тех дней, когда мы обсуждали проблемы развития пролетарской литературы в 1924 году, я во многом ушел от тех своих точек зрения, какие разделял тогда. Как квалифицировал ЦК позицию Троцкого, Воронского и мою? Как капитулянтскую. Не могу отрицать: в моей литературной позиции капитуляторство было. Признавая это, я признаю также, что был совершенно неправ в вопросе о гегемонии пролетарской литературы. В «Новом мире» я уже 2 года назад писал об этом, но не в форме письма в редакцию. Поймите, какая разница между моим методом исправления своих ошибок и тем, какого от меня требовали. Некоторые товарищи моментально признавали свои ошибки, но признавали их на бумаге, а на деле все оставалось попрежнему. Разве мало таких писем читали мы в «На лит. посту», в «Лит. газете»? Таких признаний можно выудить у человека сколько угодно, если этот человек слякоть. Дело заключается в том, чтобы на деле признать свои ошибки, а на

деле их признать — значит пересмотреть свои взгляды, значит изменить их. И вот в условиях сплошной и систематической травли я пересматривал свои ошибки. Сравните «Концы и начала» с тем, что я писал 3-4 года назад. Здесь совершенно другая формулировка всех основных проблем. Вы имели перед собой мои давние формулы и, напирая на них, игнорируете или извращаете все то, что я пишу сейчас. И здесь проявляется ваше пристрастное отношение. Возьмем хотя бы вопрос о «вреде», который я принес попутничеству. Макарьев бросил мне здесь такое обвинение. Всякая ошибка, совершенная кем бы то ни было, не может быть полезной. Ошибка — всегда вредна. Поэтому всякая ошибка сопровождается большим или меньшим вредом. Редко ошибка бывает безвредной. С этой стороны указание на известный вред, явившийся результатом моих ошибок, — справедливо. Но я спрашиваю вас, почему вы говорите о вреде только в одном единственном случае, когда речь идет об ошибках Полонского? Почему никто из вас словом не заикнулся о вреде, принесенном напр. т. Селивановским пролетарской литературе или т. Ермиловым и Либединским, внедрявшими в сознание пролетарских писателей теории, которые они сами должны были признать идеалистическими и оппортунистическими? Или их ошибки были безвредны? А может быть, даже полезны? Но откуда это видно? А ведь, говоря о своих ошибках, вы даже слово «вред» не упоминаете. Говоря о моих, вы этот самый «вред» ставите на самое видное место, трижды подчеркиваете, усиливаете. Но если вы это делаете, позвольте и мне взяться за это самое оружие. Прочтите пожалуйста открытое письмо правления РАПП, адресованное членам союза «Забой» (оно напечатано в 12-й книге «Октября» за 1925 год), там идет речь о правооппортунистической позиции т. Селивановского. В этом письме т. Селивановский и его друзья квалифицировались как «проводники буржуазного влияния в «Забое». Даже не мелкобуржуазного, а буржуазного. «Селивановский толкает пролетарских писателей на путь ренегатства» — читаем мы в этом письме. «Он нападает на всю линию партии в литературе». Т. Селива-

новский защищал в то время правильность линии Воронского. Я спрашиваю вас: могло это принести какую-нибудь пользу пролетарской литературе? Странный вопрос. Деятельность Селивановского была определенно вредна. Однако никто не тыкал ему в глаза этим «вредом», потому что вредное следствие ошибок подразумевалось само собой. Но когда вопрос касается Полонского, здесь пускается в ход это заржавленное оружие, как будто ошибки всех прочих были безвредны, а вот ошибки Полонского — губительны. Я ж не возражаю против того, что если бы я года 4-5 назад резко изменил мою линию, быстро исправив мои ошибки, линия популярной литературы была бы иной. В таком смысле и «вред», который я принес ей, был бы меньше. Но разве так надо ставить вопрос? Самая постановка неправильна. А что она неправильна, видно из того, что вы отказываетесь ее применять к самим себе, ибо вы знаете хорошо, что если только начать говорить о «вреде», который приносили те или иные участники нашего литературного движения, то в числе вредоносных окажутся многие из вас, не один Селивановский. «Вредными» окажутся кое-какие ваши издания, в роде двух сборников о творческих путях пролетарской литературы, где развивались идеалистические теории непосредственных впечатлений, в роде печально известной книги Ермилова «За живого человека», в роде романа Либединского «Рождение героя» и ряда других. В качестве свидетеля я мог бы привести «Правду», где совсем недавно писалось о ваших ошибках и даже о том, что вы недостаточно решительно их исправляете.

Я говорю о ваших ошибках не для того, чтобы оправдать свои. Я их не оправдываю, я их осуждаю. Но я начинаю говорить о ваших ошибках всегда, когда вы говорите о моих так, как будто бы вы сами никогда не ошибались, а если ошибались, то вы право ошибаться имеете, а я такого права лишен. В моих ошибках нет ничего исключительного: они характерны в наше время не только для меня лично, но и для ряда других товарищей. В том-то и дело, что наши ошибки не индивидуального происхождения. В них и обнаруживается

столкновение тех воззрений, которые многие из нас восприняли от литературных теорий старого порядка, с теми новыми требованиями, которые предъявила нам пролетарская идеология. Изменившееся бытие вносит существенные поправки в наше сознание, — это процесс необходимый и неизбежный. Поэтому-то я и подчеркиваю, что мои ошибки так же, как и ваши, — ошибки не индивидуальные, это ошибки той интеллигентской прослойки, которая существует в нашей партии. Не являясь по происхождению пролетарской, эта прослойка наряду с марксизмом впитала классовую культуру прошлого, и это не могло не отразиться на ее понимании марксизма. И вот в классовой борьбе, в страшной борьбе представители этой прослойки пересматривают и переоценивают свои взгляды. Тут речь должна идти не только об ошибках литературных, но и политических. Они неразрывно связаны. Но о политических ошибках здесь говорить не место.

Таково мое понимание наших общих ошибок. И таково, думается, самый верный путь для их преодоления. А разве ваша критика моих работ, Селивановский, ваше отношение ко мне продиктовано вашим желанием ошибки преодолеть? Оно продиктовано вашей застарелой, ставшей традиционной ненавистью к Вяч. Полонскому. Она проявилась и сейчас, когда вы, помните, не сдержавшись, бросили свое «никогда». Правда, я не скажу, что у вас нет оснований для нелюбви ко мне. Основания есть. Но надо же научиться обуздывать свои личные чувства, когда речь идет об общем деле. Именно ведь под диктовку ваших личных чувств вы не желаете считаться с моей перестройкой. Можете не считаться. Это ваше личное дело, но что это факт, тут не может быть сомнения. Вы закрываете глаза на факты. Так вы не хотели заметить моего разрыва с «Перевалом», разрыва, который знаменовал разрыв с теми концепциями творчества, какие защищались перевальцами. А ведь этот разрыв означал и разрыв с концепциями Воронского, поскольку он продолжал их поддерживать. Когда-то у меня с ним были общие взгляды по основным вопросам искусства, а теперь в области некоторых теоретических проблем Фадеев напри-

мер имеет с Воронским больше общего, чем я. Скажем, в вопросе об интуиции, о так наз. бессознательном. Но ведь вам на это в широкой степени наплевать!

Так что, товарищи, вы видите, я ошибок своих не замазываю и не отрицаю. Были у меня ошибки в смысле непризнания гегемонии пролетарской литературы, было конечно известное капитулянтство, была недооценка классового характера борьбы, происходившей в литературе, была недооценка роли организации пролетарской литературы. Были и еще, менее существенные. Все они вместе взятые конечно были ошибками правооппортунистического характера. И все те упреки, которые бросались по адресу Воронского, я готов принять на себя и разделить вместе с ним. Да. Было. Ничего тут не поделаешь.

(Гольцев: Я нашел место, где вы отмежевались от Воронского).

Гольцев нашел. Посмотрим. Вот это место: «Воронский позднее не учел изменившейся конъюнктуры. 24-й год — не 20-й и не 21-й. Это Воронский упустил, но он постепенно исправляет свою ошибку...» Это Гольцев считает моим «отмежеванием» от Воронского. Но Гольцев не понимает, что говорит. Ведь это — моя речь на заседании в отделе печати ЦК в мае 1924 г., т.-е., когда еще даже не развернулась во-всю борьба между напостовцами и нами. Какое же это отмежевание, когда в дальнейшем я шел с Воронским, не отмежевываясь. А фраза, которую Гольцев нашел, говорит не о том, что я отмежевывался от Воронского, а о том, что я, во многом тогда разделявший взгляды Воронского, тем не менее считал, что в его редакторской практике было непонимание новых, вторгавшихся в литературу изменений. В своих «Очерках литературного движения», еще в двадцать седьмом году я писал об отчужденности А. Воронского от пролетарской литературы и о том, что некоторые значительные произведения пролетарской литературы прошли мимо журнала Воронского. Правда, я тогда эту «отчужденность» объяснял «полюемическим ожесточением» Воронского. Но такое объяснение было, разумеется, поверхностным и ошибочным. Самый же факт

«отчужденности» я подчеркивал как обстоятельство, отрицательное по существу. Именно этой отчужденности от пролетарской литературы я, как редактор «Нов. мира» старался избегать. Всем известно, что на страницах «Нов. мира» увидало свет много произведений пролетарской литературы. Но повторю: весь период литературной борьбы, когда на Воронского сыпался град обвинений, когда он подвергался жесточайшей критике, когда из этой критики делались оргвыводы, я не делал формальных заявлений о моих несогласиях с Воронским. Было ли это полезно для меня как редактора и критика? Вы знаете превосходно, что ничего, кроме неприятностей, это мне не сулило. Тем не мене я поступал именно так. Говорю об этом не как о заслуге. Вряд ли это может быть расценено как заслуга. Но я говорю о том, что было и не хочу задним числом исправлять события.

Когда же наши теоретические и практические литературные установки развели нас в разные стороны (если конечно Воронский остался на своих старых позициях), ничто не может помешать мне сказать об этом открыто и не в виде «письма в редакцию», которое само по себе может не быть доказательным, а в виде, скажем, моей последней работы «Сознание и творчество», где я ставлю и пересматриваю все основные вопросы творческого метода и, думается, разрешаю их по-новому. Может быть, и в этом пересмотре будут новые ошибки. Возможно. Застраховать себя навсегда от ошибок мне вряд ли удастся, так же, как и другим товарищам, которые попытаются самостоятельно искать новых путей в наших необычайно трудных условиях. Никогда ведь в мировой истории не было такого сложного переплета событий, как теперь. Никогда так радикально не были поставлены ребром все основные вопросы мировоззрения, как в наши дни.

Именно таков был смысл моего опять-таки извращенного Селивановским замечания о критике как истории ошибок. Критика есть искание истины, есть борьба за истину. Но всякие поиски сопровождаются ошибками. Редко они обходятся без них. Я и говорил, что с этой точки зрения история крити-

ки есть история ошибок. Это не значит, что в критике, кроме ошибок, нет ничего. Зачем же так превратно и пристрастно толковать мои слова. Но заниматься критикой и думать, что твой критический путь исключает ошибки, это значит обнаружить величайшее чванство, на почве которого неизбежно вырастет зажим самокритики.

Позвольте резюмировать по существу нашу дискуссию. Я вынужден был говорить о себе, ставить себя как критика в центре своей речи. Мне приходилось это делать поневоле. Я был вынужден это делать. Если бы на меня не обрушился ряд товарищей с подчеркиванием именно моих ошибок, если бы они не требовали, чтобы я говорил о них, я, разумеется, не отнял бы столько вашего внимания для себя лично. Не скрою: меня задел Макарьев. Я его почти не знаю. Но он производит на меня впечатление товарища, честно подходящего к вопросу, без предвзятости. Потому-то его выступление и задело меня больше всего. Но это к слову.

Эта дискуссия имеет большое значение прежде всего потому, что она решительно ставит вопрос о дифференциации попутничества. Попутничество дифференцируется под воздействием тех социальных процессов, которые происходят в нашей стране. От этой дифференциации попутничество уйти не сможет никуда.

Попутчики должны понять, что сейчас, в эпоху социалистической перестройки всей жизни, всего быта сверху донизу, они должны поставить перед собой вопрос о своем мировоззрении и об отношении своем к этой перестройке. Пересмотра основ мировоззрения, его не внешнего, не формального, но внутреннего, органического согласования с характером времени требует прежде всего их собственное искусство. В изменившихся социальных условиях должны измениться и позиции писательства. Положение попутничества, вообще говоря, уже претерпело изменения. Оно утеряло ведущую роль в нашем искусстве. Пролетариат уже подчинил своему влиянию таких выдающихся художников нашего времени, как Леонов и Шагинян. В этом и заключается сила и ведущая роль пролетариата. Кстати. Меня упрекнули в том, будто я сказал, что веду-

щая роль вообще уже принадлежит пролетарской литературе. Это было бы «стопроцентно» с точки зрения некоторых товарищей, но я этого не сказал. На мой взгляд пролетарская литература ведущей роли художественной еще не завоевала; это значило бы, что пролетарская литература уже завоевала художественно-идейную гегемонию. Но это не так. Пролетарская литература идет к гегемонии, приближается к ней, но сказать, что эта гегемония уже завоевана, значило бы помешать пролетарской литературе видеть истинное положение дела. Пролетариат как класс оказывает громадное влияние на всю нашу культуру, но пролетарская литература еще не является тем гегемоном, который диктует не только идеи, но и способы их воплощения, художественные формы, который идет как законодатель во главе нашего художественного развития. Пролетариат подходит к этому этапу, и он его завоеует, но для этого надо еще много работать, завоевать еще много позиций в пределах самого искусства.

Вот какова была моя мысль, освещающая роль пролетарской литературы.

Теперь мне остается сказать несколько слов о моем отношении к РАПП. В моей полемике с налитпостовцами, когда я нападал на налитпостовцев, на отдельных рапповцев, я говорил, что это разные вещи. Одно дело РАПП, другое дело те или иные рапповцы. Я нападал на отдельных рапповцев, но не на РАПП. И когда Лузгин например отождествлял себя и РАПП, говорил, что если ты бьешь меня, значит бьешь РАПП, — он был неправ.

(Г о л о с: Но ведь РАПП состоит из рапповцев.)

Ах, товарищи, но ведь это не значит, что каждый отдельный рапповец, даже из числа его руководителей, есть РАПП в целом. Надо же различать! Был в числе руководителей РАПП Зонин? Был. Значит ли это, что РАПП в целом отвечает за его ошибки? Нет, не значит. Состоят Ермилов или Селивановский в числе руководителей РАПП? Состоят. Значит ли это, что их ошибки есть ошибки РАПП в целом? Нет, не значит. Об этом-то я и говорил всегда: одно дело РАПП, как могучая органи-

зация пролетарских писателей, осуществляющая огромные культурно-исторические задачи, линия которой постольку правильна, поскольку не отклоняется от генеральной линии партии, а другое дело те или иные члены РАПП, те или иные руководители его, которые делают ошибки, и эти ошибки надо критиковать. А какая картина получается при вашем толковании? РАПП состоит из рапповцев. РАПП как целое ведет правильную, партийную линию в искусстве. Значит и все мы, рапповцы, ведем правильную линию. Значит, нас нельзя критиковать? Потому что критика рапповца есть борьба с этим рапповцем. А так как РАПП состоит из рапповцев, то выходит, что всякий, кто критикует даже действительные ошибки рапповца, борется с РАПП, является врагом РАПП.

Но ведь такое толкование приведет только к зажиму самокритики. Ведь при таком толковании рапповцы действительно выше критики, критике неподсудны. Но ведь такое толкование — вреднейшее толкование, идущее как раз вразрез с требованием партии о строжайшей самокритике от самого верха до самого низа. Я конечно дрался не с

РАПП, а с отдельными рапповцами. А рапповцы уверяли, будто все мои попытки нанести удар тому или иному рапповцу были попыткой нанести удар самому РАПП. Повторяю, РАПП — это мощная организация, которая идет во главе нашего движения, выполняет величайшие культурные задачи, на РАПП ляжет ответственность за общий характер и за все детали нашего литературного развития. Но РАПП только тогда окажет всестороннее положительное, мощное влияние на развитие литературы, когда рапповцы, от которых зависит тот или иной частный метод рапповской работы, откажутся от старых приемов борьбы, осужденных им самими и осужденных ЦК, от старых приемов критики, от кружковых пристрастий, от боязни смелой самокритики, от всех тех вредных явлений, которые они в своей последней резолюции, принятой на 4 пленуме правления РАПП, совершенно справедливо клеймят как недостойные. Вот против этих вредных и недостойных приемов борьбы отдельных рапповцев, так же, как против их теоретических ошибок, я дрался и буду драться до последней капли крови. (А п л о д и с м е н т ы).

## 2. ПУШКИН И СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА<sup>1)</sup>

Имя Пушкина в истории русской общестственности и литературы имеет значение пробного камня, на котором происходило испытание и проверка мировоззрения всех литературных поколений XIX и XX веков. Ни одно из имен русской литературы никогда не имело подобного значения. Каждое из писательских поколений, восходивших на общественную сцену, должно было решать вопрос о своем отношении к Пушкину, и каждое из них создавало свой образ Пушкина, принимая его или отвергая. Каждое литературное поколение, завоевывавшее себе позиции, шло под знаменем определенного класса или хотя бы известной социальной прослойки, и в своих пристрастиях и оценках оно руко-

водилось своими литературно-общественными — в конечном итоге классовыми — интересами.

Напомним некоторые более или менее общеизвестные исторические факты. Боевая фаланга писателей-разночинцев, выступившая в 60-х годах прошлого столетия, относилась к Пушкину в лучшем случае сдержанно (Чернышевский, Добролюбов), а в лице своих наиболее «непримиримых» представителей, как Писарев, — резко отрицательно. Писарев, типичный выразитель утилитарного понимания искусства и в то же время представитель вульгарного материализма, был ортодоксальным нигилистом и в своем отношении к Пушкину. Вся сложность пушкинского творчества для Писарева, не вооруженного диалектическим методом, осталась неразгаданной. Писарев, в значительной мере являющийся идеологом буржуазного развития

<sup>1)</sup> Вступительное слово на литературном вечере 6 июня 1931 г. (день рождения Пушкина) в зале Ленинградской академической капеллы.

России шестидесятих годов, не нашел для Пушкина места в системе своего литературного мировоззрения. Интересно отметить, что Чернышевский, в мировоззрении которого были сильны уже чисто социалистические начала, отнесся к Пушкину значительно объективнее, чем Писарев.

В XX столетии мы сталкиваемся с двумя диаметрально противоположными взглядами на Пушкина, принадлежащими двум различным литературным поколениям. Это — культ Пушкина как представителя «чистого искусства», созданный символистами, и полное отрицание ценности Пушкина вплоть до сбра- сывания его «с парохода современности», выдвинутое футуризмом.

Однако ни попытка превратить Пушкина в декадентского эстета<sup>1)</sup>, ни стремление к «уничтожению» его наследия не имели сколько-нибудь прочного успеха. Буржуазно-дворянский по своей классовой основе символизм и анархическая оппозиция мелкобуржуазно-интеллигентского футуризма совпали в одном: в полном непонимании исторического значения Пушкина и объективной ценности его творчества. Это не должно нас удивлять, так как мы уже говорили о том пристрастии, с которым различные поколения русской литературы относились к образу поэта.

После Октябрьской революции, в 1921 году, в петербургском Доме литераторов произошла знаменательная встреча — встреча писателей старшего, дореволюционного поколения с именем Пушкина. Встреча эта была грагической: в речах Александра Блока и В. Ходасевича звучало отчаяние не только в грядущей судьбе Пушкина, но и в завтрашнем дне русской литературы. Блок говорил о необходимости для поэта «внутренней свободы», которой якобы лишает его наша эпоха; Ходасевич предсказывал, что молодое поколение никогда не будет знать той непо-

средственной близости с Пушкиным, которая переживалась старшими.

Однако эти трагические высказывания, имевшие объективно реакционный смысл, были по существу характерны не для действительного положения вещей, но лишь для самих авторов, для того поколения дореволюционной буржуазно-дворянской литературы, которое вдруг ясно ощутило свой собственный подлинно трагический разрыв с эпохой. И на этот раз имя Пушкина послужило тем пробным камнем, на котором с полной ясностью обнаружилось мировоззрение уходящего со сцены литературного поколения.

Когда в доме на Бассейной произошли эти полные горечи слова, советская и пролетарская писательская общественность находилась еще в пеленках и еще не могла противопоставить свое отношение к Пушкину, свое понимание значения и ценности пушкинского творчества. Прошло несколько лет. В революционном вихре созрело новое поколение писателей, создалась крепкая молодыми силами советская литература, имеющая в авангарде пролетарских писателей и тесно смыкающихся с ними «союзников» и ближайших «путчиков» пролетарского литературного дела. И вот, подобно нашим предшественникам, мы также чувствуем своего рода внутренний долг — определить свое отношение к имени Пушкина, к этому «легкому имени» (по слову Блока). И для нас вопрос о Пушкине оказывается тесно связанным с многими крупнейшими вопросами нашего литературного бытия, с вопросами о творческом методе, о нашем отношении к классической литературе в целом и дру-

гими. Здесь нам приходит на помощь марксистский метод изучения литературных явлений. Служа боевым оружием нашей критики, этот метод в то же время дает нам возможность подойти к любому явлению истории русской литературы с наибольшей объективностью. Марксистское пушкиноведение делает еще свои первые, хотя уже во многом удачные шаги. Основные вехи к изучению Пушкина уже намечены, и образ поэта в целом в освещении марксистского метода истории литературы представляется уже достаточно ясным.

<sup>1)</sup> Эта попытка опиралась на некоторые черты Пушкинского творчества: на идеологию «чистого искусства» («взыскательный художник»), имевшую в условиях николаевской эпохи в известном смысле прогрессивное значение, и на свойственные некоторым произведениям Пушкина упадочные, подлинно «декадентские» мотивы. См. работу Д. Благого «Пушкин на рубеже тридцатых годов».

Мы видим Пушкина в этом свете, прежде всего как величайшего современника и поэта своей эпохи — эпохи, в которой впервые с достаточной четкостью обозначились социальные сдвиги, определившие всю последующую историю России XIX и XX столетий. Пушкин еще застал и с великой полнотою воплотил кратковременный расцвет русской дворянской культуры, во многом подняв свое творчество до «общечеловеческих» высот. Но к этой «общечеловечности» Пушкин пришел именно как гениальный сын своего класса, как чуткий современник своей эпохи.

По этому поводу следует напомнить мысль, удачно сформулированную Луначарским: «Кто был хорошим современником своей эпохи, тот имеет наибольшие шансы оказаться современником многих эпох будущего».

В этом в значительной степени и кроется разгадка необычайной жизнеспособности и долговечности пушкинского творчества. Нужно еще раз подчеркнуть, что эпоха, создавшая Пушкина, была чрезвычайно богата социальным содержанием, — в этом еще один ключ к пониманию значения Пушкина.

В подобной исторической перспективе фигура Пушкина принимает свои подлинные и по-новому прекрасные очертания. Для нас Пушкин конечно не та «гипсовая статуэтка», о которой иронически говорил Эйхенбаум, не тот школьный бюст, который уже давно вдребезги разбит футуристами. Но наш Пушкин не воплощается и в образе таинственного медного изваяния — идола или полубога, по слову Ходасевича. Нам близок и понятен живой исторический Пушкин. Но Пушкин для нас — не канон, не та незыблемая идеальная норма, которой он был для многих литературных поколений.

Не следует думать, что сейчас нет людей, считающих пушкинскую поэтику подобной вечной норме. Такие люди есть и в рядах наших писателей и критиков, о чем говорят некоторые теоретические высказывания и практические примеры. Совсем недавно вышла в свет некая поэма о т. Ворошилове, написанная в точности по образцу «Полтавы». Подобные явления конечно имеют об- активно значение пародии и производят

глубоко комическое впечатление. Но если в печати подобные пародийные подражания встречаются в общем редко, то гораздо чаще приходится сталкиваться с некритическим подражанием Пушкину в произведениях начинающих рабочих поэтов, в практике литературных кружков. Надо ли говорить о том, что пишущие подобным образом лишь механически усваивают готовые формы пушкинского стиха, формы, которые блестяще соответствовали совершенно иному содержанию? Глубоко прав был Сельвинский, сказавший однажды: «Если бы Пушкин жил сегодня, он издевался бы над четырехстопным ямбом вообще и над своими реставраторами в частности».

Здесь возникает основной вопрос: чему и как нам следует учиться у Пушкина? Для иллюстрации мы позволим себе небольшое отступление. Злые языки говорили о Маяковском, что он по ночам зачитывается Пушкиным, в особенности «Онегиным», которого Маяковский будто бы знал наизусть. Было ли так на самом деле, я не знаю, да это и не важно. Если это было придумано, то придумано неплохо, потому что, как ни парадоксально это звучит, Маяковский в своей литературной революционности, в своем питании и поисках нового материала, новых тем и форм гораздо ближе к Пушкину, чем все хранители «пушкинских заветов», чем все поэтические прихлебатели, живущие процентами с пушкинского капитала. И нет никаких сомнений в том, что Маяковский — читал ли он по ночам «Онегина» или нет — отлично знал, чему и как ему нужно учиться у Пушкина, — учиться, хотя бы и строя свою работу по совершенно иным принципам и методам.

В одну из сравнительно недавних (1924 г.) пушкинских годовщин ряд ленинградских писателей высказался о Пушкине на страницах журнала «Ленинград». Нам кажется, что особенного внимания среди этих высказываний заслуживают слова Ильи Садофьева, которому удалось дать сжатую формулировку нашего понимания Пушкина. Приводим отрывок, имеющий прямое отношение к вопросу об учебе у Пушкина:

«Пушкин как поэт — вечный бунт и одновременно могучее организующее начало...»

«Стихотворды, штампующие Пушкина, не чувствуют, не понимают и не любят Пушкина. Ибо Пушкин не статика, а динамика, Пушкин не кухня, где ютятся приживалки, а упорная творческая работа на жизненном пути. Пушкин неповторим, Пушкин и эпигонство, а особенно паразитизм — несовместимы. Чтить память Пушкина без продвижения вперед, без преодоления созданного даже Пушкиным — просто преступно».

На тех же страницах мы читаем Николая Тихонова, называющего Пушкина «образцом поэта-революционера». По словам Тихонова, «отношение его (Пушкина) к материалу совершенно сродни нашему времени». Интересно также мнение Тихонова о значении Пушкина для широкого современного читателя: «Что же касается ощущения его (Пушкина) массами, — мне кажется, что Пушкин, за исключением устаревшей или ставшей только исторической части его, представляет самый широкий интерес, и путь рабочего или крестьянина, медленно идущего к поэзии сегодняшнего дня, несомненно лежит через Пушкина, а не через кого-нибудь другого». В этом замечании, по существу конечно вполне правильном, содержится также указание на историческую преемственность и обусловленность нашей современной поэзии, на ее порою очень сложную и непрямую, но несомненную связь и с творчеством Пушкина. Эта связь имеет нередко совершенно диалектический характер.

Всего три года отделяют приведенные нами высказывания Садофьева и Тихонова от того вечера в Доме литераторов, на котором выступали Блок и Ходасевич, но какое огромное различие между теми и другими высказываниями и по существу, и по ряду характерных особенностей! Здесь с полной ясностью обнаружилось различие двух эпох, двух мировоззрений, в конечном итоге — двух классов. Окрепшая за революционные годы советская литература должна была осознать и свое отношение к Пушкину, которое развивается в

общем в направлении, отмеченном Тихоновым и Садофьевым.

Мы не ошибемся, если скажем, что образ Пушкина в нашем восприятии вновь становится подлинно живым. Мы изучаем и пытаемся понять этот двоящийся, сложный образ — образ поэта, впитавшего в себя всю поэтическую культуру XVIII века, и в этом смысле традиционалиста, и образ Пушкина-новатора, поэта-революционера, открывшего ту страницу истории русской литературы, к которой мы не устаем возвращаться. Но, может быть, методы Пушкина нам дороже его достижений.

Вопрос о творческих методах Пушкина в широком и более узком смысле слова — особая тема огромной важности. Мы не будем здесь ее касаться. Мы полагаем однако, что «завоевания» Пушкина, как всё законченное, подлежат неизбежному действию времени. Но творческая история этих завоеваний будет надолго служить примером для писателя и литературы. В этом смысле наше отношение к Пушкину должно явиться частным случаем нашего отношения к классикам вообще. В противовес некритическому лозунгу «назад к классикам» мы призываем не канонизировать Пушкина, но учиться методам его работы, многообразию его путей, пропорциональности элементов его творчества, его умению претворить личную тему в явление общественной ценности. Мы будем искать и открывать в образе Пушкина новые черты, родственные нашему пониманию литературы, ее методов и задач, и мы со всею силой и решительностью будем давать отпор всяким попыткам превращения Пушкина в «икону», — всем реакционным столкновениям его образа. За нашего Пушкина, за наше понимание его личности и творчества, мы, если понадобится, будем бороться так, как мы умеем бороться на нашем литературном фронте, — жестоко и до конца.



### 3. МЕЩАНСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОФОРМЛЕНИИ СОВЕТСКОЙ МАССОВОЙ ПОСУДЫ

Игн. Хвойник

Виконт одет безукоризненно...

Из-под плаща-накидки стрелой вытянулся вдоль белых чулок конец тонкой дворянской шпаги. Малиновый берет и туфли с бантами вместо пряжек живописно замыкают грациозный очерк его галантной фигуры. В легком изгибе жеманного поворота виконт застыл на изящном «па» у каменной скамьи парка. На скамье сидит маркиза. Ее талия опрокинутым конусом вырастает из пышной клубы сиренево-золотистого платья. Лицо, шея, плечи и полуобнаженная грудь маркизы окрашены в бледно-розовый цвет. Этим подчеркнут целый букет соблазнительных свойств: порода, молодость, красота и томное возбуждение. Маркиза конечно привыкла к тонкому обращению и деликатному выражению чувств. Нетрудно догадаться, что виконт говорит ей о любви обворожительные вещи и, должно быть, говорит не просто, а певучим речитативом салонного мадригала...

Впрочем улещивый разговор виконта только предполагается. Но само изображение великосветского жанра в духе эпохи регентства и Людовика XV довольно явственно воспроизведено посредством импортной декалькомани (переводной картинки) на белых стенках фарфоровых чашек Дулевской фабрики. Это продукция 1930 года. Такая чашка — не уникам, и производство ее — отнюдь не привилегия Дулевской фабрики. Этот стиль художественного оформления массовой фарфоровой посуды хорошо прижился на многих советских фабриках: Дмитровской, Бронницкой, «Красный фарфорист» в Грузии и других. Картинка, запечатляющая тематическую традицию Ватто, Буше и Фрагонара, слегка смазанная и несколько замороженная в миниатюре явно немецкой трактовкой, заключена в густое архитектурное обрамление — кобальт с рельефной позолотой. Этого типа чашки не сохраняют в товарной номенклатуре своего тематического следа: они стыдливо обезличены в фабричном прейскуранте лаконическим обозначени-

ем техники оформления чашки: «деколь с разделкой». Впрочем такая разделка, удорожающая цену этого товара пропорционально соблазну нарядностью посуды, не обязательна. Однако и более дешевые типы посуды с «деколью» продвигают в быт массового потребителя указанный авантажно-аристократический мотив в окружении гирлянд, цветов, рамок и прочей орнаментики, долженствующей утвердить поэтическую идеализацию образов давно истлевшего феодализма.

Едва ли следует удивляться тому, что в практике оформления фарфоровой посуды могут удерживаться сюжетные мотивы почти двухсотлетней давности. По формальной организации своей продукции фарфоро-фаянс является одним из самых застойных производств с очень цепкими художественными традициями. На фарфоро-фаянсовой продукции ярче, чем в любой другой отрасли художественной промышленности, отложились конструктивные шаблоны, восходящие к периоду королевских и императорских мануфактур, удовлетворявших эстетикой своих форм, тематикой и расцветкой вкусы придворной верхушки и феодальной аристократии. Фарфоровое производство в Европе появилось довольно поздно (в XVIII веке), и в первый период фарфоровая посуда по дороговизне своей была предметом незаурядной роскоши и признаком богатства. Распространение этого товара ограничивалось потребностями быта феодальных верхов, что естественно обусловило собою содержание художественной обработки традиционного, дорогого фарфора. Роспись этой посуды была сплошь ручная и исполнялась дорого стоящим трудом высококвалифицированных художников-специалистов, превращавших каждый экземпляр в своеобразный художественный уникам. Косная техника производства фарфоровой посуды на протяжении времени не сопровождалась сдвигами, которые сами по себе обусловливали бы необходимость заметных конструктивных изменений

фабриката. Изменения эти вносились лишь в той мере, в какой диктовались ориентировкой на расширение потребительской емкости рынка, на удешевление продукции в условиях капиталистической конкуренции, на приспособление ко вкусам более широких социальных слоев. Популяризация фарфора отмечена тщательной заботой промышленников о сохранении тех внешних признаков высокой художественной обработки, с которыми связывалось представление о традиционном дорогом фарфоре. Давление этих условных атрибутов дорогих художественных вещей продолжало сказываться на оформлении фарфоровой продукции и тогда, когда изменение художественной техники вместе с удешевлением производства открывало новые и притом широчайшие конструктивные перспективы. Поскольку дело касалось обслуживания вкусов мелкобуржуазного потребителя, вопрос художественного оформления посуды отнюдь не требовал революционирования стилистических канонов феодальной эстетики. Напротив, последние должны были служить вождельными образцами. Мещанский идеал «красивой жизни» и вещно-бытовой эстетики в основе своей построен на подражательной смеси форм, характерных для психо-идеологии вышестоящих социальных групп, и олицетворяет собою дешевый суррогат эстетических вкусов дворянства и крупной буржуазии. Это весьма выпукло проявляется во всей бытовой практике средней и мелкой буржуазии, по крайней мере тех ее слоев, которые тянутся к крупной буржуазии и вообще к господствующим классам, стремятся внешне подражать им, честолюбиво, хоть и неуклюже заимствуя их формы, образы и стиль в эстетике своего быта. Пристрастие к «великосветским» художественным традициям и подражание созданным ими формам и приемам эстетики быта весьма наглядно обнаруживаются в различных сторонах бытовой обстановки мелкой буржуазии. В этом отношении показательны даже самые беглые параллели. Так, бумажные печатные обои имитируют сюжетику и фактуру дорогих тканых гобеленов: манера нагружать стены портретами «родовитых» предков в тяжелых золоче-

ных рамках повторяется в развеске крупных фотографических портретов благочестивых родителей, обрамленных овалами бумажных паспарту; рукодельные вышивки и настенные тарелки изображают рыцарей и придворных кавалеров; дешевые ткани подражают расцветкой и узорами парче, атласу и т. п.

В результате таких заимствований в эстетике быта мелкой буржуазии с особой резкостью обнажается черта той объективной пародийности (пошлости?), которая присуща приспособлению эстетических форм вышестоящих социальных групп к бытовым потребностям межеумочного социального слоя. Эта черта поражает заимствуемый образец (стиль) в его новом бытии пороком глубокого внутреннего противоречия—социально психологического и материально-технического. С одной стороны, заимствуемая форма внедряется в сферу социально-чуждого обихода, оторванная от всего того бытового комплекса, с которым она была органически связана на службе породившего ее класса единством стиля и психо-идеологического содержания. На службе у новых хозяев она теряет прежнюю свою осмысленность и исполняет свою бытовую функцию с крикливым честолюбием вороны в павлиньих перьях. С другой стороны, средством художественной экспансии и предпосылкой ее приспособления к экономическому уровню мелкой буржуазии служат суррогат, имитация, подмена дорогого материала более дешевым и в первую очередь использование прогрессивной техники массового механизированного производства для подражания формальным особенностям ремесленной художественной техники. В итоге, данный стиль художественной организации вещи в той мере, в какой он был обусловлен определенным материалом и соответствующей техникой обработки, заметно опустошается и в своей формальной конструктивной логике. В этом своем падении традиционный стиль нередко повторяет жалкий конец промотавшейся аристократии. Он услужливо прикрывает бутафорским блеском своего аристократического происхождения весьма сомнительную коммерческую аферу капиталистического товарооборота—уаили-

рует дефекты и вообще низкое качество товара. В такой роли он прочно держится кредитом мещанского вкуса и его пародийных пристрастий...

В таком оформлении бытовых вещей получают как бы длительное закрепление осколки определенного строя образцов и эмоций, уже оторванные от своих социальных и исторических корней, но тем не менее сохраняющих в мещанской стадии своего существования значение действенного эстетического фактора. Фабрично-заводское прикладничество как принцип, как метод художественной организации вещи с его самодовлеющими функциями украшательства и маскировки продукции, по мере механизации техники этого украшательства обеспечивает такому закреплению широчайшую потребительскую базу, выходящую далеко за пределы мелкобуржуазной среды и захватывающую широкие слои пролетариата. Фарфоро-фаянсовая промышленность в этом смысле представляет собою область, в которой худшие, реакционнейшие стороны капиталистического прикладничества приобрели исключительную выпуклость. Декор и печать, аэрограф и трафарет стали для нее не только техническим способом удешевления художественного производства, но и орудием мещанской демократизации эстетики, построенной на традиционной системе декорировки и образов, восходящих к феодально-придворному быту.

Изделия нашей фарфоро-фаянсовой и отчасти стекольной промышленности дают богатый материал, свидетельствующий, что и в советский период в деле оформления массовой посуды эти реакционные тенденции, унаследованные от капиталистической промышленности, сохраняют свою исключительную живучесть и действительность. Это выразительно отпечатлелось в тематике и расцветке, в пластике форм и приемах декорировки наиболее распространенных образцов посуды.

С особой откровенностью и законченностью черты реакционного традиционализма обнаруживаются в советском фарфоре со стороны тематики. Ее мотивы и самая манера их подачи пронзительно согласованы с тяготением мещанской романтики к умильной мечтатель-

ности и яркой театральности. Среди этих мотивов выдающееся место занимает особый сюжетный цикл, который можно назвать «куртуазным»<sup>1)</sup> Он является характерной принадлежностью вполне законченной декоративной схемы весьма ходкого типа фарфоровой посуды, известного в торговом ассортименте под наименованием «саксонского убора».

По своему происхождению «саксонский убор» — старый канон монументального оформления фарфора, имитирующий декоративную конструкцию нарядных расписных «севров» и дорого «мейссена». Основой декоративной схемы «саксонского убора» является густая, большею частью однотонная



№ 1. «Фасонная венецианская чашка» с медальоном. (Дмитр. фабр.).

окраска, покрывающая наружную поверхность чашки обычно почти сплошь, во всю высоту, и окаймленная сверху и снизу широкими бордюрами с золотыми ободками (см. снимки 1 и 3). Преобладающие цвета здесь — кобальт, голубой, темно-зеленый, реже бордо. В более нарядных и традиционных вариантах «саксонского убора» этот цветной фон архитектурно расчленен и расчерчен дополнительными золотыми ободками и т. п. линейным орнаментом

<sup>1)</sup> «Куртуазный» — от франц. слова «Courtoisic». Этим словом обозначалась изысканная галантность, тонкая обходительность, предписывавшаяся кодексом светской вежливости и условностями придворного этикета и служившая доказательством благовоспитанности и «хорошего тона» высших слоев дворянства и противовес откровенной простоте людей низших сословий. Языку и манерам придворной аристократии эта галантность сообщала налет театральной фальши.



№ 13. Образец «советизированной» пасторали под «саксонский убор» на чашке. (Бронницкой фабр.).

№ 2. Образец чашки «саксонского» убора. Декалькомания на мотив *amour galant*. (Дулевская ф-ка).

(см. снимок 3. I). Все это образует пышную оправу с овальным или круглым пробелом посередине для помещения в нем переводной картинке станкового типа. Великосветский жанр такой картинке довершает стилизацию «саксонского убора» под старинный дорогой фарфор, обильный росписью и всяческой художественной разделкой. Трафаретными сюжетами этого жанра являются галантная любовь придворных, их поэтические прогулки по аллеям парка, идиллические сценки с фигурами учтивых кавалеров и жеманных красавиц в окружении самых благоуханных аксессуаров: клумб, газонов, гирлянд, амуров, фонтанов и т. п. Типичными образчиками этой сюжетики «куртуазной любви», *amour galant* является упомянутая вначале картинка с виконтом и маркизой на чашке Дулевской фабрики, а также деколь в овале саксонского убора на снимке 2.

На некоторых советских деколях мотивы «*amour galant*» изображаются в своем буколическом варианте. Они воспроизводят картинку добродетельного счастья пастушеской жизни в духе тех идиллий, которые получили довольно сильное распространение в конце XVII и в первой половине XVIII века. Эта поэзия пасторалей<sup>1)</sup> сентиментально

<sup>1)</sup> Виднейшим представителем этой поэзии в XVII и начале XVIII века была французская поэтесса, некая мадам Дюзельер, ныне основательно забытая, но в свое время пользовавшаяся славой «десятой музы Франции». Позднее (в XVIII в.) этот жанр доставил большую популярность швейцарскому поэту Гесснеру.

стилизовала в пастушеских образах все те же любовные похождения придворного общества феодальных монархов. В этих томно влюбленных галантно красноречивых пастушеских персонажах легко было узнать представителей этой придворной аристократии, перереяженных в Дафнисов и Филидоров, в Галатей и Хлорид куртуазных пасторалей. Точно также нетрудно узнать наших виконга и маркизу в пастушеской паре, изображенной на деколи чайника, значащегося в фабричном прейскуранте советской посуды под № 135 (см. снимок 14): на пастухе такие же шелковые панталоны, белые чулки и туфли с бантами, как и на виконте. И только дворянская шпага заменена длинной палкой пилигрима, как у библийских пастухов

Мотивы пасторалей XVII и XVIII веков в нашей массовой фарфоровой продукции вообще являются весьма живучими и охотно культивируются не только в переводных картинках, украшающих чашки и блюдца, но и в скульптурных формах. Продавцы свидетельствуют о широком успехе, которым пользуются на рынке выпускаемые Городищенской фабрикой (на Украине) вазочки для цветов из неглазурованной фарфоровой массы (бисквит) со скульптурной фигуркой пастушки в духе упомянутых идиллий (см. снимок 6). Успех этот конечно не случаен. Фигурка пастушки обработана с нарочитым нажимом на буколический парфит, должествующий увлечь простодушное изображение. Пастушка наряжена в широко-

полу ю шляпу «фантази», изящный корсаж, золотые туфельки и короткую бабетную юбку. В окраске вазы — сочетания самых «нежных» цветов: масса — бледнокофейная, пастушка — светло-фисташковая, юбка на ней — розовая и т. д. Стилистические корни этой продукции очевидны. Пасторальные черты приобрели здесь лишь более подчеркнутую обработку в интересах надежного приспособления к мещанскому вкусу.

Не менее часто, чем картинки куртуазного цикла, на «саксонском уборе» помещаются «медальоны» с женскими головками, чаще — с женскими погрудными портретами. Большинство из них сильно напоминает те аристократические модели, которые опозитивированы портретисткой Марии Антуанетты Виже Лебрен. Примечательный образец такого медальона дан на так наз. «фасонной венецианской» чашке Дмитровской фабрики, изображенной на снимке 1. Портрет этот на снимках 5 и 7 воспроизводится в увеличенном виде, — к нему стоит ближе присмотреться. Лицо женщины, обрамленное пышными локонами, с приятной улыбкой и «ангельским» выражением глаз изображено в трактовке индивидуального портрета старинных миниатюр-медальонов, писанных на кости. Изображения таких медальонов были весьма распространенным декоративным мотивом на вазах, тарелках и чашках XVIII века и удержались в «ампире» и продукции более позднего времени. Стиль портрета-медальона с внешней стороны имитируется овальной каймой (золоченой или

цветной), замыкающей изображение на манер овальной рамки. По сути же мы имеем дело здесь только с портретной манерой подачи обобщенного образа красавицы. Медальон как декоративный прием становится вместе стилищем некоего идеального типа женской красоты, каким он должен рисоваться в представлении мещанства. Стилиевые истоки этого приема сохранились однако не только в смысле композиционной схемы, но и густо окрасили основные черты содержания самого образа. Социальная характеристика большинства «красавиц», изображаемых на посуде советского «саксонского убора», упирается в такие ляпидарные штрихи, как сверкающий декольтированный бюст, холеное лицо «персиком», пышная прическа и т. п. Впрочем сквозь замусоленную живопись и подслеповатый рисунок этих халтурных деколей можно различить несколько разновидностей образа красавицы, дающих представление об эволюции, которую претерпели строгие портреты великосветских моделей XVIII века в процессе приспособления их к потребностям мелкобуржуазной романтики. Холодная и далекая Мария-Антуанетта постепенно превращается в добротную и несомненную Марту с крепким румянцем и широкой улыбкой, с легкими кудряшками и тяжеловатой нагрузкой поддельных кулонов на неподдельном бюсте, с увесистыми, «в кулак», серьгами, крупными розами и тельевыми бантами. В основе своей эстетический идеал медальонного портрета



№ 3. I. Чашка «саксонского убора».

II. Чайник фасона «Рафаэль».

III. Чашка с «золотой разделкой».

от этого мало изменился. В призрачных маркиз проник лишь колбасный яд бюргерского воображения, взыскующего более солидных доказательств чувственности и более грузных знаков тщеславия. В соответствии с этим архитектурный стиль всего оформления осложняется сентиментальными деталями. Строгий овал рамки медальона сменяется чувствительным символом — контурами лилии или сердечка (см. снимки 8 и 9 чашек Бронницкой ф-ки и сн. 10 Грузинской ф-ки).

Пропаганда реакционной и упадочной трактовки женской красоты в бы-



№ 4. Пасторальный мотив на чайнике типа «Рафаэль» (по преискуранту под № 135).

товом советском фарфоре конечно не исчерпывается рамками «саксонского убора». Переводные картинки, изображающие портреты «красавиц», помещаются на кружках и другой посуде и вне связи с традиционными декоративными схемами, т.-е. не только в качестве деталей, вводимых в более сложную орнаментальную композицию, но и в качестве самостоятельных мотивов оформления. Такова например кружка Дмитровской фабрики, изображенная на снимке 11. Не менее показательной является другая линия того же мотива, образующая в советском бытовом фарфоре особый, параллельный, вдоволь мутный поток обнаженных психей и нимф, пользующихся большими симпатиями у широкого потребителя. Свое победоносное распространение в массовом фарфоре мотив обнаженного женского тела совершил, пройдя по руслу немецкого модерна, и сохранил его стилистические особенности. Обнаженная

фигура, «ню», удержалась таким образом в современном фарфоровом производстве с клеймом двойного опошления своей античной основы; частью — благодаря начинке ее пафосом извилистой текучести и манерной вычурности форм длинноволосых, нездешних дев, частью — благодаря дальнейшему их приспособлению к запросам мелкобуржуазного очага, преимущественно в форме скульптурных фигур на вазах и вазочках для цветов. Образец такой вазы из зеленой массы под стиль модерна с тонкими загибающимися стеблями и рыхлой психеей розового цвета в балетной позе представлен на снимке с продукции Дмитровской фабрики (см. сн. 12).

Давление мелкобуржуазных вкусов в области тематики массовой фарфоровой посуды весьма знаменательно сказывается на опытах той художественной реконструкции, которая, казалось бы, сознательно противопоставляет себя унаследованным от дореволюционного времени мотивам. Чрезвычайно характерным примером гнета старых сюжетных традиций может служить опыт приспособления декоративной схемы все того же саксонского убора к современной тематике, воспроизведенный на снимке чашки Бронницкой фабрики (см. сн. 13). Цветной фон саксонского убора, упрощенный и лишенный орнаментики, опоясывает нижнюю половину чашки, а расположенный в верхней половине рисунок воспроизводит мотив из сельской привольной жизни: игру на дудочке деревенского парня, которого слушает пара растянувшихся на траве девушек. Это — та же, знакомая нам тематика старых пасторалей XVIII века, но только советизированная простодушными средствами: персонажи сценки одеты в простые, легкие костюмы, что повидимому должно непременно свидетельствовать о подлинности их «рабоче-крестьянского» происхождения, а сельский пейзаж передан без всяких сентиментов сухими графическими усиками условной травы и единственным стеблевидным завитком условного куста, послушно огибающего голову сознательной пейзажки. Сами пейзажки, как и вся композиция, очерченные грациозно льющимися контурными линия-

ми, явно эстетизированы в духе абстрактных дев модерна. Но и в такой стилистической маскировке удручающее сходство советских Галатей с их пасторальными прототипами достаточно наглядно разоблачает их подлинное «социальное происхождение».

Использование соблазнительной нарядности «саксонского убора» весьма примечательно обнаружилось в сочетании его элементов с теми декоративными приемами, которые стилистически не связаны со старинным фарфором и его феодально-аристократической сюжетикой, а восходят к модернистическим тенденциям конца XIX и начала XX века, построенным на экспрессии декоративной живописности. Этот стиль оформления в русском массовом фарфоре получил распространение лишь в последние предреволюционные годы и наиболее характерно отражен в мотивах декоративного пейзажа. Советский образец этого типа представляет собою чашка завода «Пролетарий» (см. сн. 14). «Экспрессия» пейзажа, изображенного на ее стенках, поднята смесью различных элементов до балаганной эффектности. Густокобальтовые, почти черные стволы таинственных деревьев в золотых контурах перерезаны сверху и снизу широкими бордюрами такой же разделки, на горизонте «тают» импрессионистически написанные горы, а заимствованные от «саксонского убора» окаймления обрамляют весь пейзаж густыми волнообразными затеками...

Ориентировка на мелкобуржуазный вкус не менее выпукло, чем в сюжетных мотивах, отразилась и в приеме изображения цветов в качестве наиболее распространенного варианта декоративной обработки посуды. Здесь прежде всего следует отметить значительное тяготение к тем типам оформления, в которых цветы являются сопровождением или дополнением сюжетных композиций в качестве акцентированных знаков мещанской эмблематики; в виде незабудок, васильков, анютиных глазок, колокольчиков и т. п. В этих случаях их идеологическая выразительность наглядно перекрывает их формально-декоративные достоинства. Но и вне связи с таким символическим использованием цветов изображение их в качестве са-



№ 5. Изображение «красавицы» в медальоне на чашке Дмитровской фабрики.

мостоятельного декоративного мотива в советской посуде привлекает внимание наличием двух стилистических линий, вернее двух манер обработки, сохраняющих до сих пор в ассортименте преобладающее значение. Одна из них характеризуется грубейшим натурализмом рисунка и нарочитой яркостью окраски. Венки, букеты и, прежде всего, розы сверкают пунцовыми и другими яркими красками, резко моделированы и «лезут» из плоскости, лепестки их нередко обведены рельефными контурами, а в более дорогих сортах кроются



№ 7. Снимок с медальона чашки Дмитровской фабр. (в натуральн. велич.).

местами золотом (см. сн. 15, 16). Эта эстетика целиком рассчитана на невзыскательность вкуса, пленяющегося натуралистической иллюзией, и, пожалуй, наиболее выпукло отражает те рыночные соображения, для которых крайняя культурная отсталость потребителя, в особенности деревенского, является самой подходящей художественной конъюнктурой. Противоположностью этой грубой натуралистической обработке является блеклая подглазурная «под Копенгаген» окраска стенок фарфора с тающими очертаниями увядающих листьев и расплывающейся живописью расслабленных лилий, плачущих левкоев и т. п. (см. сн. 17). Эта стили-

лей, нарушающих своим строением логику рационально сконструированного целого. До сих пор во многих ходовых типах чашек и чайников сохранился фасон ручки, сформованный «под рококо». Такую форму ручки мы находим напр. у чайника, известного под наименованием «Рафаэль», весьма популярного среди широких слоев городских потребителей (см. изобр. II на сн. 3). Из отрошков и бугров (гофрировка) этой формы конструктивно оправданной является только так наз. «наlepка» у верхнего края ручки, служащая опорным пунктом для большого пальца руки при поднятии чайника. Вся же остальная гофрировка ребра ручки, как



№ 11. Тип красавицы на кружке Дмитровской фабрики.

№ 8 в медальонах «саксонского убора» на чашках Бронницкой фабрики.

№ 9

зация модернистического пошиба приравнивается к художественной конъюнктуре другой зоны, целиком городской, стоящей одной культурной ступенью выше первой...

Влияние стилизаторских тенденций и пристрастие к модерну весьма наглядно сказывается и в пластике форм современной посуды. Воздействие старых конструктивных шаблонов отрицательного порядка здесь не так бросается в глаза и не столь разнообразно, как в области художественной разделки поверхности фарфора, но зато они отличаются большей неподвижностью, а попытки их практического преодоления и реконструкции совершенно ничтожны. Имитация отживших исторических «стилей» отложилась на формах посуды уродливыми гримасами, эстетикой затейливых изгибов фарфоровой массы, вычурностями «под рококо» и застыла прихотливыми осколками в ряде дета-

и полуовальные закругления, примыкающие к стенкам чайника,—для «эстетики». Не менее характерна и такая деталь, как неровная обточка нижних ребер стенок у чашки так наз. «лиможской» формы, образующая волнистую линию по кругу доньшка. Никакой «рабочей функции» (как напр. устойчивость посуды) эта деталь конструкции не несет, имитируя лишь форму, которая в свое время имела целью создать впечатление своеобразного перетекания фарфоровой массы за края посуды, внушить ощущение дорогого некогда материала.

В фаянсе и вообще в более дешевых материалах (стекло) эти тенденции принимают резко упадочный характер, знаменательно обнаруживаясь в двух противоречиях, в двойном конфликте, создаваемом стилизаторскими приемами художественной организации формы,— в насилии над природой материала и в



разрыве с функциональным назначением предмета, сильно понижающим его общедоступную пригодность. Весьма ярким образцом такой эстетизации посуды может служить фаянсовая сахарница Тверского завода, изображенная на снимке 18 (выпуск 1930 г.). Ее вычурно гнутая, переливающаяся форма грубо имитирует в пластике фаянсовой массы искусство чеканки художественных блюд и ваз ювелирного производства. Затеяливо накрученные очертания формы в духе вульгарнейшей разновидности модерна должны внушить ощущение более благородного материала и художественно возвысить низкокачественную посуду в глазах потребителя. В ассортименте продукции, предназначенной для нужд низового, особенно же крестьянского, рынка художественная обработка формы характеризуется в большинстве случаев сочетанием фактурного и цветного вуалирования дешевого материала (гофрировка, матовая притирка и окраска стекла и т. п.) со сплошным запрятыванием ее утилитарной конструкции в более или менее натуралистические подобию изображений разных предметов и даже целых сюжетных композиций. Таковы масленки, сахарницы, вазочки, молочники, кувшины из низкосортного штампованного стекла, матового или крашеного. Для этих изделий сложилась своя устойчивая тематическая традиция, замыкающаяся в кругу таких изображений, как курочка-наседка с вылупившимися в корзинке цыплятами, лодочки в форме длинношеих лебедей, тюльпан, колода с торчащим в ней на-отлете топориком и тому подобные предметы вплоть до лубочных композиций на популярные басенные сюжеты. Большинство этих форм является чрезвычайно неудобными футлярами для спрятанной в их полых корпусах посуды и отличается большой ломкостью частей при пользовании (откалываются птичьи хвосты, клювы, крылья, листья и другие выступы, служащие ручками, ножками, подставками). В связи с этим многие из этих форм утрачивают в бытовой практике свое утилитарное назначение, сохраняя лишь свои декоративные свойства и становясь таким образом исключительно предме-

тами украшения жилища, подобно массовой раскрашенной скульптуре. Идеологическая функция всей этой сюжетики в бытовом окружении обнажается с предельной убедительностью. Воспроизводимые на снимках 19, 20 и 21 образцы такой фаянсовой и стеклянной продукции показывают, что отмеченная сюжетная традиция в приемах обработки форм самых массовых сортов посуды сохранилась в полной неприкосновенности в производстве наших заводов («Красный пролетарий», Куршельский завод «Красный гигант», Дятьковский, Волховский и др.)<sup>1</sup>.

Отмечая реакционные тенденции в оформлении современной массовой по-



№ 10. Тип красавицы на чашке Грузинской фабр.

суды, приходится всячески подчеркнуть, что в практике фарфоро-фаянсового производства на сегодняшний день они отнюдь не образуют какой-либо отмирающей или потухающей линии. Тенденции эти все еще являются ведущими, определяющими собою облик основной массы бытового фарфоро-фаянса и значительной (хотя и меньшей) части хозяйственного стекла. Диктатура этих тенденций в системе методов и средств художественной обработки посуды держится не только явным за-

<sup>1</sup>) К сожалению тонкая светопись фото сильно облагородила эти образцы, производящие в натуре окраской, фактурой и низким качеством материала совсем другое впечатление. Тем не менее «качество» самой формы выступает на снимках достаточно наглядно.

Все снимки, приложенные к этой статье, изготовлены фото-лабораторией ГАИСа.

сильем старых образцов и моделей, но и замаскированным их укреплением в опытах «защитной» советизации массовой посуды. В связи с необычайным расширением потребительской базы фарфоро-фаянса и быстрым ростом ее коллективизированного сектора (по линии общественного питания и других форм кооперации быта)<sup>1)</sup> роль этих тен-

просам оформления бытового текстиля, с которым фарфоро-фаянс имеет много общего по художественной емкости производства, по роли рисунка и цвета в образовании фактура, по тесной связи последнего с элементарными бытовыми потребностями повседневной жизни и по неустанному воздействию заложенных в нем эстетических факто-



№ 6. Скульптурное изображение пастушки на вазочке Городищенской ф-ки.

№ 12. Мотив «ню» на вазочке из зеленой массы. (Дмитровского зав.).

№ 12-а. Мотив оформления фаянсовой вазочки.

денций приобретает активно вредный характер, противодействующий перестройке и подьему бытовой культуры трудящихся масс. Задаче преодоления этих тенденций в проблеме оформления массовой посуды должно быть уделено не менее серьезное внимание, чем во-

ров на обиходную обстановку и сознание широчайших масс. Параллель нашей массовой посуды с текстилем напрашивается еще и в другой, более печальной связи: как и фарфоро-фаянс, текстильная промышленность подавлена гнетом методов обработки, унаследованных от капиталистической стадии ее существования, и косный груз старых дореволюционных рисунков и трафаретов все еще властно дает себя чувствовать в ее художественной практике, не мало противодействуя попыткам ее творческой реконструкции. При всем том нынешнее состояние текстильной

<sup>1)</sup> Рост этот особенно значителен в последние годы. По данным Союзстеклофарфора, в общем обороте хозяйственного фарфора доля, падающая на сектор общественного питания, возросла за последние три года с 5% до 30%. В этих цифрах, как и следовало ожидать, отразилась динамика развертывания коллективизации быта в период пятилетки.

промышленности все же не выдерживает масштаба сопоставления с фарфоро-фаянсом ни в смысле неизменности художественных канонов, ни ветхостью почтенных дат, ни преданностью праху феодальных предков. В этом отношении первенство бесспорно по заслугам остается за фарфоро-фаянсом. По сравнению с ним текстиль несравненно менее традиционен и более гибок уже хотя бы в силу меньшей архаичности и неподвижности (технических) основ производства, большего воздействия «моды», сравнительно высокого уровня механизации художественных процессов и ряда других причин. На белизне же стенок фарфоровых чашек, блюдец и чайников, как мы видели, все еще густым слоем лежит пудра, осыпавшаяся с париков придворных кавалеров и фавориток всяческих Людовиков...

Смахнуть эту вековую пудру с массовой советской посуды и превратить фарфоро-фаянсовую промышленность из генератора мещанских идей и эмоций в организующий фактор социалистического сознания и быта — задача не менее серьезная, чем художественная реконструкция бытового текстиля, а неотложность ее разрешения возрастает изо дня в день по мере роста и развития форм общественного питания и быстрого развертывания культурно-бытового строительства в целом. В подходе к разрешению этой задачи наши фарфоро-фаянсовые заводы накопили уже некоторый опыт, заслуживающий внимания и изучения главным образом в качестве материала, иллюстрирующего, что дело обновления нашей массовой посуды не защищено от вредного упрощенства как в самом освещении проблемы, так и в методах ее практического разрешения.

Поучительный пример такого упрощенства дают те новые образцы оформления посуды, в которых «приближение к требованиям современности» исчерпывается вводом советской сюжетики в привычные декоративные схемы. Большинство новых рисунков, получивших более или менее значительное распространение, носит на себе печать этого компромиссного и по сути противоречивого сочетания новых мотивов со ста-

рыми дискредитирующими «новизну» формами. Новые деколи услужливо включают в незыблемую систему художественного оформления чашек и чайников тракторы и красные косынки комсомолок, гладко причесанных колхозников и образцовых по милovidности колхозниц. В живописную разделку включаются на ряду с розами и сакраментальной орнаментикой колосья, молоты, серпы и шестерни с таким же золотым крытьем, как на контурах стеблей и лепестков. Вся эта советизация сюжетных деталей и эмблематики, вводимых без учета всей композиции и от-



№ 14. «Стилизованный» пейзаж. Образец «саксонского убора» на чашке завода «Пролетарий».

кровенно прилаженных к довлеющим над ними мещанским традициям, представляет собою и по содержанию, и по методу обработки образцы более или менее простодушного художественного подхалимажа. С задачами художественной реконструкции массовой посуды и преодоления старых стилистических канонов эти образцы ничего общего конечно не имеют. Это — дань «запросам современности», уплачиваемая неполноценной, а чаще просто фальшивой монетой. В фарфоро-фаянсе торжество этой линии, как это будет показано ниже, обусловлено требованиями дурно понятого «хозрасчета».

Анализируя причины того глубокого разрыва, который образовался между социально-бытовым назначением массовой посуды в советских условиях и характером ее художественного оформления на наших заводах, было бы чересчур наивно (как это нередко делается)



№ 15. Образец натуралистической разделки цветов на фарфор. чашках

№ 16. Натуралистическое изображение цветов с золотой разделкой

№ 17. Обработка цветов «под Копенгаген». Плачущие лилии и расслабленные левкои...

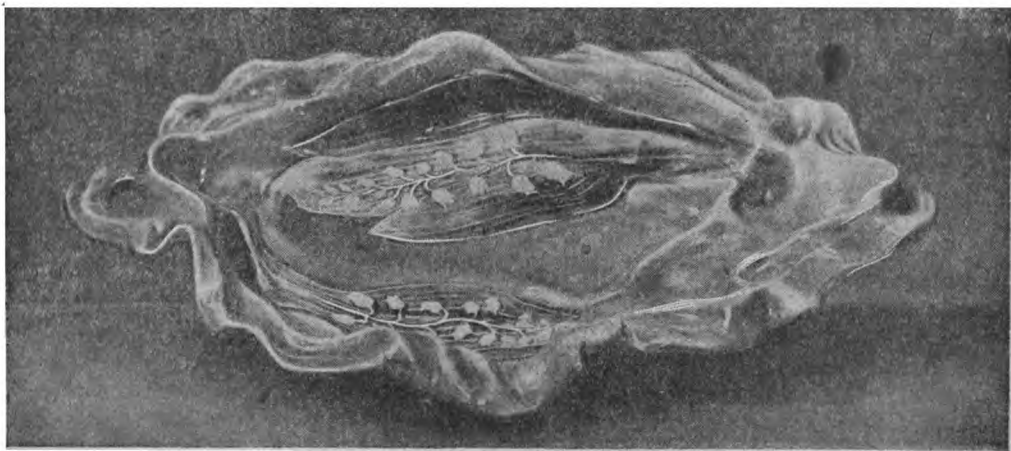
объяснить все дело, как исключительный результат консерватизма художественных пристрастий и вкусов, свойственных хозяйственным руководителям трестов и фабрик, товароведам и ассортиментным бюро. Этот консерватизм играет конечно свою и притом немаловажную роль в числе причин, противодействующих серьезным попыткам обновления массовой посуды, и в этом смысле борьба с ним вполне закономерна и необходима. Но сводить к этому консерватизму все зло и пытаться покрыть им сумму факторов, в силу которых фарфоро-фаянсовая посуда занимает в нашей художественной промышленности положение исключительно стойкой цитадели художественной реакции, было бы конечно явным упрощением и неспособностью видеть более сложные и глубокие причины за явлениями, лежащими на их поверхности. Самый этот консерватизм лишь в известной доле отражает состояние субъективных эстетических симпатий, пусть даже профессионально-групповых (дескать, хозяйственники!), в основном же он является выражением тех производственно-экономических и технических связей, под воздействием которых сложилась художественная политика наших трестов в области хозяйственного фарфоро-фаянса.

Решающее значение для характера и направления этой политики приобрела та роль, которая отведена моменту художественного оформления в экономике производства нашего фарфоро-фаянса. Торговая практика наших трестов и структура отпускных цен хозяйственного фарфоро-фаянса и сортового стекла

показывают, что художественная обработка посуды учитывалась и применялась в качестве фактора, сильно повышающего рентабельность товара. Художественное оформление посуды было не просто одним из компонентов качества продукции, отраженным наравне с другими в цене товара: на него легла, помимо этого, вся нагрузка высокого коммерческого эффекта, все бремя калькуляции прибыльности производства. Это нашло себе выпуклое отражение в построении прейскуранта массовой посуды Союзстеклофарфора. По этому прейскуранту посуда разбита на 14 возрастающих по цене групп в зависимости от художественной обработки предмета. Чашка ценою в 20 коп. (1-я группа) последовательно повышается в группе и в цене, достигая стоимости 2 р. 05 к. (14 группа), в зависимости от типа живописной разделки. Вопрос о достоинстве данного типа живописной разделки с точки зрения коммерческой калькуляции решается соответствием, пригодностью его для данной группы при наиболее выгодном, наиболее низком уровне себестоимости разделки. Для того, чтобы новая разделка могла быть включена в соответствующую (по соображениям максимальной рентабельности) группу, от художника требовалось, чтоб разделка эта по своему внешнему эффекту была не ниже других разделок той же группы, т.е. была бы равноценна им с точки зрения рынка. В конечном счете это обозначало пассивное равенство на образцы, типы и модели, апробированные рынком в качестве бесспорных стандартов художественного качества, импонирующие психологии ме-

щанских вкусов, некультурности и отсталости «потребителя». Практика отнесения продукции к соответствующей по прейскуранту группе показывает, что отбор определенной комбинации разделки, внесение в нее добавочной детали расцветки, включение прозолоти или крытья и тому подобных признаков художественности (в глазах потребителя) служило средством перевода дешевого по существу сорта посуды в разряд квалифицированного художественного товара. Таким же средством увеличения ценности товара, несоразмерным нажимом на рентабельность является применение определенных типов разделки для вуалирования брака продукции. Живописная разделка стала функцией коммерческого расчета, рыночным моментом цены, служанкой рентабельности и в этом своем качестве несла свои обязанности с покорным усердием Золушки. Но такое назначение искусства в производстве и является сущностью прикладничества, столь характерного для практики капиталистической художественной промышленности. Став на путь прикладнической художественной «политики», наша фарфоро-фаянсовая промышленность, вполне закономерно очутилась в плену у тех методов художественной обработки, которые утверждают господство реакционных художественных шаблонов, имитируют отсталую технику оформления, насилуют природу материала и уродуют целесооб-

разные конструкции в угоду мещанским эстетическим соблазнам. Прикладнический принцип, став руководящей линией производственно-художественной практики, вполне последовательно отлился в целую систему эстетических и технических особенностей, отнюдь не обусловленных субъективными пристрастиями хозяйственников. В свете прикладнических способов увеличения стоимости товара становится понятным тяготение к широким, крупным по охвату поверхности посуды орнаментальным разделкам и декоративным схемам, в частности успех «саксонского убора», создающего сравнительно недорогими средствами впечатление высококвалифицированного художественного товара. Удобство таких орнаментальных декорировок обнаруживается весьма убедительно не только в смысле высоты группы (по прейскуранту), но и в смысле легкости вуалирования чересчур явных дефектов продукции, маскировки заметных признаков брака на поверхности фарфора. Сюжетной декорировкой значительно труднее прикрыть разные «мушки», черные точки и тому подобные недостатки, снижающие стоимость товара. Успех декоративных цветов Чехонина или «под Чехонина» в производстве массовой посуды следует в значительной мере объяснить соответствием его крупного «почерка», его жирной, размашистой манеры живописи требованию широкого охвата стенок посуды как рыночному мо-



№ 18. Фаянсовая сахарница Тверского завода. Вычурно-гнутая форма имитирует пластикой металл



№ 19. Образец оформления фаянсовой ма-  
сленницы. Мотив — вылупившиеся цыплята.

№ 20. Образец оформления фаянсового кув-  
шина. Мотив — «лисица и виноград».

менту цены. Прикладническими сообра-  
жениями продиктовано и то предпочте-  
ние, которое оказывалось нашими хо-  
зяйственниками художникам, постигшим  
несложный секрет «осовременивания»  
массовой посуды путем включения со-  
ветских мотивов в традиционные раздел-  
ки и путем защитного переодевания мар-  
киз и пастушек без снижения высоты  
группы (Адамович, Подрябинников).  
Здесь же кроется причина срыва многих  
новаторских попыток молодых худож-  
ников, не сумевших согласовать их с  
установкой прейскуранта. Отсюда же  
берет начало консервативное пристрастие  
хозяйственников к золоту в раскраске  
посуды, охраняемое поощрительным  
вниманием «потребителя» и поощряемое  
внушительной и безошибочно учтенной  
рентабельностью. Характерно, что по-  
следовавший недавно запрет тратить  
золото на такое обслуживание мещанско-  
го тщеславия вызвал форменное заме-  
шательство в художественной практике  
фарфорового производства и «заставил  
пересмотреть всю систему разделок фар-

фора и фаянса»<sup>1)</sup>. Совершенно очевидно,  
что без такого революционного вмеша-  
тельства, продиктованного общегосудар-  
ственными соображениями, фарфоро-  
фаянсовая промышленность ни за что  
не отреклась бы от эстетики золочения  
посуды и решительно отразила бы все  
атаки культурно-идеологических доводов:  
ей не так-то легко было бы выпустить  
из рук самую козырную карту в пестрой  
колоде прикладнических средств. При-  
кладническая политика удерживает в  
системе художественной обработки на-  
шего фарфоро-фаянса жалкое подобие  
ручной росписи архаическим цехом ра-  
бочих-живописцев, тупеющих годами над  
такой художественной работой, как спе-  
циальность по нанесению золотых то-  
чек, специальность по нанесению вино-  
градных ягод и иным художеством.  
Оборотной стороной этой техники яв-  
ляется совершенное неумение (незаинге-

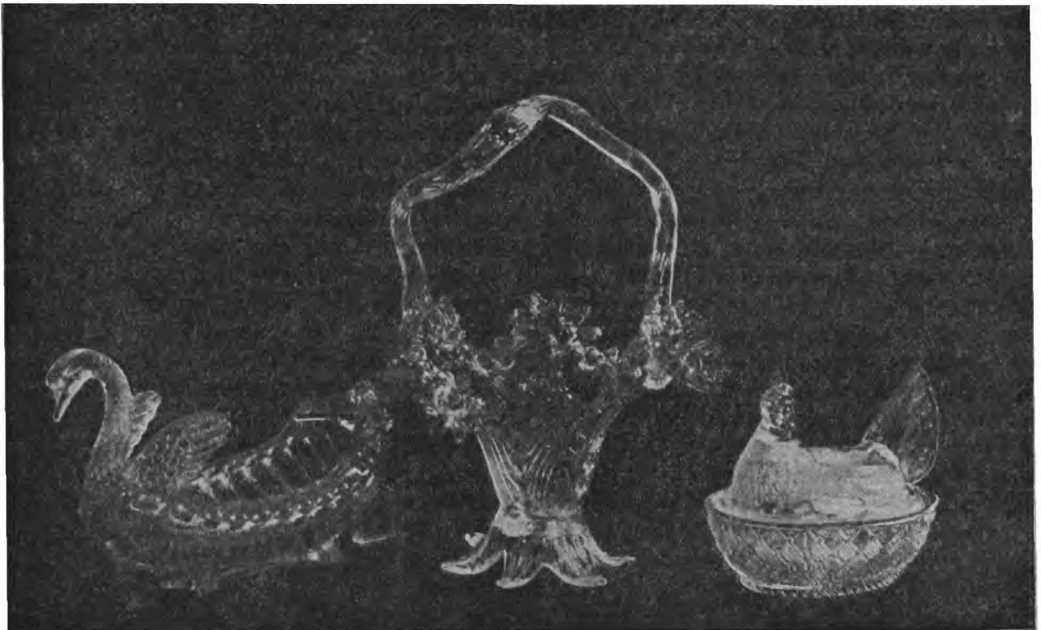
<sup>1)</sup> На это обстоятельство было указано в тезисах Союзстеклофарфора к художественной конференции, созданной Союзстеклофарфором в декабре 1930 г.

ресованность?) по-настоящему выявить возможности механизированных способов разделки (деколь, печать, аэрограф) и употребление их для черной работы по дешевой имитации замшелых «стилей». Нет ничего удивительного и в том, что в результате прикладнического курса наша фарфоро-фаянсовая промышленность оказалась совершенно неподготовленной и безоружной перед лицом такой крупной социально-бытовой задачи, как создание массовой посуды, отвечающей художественным и утилитарным потребностям громадного сектора общественного питания и колхозного строительства. От демонстративного обнажения такого культурного краха она спасена временными затруднениями острой дефицитности.

Против мещанских тенденций в оформлении массовой посуды ведут борьбу отдельные группы художественной молодежи, еще скудно вкрапленные в производство, но одушевленные готовностью проложить пути и укрепить позиции творческого преобразования художественного облика фарфоро-фаянса в духе культурных задач, выдвинутых требованиями реконструкции быта и общего хода социалистического строительства. Они вооружены сознанием непригодно-

сти прикладнических методов художественной промышленности, искренним отвращением к красной халтуре и недурной «вольной» подготовкой. Среди работ этой молодежи имеются уже некоторые, положительные достижения (напр. у бригады художников в Дулеве). Оценка этих положительных образцов новых типов оформления не входит в задачи настоящей статьи, тем более, что деятельность этих партизанских отрядов на фронте производства массовой посуды не меняет общей картины художественной практики, к тому же протекает в условиях, отнюдь не благоприятствующих преодолению дурных традиций нашей фарфоро-фаянсовой промышленности. Совершенно очевидно, что успехи этих начинаний не только не снимают вопроса о путях радикальной перестройки всей художественной практики в области производства массовой посуды, но и должны получить опору в широком проведении ряда общих мероприятий производственно-экономического, организационного и педагогического характера.

Намечая в самой общей схеме систему необходимых предпосылок оздоровления практики оформления фарфоро-фаянса, следует отметить, что противодействие



№ 21. Образцы оформления стеклянной посуды

худшим ее тенденциям вызвало уже попытки изъятия из ассортимента наиболее никчемных, наиболее реакционно-пошлых образцов посуды. Ликвидация «безобразий» путем такого цензурного закрепощения является конечно совершенно необходимой мерой контроля, аналогичной практике распространения произведений любой идеологической отрасли. Но в борьбе за преодоление мещанских и вообще реакционных художественных тенденций, это — лишь негативная часть мероприятий, ни в какой мере не подвигающая вперед проблему положительно-творческой реконструкции оформления массовой посуды. На место изъятых образцов при более или менее строгом проведении цензурного контроля едва ли приходится рекомендовать «голые» формы, лишённые всякой художественной обработки. Уклон в сторону такой аптекарской аскетизации посуды, находящий некоторых сторонников и проповедников во имя абстрактной функциональности, должен быть решительно отвергнут как явно непригодный суррогат решения творческой задачи. Практически он сводится к совету сомнительной ценности: пустоту, образовавшуюся от ликвидации безобразия, заполнить безобразием пустоты от... ликвидации проблемы оформления. Борьба с реакционными тенденциями оформления массовой посуды должна быть конечно одновременно и в основном борьбой за осуществление противостоящих им творческих задач большого внутреннего наполнения.

Сущность хозяйственных установок нашей фарфоро-фаянсовой промышленности (в части посуды), их прикладническая основа является, как было уже указано, весьма неблагоприятной предпосылкой для изжития традиций отрицательного порядка, толкающей в сторону от культурных задач и ведущей на путь сомнительных компромиссов. Борьба за новые пути художественной обработки посуды, за применение новых методов может успешно разворачиваться на базе отказа от прикладнической установки, от деляческой ориентировки на рыночную оценку художественной практики, от подчинения диктатуре «потребительских вкусов». Экономика производства хозяйственного фарфоро-фаянса

должна быть теснейшим образом увязана с широкой постановкой культурно-бытовых задач, — проблема совершенно утопическая в условиях капиталистического производства, но вполне реальная и легко разрешимая в обстановке социалистической промышленности. Оформление посуды должно стать моментом качества продукции, увязанным с ее экономической нормальным соотношением себестоимости и калькуляции расценок наравне с прочими компонентами цены, а не исключительным орудием понижения себестоимости. Изменение прикладнической установки должно лечь в основу борьбы за реконструкцию посуды.

В части производственно-технических установок необходимо держать курс на повышение уровня механических средств оформления, бороться за раскрытие потенциальных возможностей этой техники, как прогрессивного фактора в деле обслуживания потребностей широчайших масс, доступного и дешевого. Ориентировка на массовое производство, на внедрение фарфоро-фаянса в быт деревни заставляет радикально пересмотреть высокомерное отношение к деколи и печатанию и привлечь к исполнению их оригиналов лучшие художественные силы. Культура этих средств художественной техники должна быть очищена от хвостистского имитирования ручной техники и станковизма. Необходимо вместе с тем шире поставить экспериментально-лабораторную работу на более крупных производствах и в частности подойти к разрешению проблемы увязки требования стандартизации форм с задачами художественного порядка на основе учета конструктивных качеств посуды в новых условиях ее рабочей функции и бытования.

Проблема обеспечения фарфоро-фаянсовой промышленности подходящими кадрами квалифицированных специалистов-керамистов и живописцев, вооруженных художественно-индустриальной подготовкой и практическими навыками, грозит стать самым узким местом осуществления реконструкции массовой посуды. Закрытие единственного керамического в РСФСР факультета, состоявшееся в этом году при «активном» попу-



стительстве со стороны самой же фарфоро-фаянсовой промышленности, хорошо характеризует отношение хозяйственников к художественным задачам в области массовой посуды вообще и к подготовке мастеров более высокого типа в частности. Повидимому наличный кадр рабочих живописного цеха считается вполне достаточным резервом для продолжения в будущем привычного им дела. Однако вполне очевидно, что при новых методах художественной работы этот резерв сможет быть использован лишь в самой скромной мере, да и то лишь при условии переквалификации. Задача же подготовки более высокого типа специалистов (проектировщиков, композиторов) требует восстановления закрытого факультета или создания нового, равно как и других мер подготовки художественных сил.

Интересы художественного руководства оформлением посуды должны привлекать к себе самое серьезное внимание как в смысле страховки от давления хозяйственного усмотрения и вкуса, так и в смысле организации широкого общественного контроля. Зародыш такого общественного контроля возник было в лоне Союзстеклофарфора, но опыт его хилого существования в лице художественного совета с неопределенными

функциями и призрачной деятельностью ярко отразил на себе бюрократический источник его зачатия. Практику художественно-политических советов с участием в них рабочих от фабрик и заводов, представителей художественной общественности и других заинтересованных организаций необходимо включить в систему организационных мероприятий в области производства фарфоро-фаянса на таких же основах активной деятельности, как это имеет место в зрелищных предприятиях.

Этот беглый и суммарный перечень стоящих перед фарфоро-фаянсовой промышленностью задач дает лишь общую наметку практических мероприятий, подсказываемых печальным состоянием и культурной отсталостью этого участка художественного фронта. Заострение внимания на рассмотренных нами проблемах как со стороны хозяйственников и художников-производственников, так и со стороны широкой общественности должно быть поставлено в порядок дня нашего культурного строительства для серьезной подготовки наступления на самую косную твердыню художественной реакции и торжествующего мещанства. Голова Марии-Антуанетты должна быть снята со стенок советской фарфоровой посуды!

# Наука и жизнь

## АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН В СОЮЗЕ С РЕЛИГИЕЙ

В. Е. Львов

**М**ировой экономический кризис переплетается с общим кризисом буржуазной науки, глубина которого проявляется, во-первых, в том, что один за другим скатываются к самому открытому богопоклонству уже не только профессиональные «философских дел мастера» классово-научной буржуазии, но и деловитейшие люди физико-математического естествознания. Люди, еще так недавно — как Планк, Филипп Франк, Дж. Дж. Томсон — стоявшие на прочных позициях стихийного материализма.

Во-вторых, загнивание буржуазного естествознания выражается ныне не столько в отдельных «сторонних» философских высказываниях тех или иных ученых. Поповский фасад современного буржуазного естествознания органически срывается теперь с идеалистической гнилью самого содержания их науки, будь то физическая теория, будь то математические выкладки или самый «нейтральный» по виду эксперимент.

Как нельзя лучше это положение вещей иллюстрируется новейшим выступлением Альберта Эйнштейна, выступлением, еще раз напоминающим нам о необходимости выправить наконец в отношении этого крупнейшего буржуазного физика правильную ориентировку, окончательно сбитую и запутанную бывшим философским «руководством».

Речь идет о последней статье Эйнштейна, напечатанной в приложении к

газете «Нью-Йорк таймс» и озаглавленной «Религия и наука».

Начав с отмежевания от так называемых «догматических» религий, — они же «представления о боге с человеческими чертами или о боге-провидении, который покровительствует, судит и наказывает», — Эйнштейн приглашает читателей «Нью-Йорк таймс» подняться вместе с ним на «третий, высший уровень религиозного опыта, который я называю космическим религиозным сознанием».<sup>1)</sup>

«...Какое-либо антропоморфное представление о божестве тут отсутствует. Индивидуум ощущает полную суетность человеческих стремлений по сравнению с благостным и чудесным порядком, который открывается для него в природе и в мире мысли...»

В этом основном тезисе Эйнштейна разумеется отсутствуют какие-либо следы «догматов» или «бога с человеческими чертами». Зато исправно наличествуют все отличительные особенности бога без (совершенно не обязательных, как известно!) человеческих черт. То-бишь пресловутого, составляющего основу основ всякой религии, всякой веры, всякой поповщины, «мирового порядка»...

Ибо если природа действительно существует как непосредствен-

<sup>1)</sup> Подчеркнуто здесь и всюду далее мной.—В. Л.

но и имманентно данный порядок, то этот порядок справедливо не может быть ничем иным как «чудесным» и «благостным» порядком, могущим свидетельствовать только о целесообразности всего сущего. Целесообразности, немыслимой в свою очередь без допущения того, кто полагает цель. И это «то» вовсе не обязательно, как известно, персонафицировать в каком-либо индивидуальном образе, не говоря уже о снабжении «его» бородой и усам. Эйнштейну хорошо известно, что, начиная с Иоанна-богослова и кончая современной американской старой девой, не читавшей Дарвина и умиляющейся «целесообразностью» строения какого-нибудь цветочка — обязанности поддержания вышеуказанного «Порядка» исправно нагружались на вполне различные объекты. Например на «Логос» упомянутого Иоанна, либо, скажем, на «Разум» (с большой буквы) Фомы Кемпийского, на «Направляющую Силу» Боссюэта, на «Энтелехию» Дриша и так далее. Свою интимную близость к этой компании (в которую, следуя старой гробкопательской традиции буржуазной философии, он совершенно противозаконно включает Демокрита и Спинозу), — эту, говорим мы, близость, Эйнштейн и не думает скрывать.

«...Религиозные гении всех времен отличались именно этим космическим религиозным чувством...» И дальше—Эйнштейн не только окончательно расшифровывает своего «космического» боженьку, но и вполне последовательно дает понять, что для утверждения «новой» религии оказываются недостаточными одни только умозаключения и аргументы «от порядка во вселенной», но требуется еще и вера.

«Какую глубокую веру в рациональность строения мира и какое стремление понять хотя бы небольшой проблеск раскрывающегося в мире разума, должны были иметь Кеплер и Ньютон для того, чтобы посвятить долгие годы уединенной и тяжелой работе...»

В завершение общего поповского колорита статье Эйнштейна недостает по существу только одного штриха, а именно: благочестивых выпадов по адресу

«зловредного материализма, который» и т. д. Этого выпада Эйнштейн вполне предусмотрительно не делает. Ибо, заговорив о материализме, пришлось бы не обойти и вопроса о том, что фактический костяк современного естествознания, с материализмом связанный, всеми своими соками этот материализм питающий, что факты давным-давно уже разбили вдребезги теорию всеобщего «порядка», «господствующего» в физической вселенной. Точнее: они, факты, давно расшифровали сокровенную пружину и внутренний механизм тех явлений устойчивого равновесия и устойчивой структуры («порядка»), которые действительно наблюдаются в целом ряде процессов природы.

В живой природе полезное для жизнедеятельности устройство организмов, как давно уже известно со времен Дарвина, является следствием выживания наиболее приспособленных и гибели миллионов дисгармоничных особей.

В неживой природе все явление устойчивости является также автоматическим результатом сохранения отдельных равновесных сочетаний электронов и атомов среди колоссального «беспорядка», слагающегося из мириадов неустойчивых процессов, кончающихся разрушением и оказывающихся затем вне поля зрения наблюдателя. Еще 60 лет назад это обстоятельство было отмечено идеальным Кропоткиным, указавшим, что кажущаяся «гармония неба» является иллюзорным следствием ничтожности того временного масштаба, которым располагает человечество. И в частности идеальный «часовой механизм» солнечной системы, неизменно приводивший в умиление поповствующих астрономов всех времен, является, как мы знаем теперь после исследований Си, результатом своеобразного естественного отбора среди планет, сопровождавших солнце в начале космогонического периода в количестве не десяти<sup>1)</sup>, как сейчас, но многих десятков тысяч штук. Ясно, что орбиты этих планет были расположены в полном беспорядке, и в

<sup>1)</sup> Включая пояс астероидов.

течение миллионов лет солнечная система представляла собою «кашу», в которой планеты беспрестанно налетали друг на друга, взрываясь в пыль. Пока не уцелело девять больших планет с софокусными, лежащими в одной плоскости и обладающими ничтожным эксцентриситетом, т.е. наиболее немешающими друг другу орбитами, обеспечивающими сейчас «порядок» системы. Обращающийся и поныне между Юпитером и Марсом рой астероидов, т.е. остатки разлетевшейся на тысячу с лишним мелких кусков планеты, является одним из живых свидетелей этого «беспорядка». Аналогичную роль играют и почти ежегодно вспыхивающие на небе «новые звезды», сигнализирующие нам о внутренних взрывах; разрушающих вздрезги целые миры, т.е. опять-таки о далеко не «благостных» событиях, беспрестанно нарушающих «гармонию неба».

Обо всем этом не упоминает Эйнштейн, но зато не забывает вполне точно и отчетливо сформулировать сокровенный социально-классовой стержень своего выступления. Стержень, являющийся, как известно, *raison d'être* всякой (даже самой «космически»-абстрактной) религии и выпирающий из цитируемой статьи так же ясно, как и из любого поповского «боговдохновения».

«...Индивидуум чувствует полную суетность человеческих желаний по сравнению с благостным и чудесным порядком...» (см. выше).

«Он ощущает свое индивидуальное существование как плен и жаждет испытать полноту существования как единение со вселенной».

Разумеется, мы знали это уже давно! Все религиозные дороги ведут в Рим классовой политики буржуазии, и «космическая» эйнштейновская дорожка делает это только на немногим более высокой, «научной» базе, чем старые поповские песенки.

Перед лицом раскрываемого и направляемого «Разумом» мирового «порядка», суетные человеческие желания (направленные например на борьбу за коммунизм или на свержение капиталистического порядка) само собой не мо-

гут и не должны ничего в этих «порядках» изменять. И, разумеется, гораздо «благостнее» будет для эксплуатируемых «индивидуумов» всех стран просто напросто переждать «плен» брэнного «обособленного существования», чтобы затем отквитаться на удовольствиях «единения со вселенной».

К утешению adeptов «новой» религии для них на том свете не приурочено повидимому Альбертом Эйнштейном никакого «ада», но только «рай» и в отличие например от буддизма грешники навряд ли будут наказаны даже лишением нирваны...

Является ли самоновейшее поповское наступление Эйнштейна чем-либо посторонним и «случайным» по отношению к содержанию его собственных исследовательских работ в области физической теории? Или же эти работы вполне закономерно послужили питательной средой, на которой только и могли вырасти такие, с позволения сказать, фрукты, как «космическая религия»? Ответ будет поучителен. Всеми идеологическими корнями эта последняя связана с научным багажом Эйнштейна и в частности с теми разработанными им отделами теоретической физики, которые известны под названием общего принципа относительности.

Бесконечная и полностью дезориентировавшая советского читателя путаница, внесенная в оценку работ Эйнштейна, как со стороны чересчур усердных «критиков» (критиковавших не то, что нужно было критиковать), так и «пантегристов» из бывшего «руководства» хваливших не то, что следовало хвалить, заставляет заново проанализировать проблему.

В релятивистской физике следует различать:

1) основную физически-достоверную идею принципа относительности и весь конкретный физический материал, вокруг этой идеи группирующийся и экспериментально частично ее подтвердивший;

2) те физико-математические обобщения и построения, которые, ничуть не вытекая из основной идеи теории и в некоторых местах прямо ей противореча, с легкой руки физиков-идеалистов и в пер-

вую очередь самого Эйнштейна пышно разрослись, заслонив собою все здание теории и спутав карты не только профессиональных философов, но и самих физиков.

Основная идея теории, как известно, проста и вполне закономерна для теории познания диалектического материализма. Идея эта говорит о том, что формулировка законов природы не должна зависеть от «точки зрения» субъекта, точнее говоря, от состояния движения субъекта, от того, движется ли он в данный момент равномерно или ускоренно или как вообще угодно. Неверно, разумеется, что теория относительности формулирует законы природы как-то вообще независимо от всякого субъекта (Семковский). Всякое познание осуществляется в «точке скрещения» и взаимопроникновения субъекта и объекта, где нельзя элиминировать одного от другого. Но важно то, что физические законы об'ективно существуют и прочное, не могут видоизменяться в зависимости от того, на каком поезде едет или на какой планете находится сейчас субъект. Хотя бы потому, что и поезд, и планета, и субъект являются частью мирового объекта. Именно об этом и говорит отправной пункт теории относительности. Будучи целиком оправдана на повседневном житейском опыте в области чисто механических (и наблюдаемых на равномерно и прямолинейно движущихся «системах отсчета») явлений <sup>1)</sup>, эта идея конкретно не затронула до поры до времени в физике явлений немеханических (электромагнитизм, свет), пока опыты Физо и Майкельсона прямо не потребовали применения ее к законам распространения света. Первая заслуга Эйнштейна (в 1905 г.) и заключалась в формулировке указанной идеи в качестве всеобщего физического принципа и в математической разработке (совместно с Лоренцом) конкретных физических следствий из этого принципа пока лишь для случаев равномерно и прямолинейного движения («частный принцип относительности»). Ряд

<sup>1)</sup> В каюте движущегося равномерно парохода можно играть на бильярде так же, как в комнате.

предсказаний, выведенных из этой части теории (изменение массы электронов в зависимости от скорости и т. д.) в 1912—14 гг. получил блестящее подтверждение на опыте.

Дальнейшее распространение того же хода мыслей на все без исключения состояния движения (на криволинейные движения материальных масс в силовых полях), известное под названием общего принципа относительности, потребовало в области математического оформления преодоления гигантских трудностей. Это и было выполнено Эйнштейном в 1915—16 гг. Написанные им уравнения охватывают в действительности все механические состояния наблюдателя (а именно: движение вращательное и движение в поле тяготения), кроме движения в электромагнитном поле (включение этого последнего в теорию вчерне произведено Эйнштейном в 1929 г.).

Как и преобразования частного принципа относительности, уравнения Эйнштейна 1915 г. («уравнения ковариантности») принесли возможности предсказания новых физических закономерностей и феноменов. Основными плодами теории являются здесь: 1) вывод более точной, чем ньютонова, формулы закона всемирного тяготения, подтвердившейся на тончайшем промере орбиты планеты Меркурия; 2) предсказание явления притяжения световых лучей солнцем, оправдавшееся, как показали последние промеры в 1931 г., пока лишь качественно, но не количественно.

На этом собственно кончается физически достоверная часть теории и начинаются вещи, привнесенные туда Эйнштейном совершенно независимо от конкретного содержания общего постулата относительности. Вещи, сплошным метафизическим туманом застилающие этот постулат и небезвыгодно эксплуатируемые до сего дня буржуазной физикой.

Мы будем говорить о так называемом четырехмерном континууме или о теории «кривизны» пространства.

Начнем с того, что уравнения преобразования общей теории относительности

сти, как и все вообще уравнения физики, содержат три геометрические координаты  $x$ ,  $y$ ,  $z$ , определяющие три измерения реального пространства плюс независимая переменная  $t$  (время), что выражает тот основной познавательный факт, что все процессы природы имеют пребывание в трехмерном пространстве и развиваются во времени. Стало быть, всех основных величин (параметров) в этих уравнениях в общей сложности имеется четыре.

Всякое же непрерывное многообразие (континуум) четырех величин может быть формально-геометрически рассматриваемо как «четырёхмерное пространство», или континуум «точек», измеряемых четырьмя равноценными друг другу (и потому записывающимися в единообразной форме) координатами  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$ . Сами же «уравнения ковариантности», представляющие определенные преобразования от одной функции четырех параметров  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$  в другую могут быть тогда формально истолкованы как уравнения перехода от одной «системы 4 координат» к другой. Т.-е. как уравнения геометрии «четырёхмерного пространства». В такой именно форме их и переписал Эйнштейн.

Пользоваться моделью четырехмерного континуума и вообще фиктивными многомерными «пространствами» (издана имеющими хождение в повседневной работе физики под названием «фазовых» пространств) как техническим приемом исследования и вычисления есть, разумеется, вполне законная вещь. Однако при этом нельзя забывать, что единственное объективно-реальное физическое содержание, вкладываемое в уравнения общей теории относительности, выражается только в том, что эти последние суть «уравнения преобразования», аналогичные «преобразованиям Лоренца» частного принципа относительности. Т.-е., что они являются только рабочим математическим аппаратом для перехода от одной «точки зрения» наблюдателя физических процессов к другой, аппаратом, непосредственно обслуживающим требования, налагаемые общим постулатом относительности и представляющим тем самым математически-адекватное выражение, — перевод на матема-

тический язык этого краеугольного постулата материалистической физики.

Но вот именно это материалистическое содержание гениальных уравнений с самых же первых шагов и выбрасывается за борт Эйнштейном, и «общая теория относительности» оказывается фактически замененной совершенно принципиально чуждой ей теорией «кривизны пространства» путем следующего формалистического трюка.

Представляющий, как мы видели, лишь математический прием — рабочие леса для вычислений, — четырехмерный континуум превращается Эйнштейном в... непосредственную физическую реальность. Единственно же реальное трехмерное евклидово пространство и самостоятельно от него текущее (образующее о себе мировое качество) время объявляются потерявшими отдельное существование «теньями» (Минковский) и фикциями человеческого восприятия.

Об высшей степени «оригинальных» последствиях этого не выдерживающего критики ни с методологической, ни, как мы увидим, с чисто физической точки зрения маневра — ниже. Сейчас же скажем только, что сам по себе этот ход рассуждений с очевидностью выдернут из старого тряпья махистской физики и в частности из той разновидности махизма 1905—10 гг., которая связана с именем Пуанкаре.

В усовершенствовании устаревшего кантианского положения о первичном происхождении трехмерного евклидова пространства и времени, как априорных воззрительных форм субъекта, Пуанкаре выдвигал на ту же должность более общее «шестое чувство континуума» (т.-е. непрерывности в широком смысле). И тот факт, что конкретно «конструируемый» нами мир — именно трехмерен, является с этой точки зрения лишь чистой физиологической случайностью, обязанной — как анализирует Пуанкаре — определенному устройству мышечной системы тела и в частности двигательных мышц сетчатой оболочки глаза. Вопрос же о том, какому именно из разномерных «фазовых» пространств, встречающихся в уравнениях разных отделов физики, отдать предпочтение, разумеется, не имеет тогда по-

знавательного смысла, и дело решается в каждом отдельном случае исключительно соображениями удобства и «изящности» тех или иных математических манипуляций.

В действительности, как мы знаем, соображения махистской «эlegantности» и «наибольшей экономии мышления» и сыграли решающую роль при переходе Эйнштейна от трехмерного к четырехмерному (а в 1929 г. и к пятимерному) миру.

Вынужденный однако как физик признать сконструированный им (и Минковским) четырехмерный континуум не просто как умозрительное построение, а как объективно существующую реальность, Эйнштейн, разумеется, должен расстаться в этом пункте с гостеприимным отчим кровом своего венского учителя. С завидной плавностью его теория <sup>1)</sup> перекачивается после этого на рельсы, ведущие прямо к новейшему космическому боженьке, с одной стороны, и к механическому, с позволения сказать, «материализму» — с другой. Комбинация, еще раз наглядно иллюстрирующая тот факт, что «механицизм», развитый до своего логического конца, неизбежно превращается в самую оголтелую поповщину: «единство противоположностей», в котором впрочем никто никогда не сомневался!

Начнем с того, что в 1914 г. Минковский, оставаясь еще в рамках частной теории относительности, переписывает основные уравнения этой теории (преобразования Лоренца) таким образом, чтобы, заменив содержащиеся в них физические величины  $x, y, z, t$ , геометрическими координатами  $x_1, x_2, x_3, x_4$ , превратить уравнения преобразования реального движения тел в уравнения «поворота координатных осей» в «четырёхмерном пространстве». Это последнее фиктивное «пространство», которое, ничто же сумняшся, Минковский называет «Миром», по своим формальным геометрическим свойствам оказывается еще евклидовым (т.-е. бесконечным и обладающим свойством: «сумма углов треугольника равна двум прямым») пространством. Уравнения же

преобразования общего принципа относительности, в которых  $x, y, z, t$  трактуются Эйнштейном как еще более обезличенные, «гауссовы», координаты  $x_1, x_2, x_3, x_4$  приводят в 1915 г. к континууму четырехмерных «точек», не имеющему уже евклидового характера.

Отдельные участки этого последнего континуума можно однако путем определенных математических приемов (приравнивая одну из четырех координат — постоянной и т. д.) рассматривать для удобства «в проекции на трехмерное пространство», подобно тому, как любое трехмерное тело может быть спроектировано (и этим пользуются в строительной технике) на двухмерную плоскость. В соответствии с неевклидовостью исходного четырехмерного континуума его трехмерная «проекция», т.-е. трехмерное пространство, рассматриваемое отдельно от времени в «Мире» Эйнштейна, — также не евклидово, иначе говоря, оно имеет «кривизну». («Представить» себе кривизну трехмерного пространства рекомендуется «по аналогии» с кривизной поверхности моря, подернутой рябью. В данном случае нужно пытаться «вообразить» волну на трехмерной поверхности четырехмерного «моря»).

В истолковании различных выводов, извлекаемых из математического аппарата своего четырехмерного континуума, Эйнштейн и предпочитает на каждом шагу пользоваться именно кривизной трехмерного пространства, как бы идя навстречу физиологической немощи своих «наблюдателей», привыкших к трехмерным пространственным ощущениям и требующих во что бы то ни стало — вынь да положь — трехмерное пространство и отдельно от него текущее время!

Маскировка, не могущая, разумеется, принципиально ничего изменить и никогда, кроме безнадежных эклектиков, обмануть.

Действительно, гипотеза «кривого» трехмерного пространства не только не упраздняет гипотезу физической реальности четырехмерного континуума, но целиком содержится в этой последней.

Центр тяжести проблемы заключается при этом отнюдь не в неудобоваримости пресловутой «кривизны», не в

<sup>1)</sup> Речь идет все о том же, насильственно прикрепленном Эйнштейном к общему принципу относительности «континууме».

тех рогатках, которые она ставит наглядному мышлению. Факт кривизны и неевклидовости трехмерного мира,—сам по себе более «странный», чем, скажем, возможность существования антиподов или относительность «верха» и «низа, мог бы быть теоретико-познавательным ничем не опровержен, если бы была гарантия достоверного физического происхождения этого факта. Диалектический материализм в конце концов заинтересован в евклидовости и в «прямизне» мирового пространства не в большей степени, чем материализм времен Галилея и Джордано Бруно был заинтересован в плоскости и в неподвижности земли.

Гвоздь вопроса заключается именно в происхождении упомянутой «кривизны». Суть вопроса в том, что, будучи целиком извлечена из заведомо не допускающей никаких экстраполяций на физически реальный мир математической конструкции, эта «кривизна» является такой же фикцией, как и породивший ее «континуум». Математически говоря, «кривой» трехмерный мир, полученный так, как он получается из уравнений Эйнштейна, есть часть четырехмерного континуума. Аналогично например двумерная поверхность куба может быть сконструирована как часть трехмерного пространства. Еще иначе говоря: сама кривизна трехмерной геометрии в уравнениях Эйнштейна является следствием загиба трехмерной «сверх-поверхности» в четвертом измерении.

В сетях именно этого тонкого пункта запуталось в свое время большое число физиков и философов, писавших и говоривших об общей теории относительности. В том числе в свое время и автор этих строк, углубивший эту ошибку (в ряде печатных и устных выступлений) вплоть до так называемой проблемы конечного пространства, — о чем ниже.

Итак, допущение «физической реальности» «кривизны» пространства вытекает из допущения физической реальности четырехмерного «Мира» Эйнштейна, и сам этот «Мир», даже будучи искусственно отрехмерен, принципиально ничем не отличается от «Мира» и континуума Минковского.

В обоих же этих «Мирах» мы не имеем никакого движения, никаких вообще процессов изменения реальной материи в пространстве и во времени. Оба эти «Мира» абсолютно лишены какого-либо развития. Развитие, изменение, движение, вплоть до простейшего механического перемещения тел из реальности становятся фикцией и «тенью», подобной «теньям» трехмерного евклидова пространства и отдельно от него текущего времени.

Действительно: каждому положению материальной частицы в данный момент времени  $t$  в данном месте  $x, y, z$  соответствует одна определенная точка («Мировая точка», по терминологии Минковского) в четырехмерном континууме. Перемещению же частицы из точки № 1 в точку № 2 за время  $t$  будет соответствовать непрерывная и однозначная последовательность мировых точек, т.е. отрезок линий в четырехмерном пространстве. Линии, могущей быть прямой или кривой с любым количеством кривизн<sup>1)</sup> в континууме Минковского, в «Мире» же Эйнштейна — и в этом вся разница! — обязанной быть всегда кривой тройкой кривизны. «Третья кривизна» или кривизна по четвертому перпендикуляру, является здесь мерой массы, т.е. количества материи, участвующей в процессе.<sup>2)</sup> Заметим, что в пятимерном новейшем «Мире» эйнштейновой единой теории поля движение точки должно изображаться уже кривыми четверкой кривизны. Спасибо и на том! Так или иначе, но во всех трех «Мирах» динамика превращается в геометрию. Развивающееся же во времени движение и всякий вообще материальный процесс превращаются в «Мировые линии», относительно которых нельзя уже больше сказать, что они «проведены» во времени. Ибо четвертая координата, по-старинке называемая «координатой времени», уже ничем больше не

<sup>1)</sup> В четырехмерном пространстве линия может изгибаться максимум по трем направлениям, а не по двум, как в пространстве трехмерном.

<sup>2)</sup> Сама же материя отождествляется с «кривым» пространством, т.е. с четырехмерным континуумом.



отличается принципиально и не отделяется практически от координат пространства. И весь мировой континуум всеми своими точками, а значит и точками соответственных «мировых линий», существует неизменно и «одновременно», как целое. Кривые, заменяющие прежние движения в пространстве и во времени, таким образом неизменно даны как таковые вместе со всем «миром», их включающим. Физические события становятся из «происходящих» (Geschehen) в трехмерном пространстве в некотором смысле «существующими» (Sein) в четырехмерном (теперь в пятимерном. — В. Л.) «мире»... (Эйнштейн).

Колоссальный абсурд и идеалистическая суть софизма, лежащего в основе теории континуума, выясняются именно в этом пункте.

Ибо в том-то и дело, что пространство и время не всегда находятся между собою в механическом единстве, но время представляет совершенно особое и совершенно самостоятельное, притом важнейшее мировое качество. Время является адекватным отображением в нашем создании факта самодвижения всякой материи, т.-е. того факта, что ничто в природе ни в один мельчайший элемент бытия не является неизменным, но находится в состоянии развития.

Больше того, во всех не-механических процессах, при всяком не-механическом самодвижении (будь то история ирландской литературы или, скажем, процесс обдумывания данной статьи), координата времени оказывается не только непосредственно не связанной с координатами пространства, но должна рассматриваться отдельно от них. Суть дела в том, что, разыгрываясь, разумеется, в пространстве, эти процессы протекают при константно закреплённых координатах  $x$ ,  $y$ ,  $z$  (другими словами, «место действия» — «Ирландия» или «тело человека», в наших примерах — остается неподвижным). В результате чего, в специфические законы развития этих процессов входит только один общефизический и

общемировой параметр: время<sup>1)</sup>. Взаимосвязанность же четырех переменных параметров  $x$ ,  $y$ ,  $z$ ,  $t$  есть специфическое свойство только одного, узкого ряда природных процессов, а именно процессов перемещения материальных объектов в пространстве. Таким образом знаменитое утверждение теории Минковского—Эйнштейна: «отныне пространство и время теряют право на самостоятельность и, взятые отдельно друг от друга, обращаются в «тени», означает не что иное, как признание того, что все явления мира суть механические процессы. Притом процессы, сводящиеся уже теперь даже не к перемещению частиц или волн в трехмерном пространстве, но к абсолютно застылому «существованию» в виде точек, линий и поверхностей четырехмерного континуума! Сама материя, как уже было сказано, полностью отождествляется при этом<sup>2)</sup> с четырехмерным континуумом («материя есть синтез пространства и времени». — В. Гессен). Единственным атрибутом материй оказывается тогда голое картезианское протяжение, переименованное в эйнштейнову «кривизну»!

Нет ничего удивительного после всего этого, что вокруг теории кривизны пространства трогательно объединились: неокантианец Кассирер, махист Фрейндлих и советские механисты и «механоиды» всех видов и толков, поднявшие на щит учение о синтезе пространства и времени при полной растерянности бывшего «философского руководства», не сумевшего отделить материалистический «общий принцип относительности» от идеалистической «теории континуума» и полностью дезориентировавшего тем самым советскую физику и широкие читательские круги в СССР.

1) Конечно всякий не-механический процесс, как заметил еще Энгельс, имеет в качестве непрменной составной части и определенное механическое явление. Это последнее характеризуется изменением пространственных параметров, не определяющих однако ход основных слагаемых процесса, управляемых своими качественно-специфическими параметрами плюс время.

2) С 1929 г. — с пятимерным.

Пресловутое «единство» элементов материального мира, будто бы скрывающееся в многомерных континуумах Минковского — Эйнштейна, так же, как уже было замечено выше, сумело достаточно сбить с толку многих, специально занимающихся, вопросами философии естествознания товарищей. Хотя уже с первого взгляда ясно, что это «единство» покупается ценою механистического выхолащивания качественного своеобразия основных физических величин — времени и массы, превращаемых теперь в простые геометрические координаты.

При более точном рассмотрении даже и это пресное механистическое «единство» оказывается однако чистойшей иллюзией, обязанной доведенному до абсурда формально-махистскому подходу к математическим уравнениям физического мира. В самом деле при построении своего четырехмерного «Мира» Минковский в качестве четвертой координаты  $x_4$  фактически вводит не время, но случайно<sup>1)</sup> подобранный в преобразованиях Лоренца величину  $\sqrt{-1 \cdot c \cdot t^2}$ . Континуум Минковского таким образом нимало не представляет собою слившиеся в органическое целое величины: пространство и время, что служило как-никак единственным *raison d'être* для всего поднятого вокруг этого континуума сыр-бора. Но он (континуум) представляет совершенно искусственное математическое многообразие вполне абстрактных чисел  $x$ ,  $y$ ,  $z$  и  $\sqrt{-1 \cdot c \cdot t}$ , могущих претендовать на какой-либо «глубокий внутренний смысл» или на физическую реальность не в большей степени, чем любое «фазовое» пространство из 6 или 36 или хоть из 1.000 измерений.

В тем большей степени это относится к континууму, конструируемому из уравнений общей теории Эйнштейна, поскольку четыре координаты  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$  никаких вообще математически не соотносятся здесь с тремя реальными координатами евклидова пространства  $x$ ,  $y$ ,  $z$  и с временем  $t$ . Но представляют

<sup>1)</sup> Случайно в том смысле, что величина эта присутствует в преобразованиях Лоренца не по внутренней необходимости, вытекающей из самих преобразований.

<sup>2)</sup>  $c$  — скорость света;  $t$  — время.

собой, как уже было сказано, гауссовы, т.е. окончательно обезличенные и абстрактно «математические», координаты, вполне произвольно ставимые на место физических величин  $x$ ,  $y$ ,  $z$ ,  $t$ .

Неверно таким образом положение, что континуум Минковского, а также четырехмерный «Мир» Эйнштейна в ключают в себя время, соединившиеся с пространством в некоем многозначительном синтезе. Верно то, что скомпанованные указанными учеными «Миры» лежат целиком вне времени. Что делает, разумеется, спиритические явления лишь детской игрушкой по сравнению с «замечательными» возможностями, скрывающимися в обоих этих «Мирах».

В общем итоге, не только с общетодологической, но и с чисто физической точки зрения, гипотеза о четырехмерном «Пространстве — Времени», а также о «кривизне» и «неевклидовости» мирового пространства вместе со всеми вытекающими отсюда «оригинальными» выводами оказывается построенной на фантастическом фундаменте, подведенном впрочем с весьма определенной «задней» метафизической мыслью.

Нам остается теперь проследить прямые нити, ведущие от механистической теории континуума к новейшим «космически — религиозным» откровениям Эйнштейна.

Распростертая во вневременной неподвижности четырехмерная вселенная Эйнштейна не имеет очевидно ни настоящего, ни прошедшего, ни будущего, вернее в ней одинаково реально и неизменно существуют рядом: и «прошедшее», и «настоящее», и «будущее». Становятся таким образом вполне возможными путешествия на машине времени в любом направлении, а также разговоры с давно умершими людьми: почему бы и нет? — раз эти люди продолжают невидимо существовать «рядом» с нами, равно как например и ихтиозавры каменноугольной эпохи, а также люди, вовсе не родившиеся еще на земле!

Обеспечено также всем достоянием пресловутого континуума и «бессмертие души», поскольку умерший субъект никуда «не исчезает», но продолжает «со-

существовать» вне времени и трехмерного евклидова пространства.

Теперь понятно, почему эйнштейн-нианский «индивидуум» в «Нью-Йорском таймсе» так тяготится «племом индивидуального существования». Ведь он жаждает испытать «полноту существования», как «единение со вселенной», т.е. очевидно с теми краями четырехмерного континуума, где нет ни коммунистов, ни фашистов, ни такого положения вещей, когда гг. Брюнинг и Лютер не выдают денег из сберкасс...

Вся история мира также может считаться уже совершившейся, поскольку каждый электрон уже вычертил в мировом континууме свою провиденциальную «кривую». И тот факт, что мы, живущие в 1931 году на земном шаре, осознаем во времени лишь какие-либо средние отрезки этих кривых, является очевидно чистой случайностью, подсказывающей впрочем совершенно конкретную тактику житейского поведения. Тактику, целиком совпадающую с той, которая дана в «космической религии» того же автора. Действительно, поскольку всё будущее индивидуума и всего четырехмерного мира начисто predeterminedены, и сам этот мир, лишенный для человека каких-либо новых, зависящих от борьбы и борьбою добываемых возможностей, предстоит перед «наблюдателем» как некий нерушимый «Порядок», постольку самым мудрым поступком является фаталистический отказ от всякой активной деятельности, кроме созерцания таинственных мировых кривых, «благостным» и «чудесным» образом погибающих в четвертом измерении.

Диалектико-материалистическая концепция мирового процесса, в которой единственно реальное бытие имеет только один момент и притом «текущий», движущийся, становящийся момент, непрерывно прокладывающий себе дорогу в будущее «ничто» и столь же непрерывно отбрасывающий отработанные события в «ничто» прошедшее. — эта концепция развития и борьбы за будущее, которую ведет человек, не только созерцающий порядок мира, но и активно этот порядок пере-

делывающий, — всё это находится в таком же примерно взаимоотношении с гнилым болотом эйнштейнова «континуума», как: металлургический завод и церковь, религия и наука, поп и большевик...

Не желая испытывать больше терпения читателя, переходим наконец к самой последней, коллективно дописываемой в настоящие дни главе фантастического романа, называемого «Четырехмерное Пространство — Время», — главе, персонально приводящей уже нас и к самому космическому боженьке, как-никак достаточно долго (с 1915 года) терпеливо дожидавшегося своей очереди в теоретической передней Эйнштейна!

Выше уже упоминалось об удобной для манипуляторов общей теории относительности математической возможности «проецировать» события, «существующие» в четырехмерном континууме, на более привычный трехмерный пространственный фон. После чего они (события) как бы выходят из своего оцепенения и начинают двигаться, разумеется, в иллюзорном восприятии «наблюдателя».

Сравнительно небольшие, непосредственно окружающие наблюдателя участки четырехмерного «Мира», как указывалось, превращаются при этом в искривленные неевклидовы трехмерные области. Искривленные тем больше, чем больше материй сконцентрировано в данном участке.

Следующим шагом вперед мог здесь явиться так называемый «взгляд на мир как целое». Под этим названием понимается выяснение того — как предполагается, весьма глубокомысленного — обстоятельства: какой «вид» и «форму» должно представлять для наблюдателя вселенной всё её трехмерное «кривое» пространство, взятое в целом? Это можно очевидно узнать, если «вычеркнуть» из всего четырехмерного континуума, взятого как целое, одно измерение и посмотреть, «что из этого получится».

...Бумага всё терпит, и выкладки, предпринятые в указанном направлении самим Эйнштейном и голландским астрономом Де-Ситтером, привели еще в 1917 г. к «ошеломляющему» резуль-

тату. Трехмерное пространство вселенной получилось не просто как бесконечная «сверхповерхность», искривленная на подобие волнующейся поверхности моря, но как сверхповерхность, замкнутая сама в себе. Вся трехмерная вселенная в целом, другими словами, погибает в четвертом измерении, подобно тому, как земная поверхность погибает в измерении третьем. Аналогично конечности площади земной поверхности становится тут конечным и «объем вселенной», определяемый «радиусом мира» (так же, как земная площадь определяется радиусом земли). В конечном «объеме мира» функционирует — соответственно — и конечное количество материй.

Полный (и строго соответствующий абсурду посылки<sup>1)</sup> теоретико-познавательный абсурд в выводе о конечности мира и материи, а значит и об исчерпаемости их познания, сам по себе мог бы явиться сигналом, вежливо намекающим на бессмысленность и беспечность продолжения дальнейших «космологических» спекуляций.

Однако хорошо смазанная<sup>2)</sup> математическая машина и не думала стопорить свой ход...

В частности по вопросу о конкретной величине «радиуса мира» и о том, какую именно конечную геометрическую фигуру являет собою «замкнутый в себе» мир, вычисление привело к двум совершенно различным, но математически равноправным решениям. Оставалось сверить оба «решения» с астрономическими данными, что и было произведено Де-Ситтером в 1928—30 гг. Результат не заставил себя долго ждать.

Оба решения привели к... абсурдным с точки зрения живой астрономической действительности выводам. Первое из этих решений потребовало существования вселенной в виде некоего «сверхяйца», плотно набитого (в количестве 2.000...000 (49 нулей) тонн) материей, находящейся в состоянии... полного покоя! Второе решение уверенно заявля-

ло о существовании «сверхшарового» мира, примерно того же объема, что и предыдущее «яйцо», но совершенно лишенного... материи!! Эта последняя «вселенная» пуста, как барабан, зато в ней предоставлен полный простор для движений... квантов света (неизвестно только кем испущенного).

Беглый взгляд на звездное небо мог бы, казалось, послужить холодным душем, предназначенным для того, чтобы прервать наконец серьезные занятия гг. космологов. Однако запас оптимизма повидимому не был еще исчерпан, и 1931 год принес «гениальное» открытие, показавшее, что вся предыдущая стадия вопроса по сути дела была вполне определенной «политикой дальнего прицела», с большим хладнокровием прокладывавшей себе дорогу к заветной цели.

Скажем сперва о самом «открытии» (работы Леметра, Эдингтона) в двух словах.

«...Правильно первое из вышеназванных решений мировых уравнений». Вселенная полна материей, и эта материя, в виде сотни миллиардов млечных путей находится сама по себе в покое. Млечные пути не движутся. Но движется, непрерывно расширяется «радиус мира»! В результате чего у «наблюдателя» создается иллюзия, что движутся звездные системы, удаляясь от него и друг от друга. Так каждая из мух, сидящих неподвижно на раздуваемом футбольном мяче, должна получить впечатление, что её соседки удаляются от нее и друг от друга.

Безусловно не лишенный остроумия, этот «выход из положения» оказывается между прочим в принципиальных рамках самой теории построенным на совершенно противозаконных основаниях. Уравнения «раздувающейся вселенной» получаются из уравнений четырехмерного континуума путем допущения, что величина радиуса мира является функцией времени. Между тем само понятие времени является, как мы знаем, принципиально чуждым аппарату четырехмерного континуума, базирующемуся на полной геометрической равноценности всех четырех координат. Весьма давно и

<sup>1)</sup> Заключающейся — напомним — в геометрической интерпретации континуума 4-х физических величин  $x, y, z, t$ .

<sup>2)</sup> Не нужно напоминать, каким классово-партийным маслом...

горжественно, как мы знаем, погерьв-шая своё «отдельное существование» и раз навсегда бесследно растворившаяся в четырех безличных буквах  $x_1$   $x_2$   $x_3$   $x_4$  координата  $t$ , противозаконно появляется теперь на свет божий и занимает по отношению к «радиусу мира» более чем привилегированное положение. Далее, в противоречии с самой истонной сутью общего постулата относительности, здесь контрабандой протаскивается и некое абсолютное «Мировое время», а именно то время, которое стоит под знаком функции «радиуса мира» и отбивает свои удары сразу для всех «систем отсчета», сразу для всех уголков вселенной.

Но цель оправдывает средства, и мы можем уже вслед за гг. вычислителями доодйти вплотную к этой достигнутой цели.

Дело в том, что радиус мира не мог очевидно расширяться вечно. При вечном расширении этого радиуса объем вселенной в настоящий момент должен был бы быть бесконечным (и тогда не мог бы существовать конечный радиус)... Этот закодированный круг однако, «к счастью», не касается «мировых уравнений» Леметра — Эдингтона — Эйнштейна. В этих уравнениях все концы с концами благополучно сходятся. Уравнения эти устанавливают начало расширения радиуса мира. И в частности дают два возможных решения. Одно, исследованное Эдингтоном, приводит к радиусу мира, начавшему расширяться прямо от нуля, т.е. от небытия вселенной. Второе, полученное де-Ситтером, говорит о радиусе мира, начавшем расширяться от некоторого постоянного уровня, на котором он (радиус) уже раньше находился в состоянии неустойчивого равновесия. Это последнее решение приводит очевидно также к конечному сроку существования мира, так как периоду расширения радиуса не мо-

гло предшествовать бесконечно длительное его нахождение на постоянном уровне. Действительно, если бы он держался на этом уровне вечно, то это было бы состояние устойчивого равновесия. Если же равновесие устойчиво, то оно не окончилось бы и по сей день. Если бы оно не окончилось, то не было бы расширяющегося радиуса... Если...

Но дальше будет только одно «если». Если в обоих случаях было «начало мира»<sup>1</sup>, — то что «начало» мир?

Так впервые в истории господь бог занял свое место в уравнениях теоретической физики. Это не шутка. «Божественная функция» (Эдингтон называет ее «Творческая функция», а также «Воля божия») в соответственных уравнениях имеет, как полагается, свое обозначение (греческая буква, ламбда).. Все в порядке.

«Благостный» и «чудесный» «Порядок» из нью-йоркской статьи г. Эйнштейна в действительности окончательно расшифровался и получил своего «Распорядителя»: На этом можно было бы поставить точку. Стоит упомянуть лишь еще об одном примечательном абзаце статьи Эйнштейна, в котором буржуазное искусство и наука призываются к всеобщей мобилизации, имеющей целью «пробуждать и воспитывать космически-религиозное чувство».

Если рыцари «космического» боженьки поднимают таким образом знамя борьбы за массы, то мы, в Союзе Республик, в праве поднять брошенную перчатку. Поднять и беспощадно разоблачить последние конвульсии религии.

<sup>1</sup>) Последний колоссальной сенсацией европейской и американской буржуазной печати является подсчет Эдингтоном — бумага все терпит — срока «сотворения мира». Оказалось: «не так уж давно», — «всего» 1 миллиард лет с небольшим!

# За рубежом

## РУШАЩИЕСЯ УСТОИ

Очерки международной политики

С. Гальперин

**Флот и фунт.— Инфляция под флагом „конструктивного социализма“.— Туман над Женевским озером — Из Берлина в Вашингтон. Китай в тисках японского империализма.**

### Флот и фунт

Анекдотический украинец, который при виде тщетно пытавшегося выплыть на берег утопающего с видом глубокого соблезнования заявил: «не трать, куме, силы, опускайся на дно», наверное повторил бы свою фразу во время судорожных попыток Макдональда спасти устои английского капитализма. Макдональд порвал с партией, ставленником которой он был, чтобы создать «национальное правительство» для спасения фунта стерлингов. Но «национальное правительство» оказалось жалким ублюдком, не сумевшим преодолеть внутренних трений в тех партиях, которые его составили. Он провел через парламент билль об экономии, но эта экономия подорвала самую верную опору британского империализма, вызвав брожение в английском флоте. И— самое главное — основная цель осталась недостигнутой: фунт стерлингов не только не пошел вверх от проведенного под «национальным» флагом ограбления трудящихся, но оказался не в состоянии сохранить свой золотой паритет и уже к началу октября опустился до  $\frac{4}{5}$  своего «золотого» курса. Спасая британский капитализм, Макдональд подорвал его главные устои — флот и фунт и вызвал глубокую трещину в третьей его опоре — в британской рабочей партии.

Оказавшиеся против своего желания в роли оппозиционеров, лебористы взваливают вину за все эти неудачи на Макдональда; некоторые его критики из других лагерей находят на ряду с ним и другого виновника — директора Английского банка Монтэгу Нормана, с соизволения которого на лондонском денежном рынке в течение первых шести месяцев текущего года было размещено на 44 млн. фунтов иностранных займов; либеральные экономисты видят первопричину финансовой катастрофы в Англии в политике восстановления золо-

того курса фунта стерлингов, политике, проводившейся консерваторами, начиная с 1925 г.

Но все эти иеремиады и попреки не могут устранить того простого факта, что упадок английского капитализма после войны вызван перегруппировкой соотношения экономических сил во всем мире со времени войны и что упадок этот не мог не принять форм стремительного падения вниз в эпоху мирового кризиса капитализма. Искусственные меры по восстановлению в Англии золотого стандарта конечно вредно отражались на английском экспорте, но снижение роли Англии в мировой торговле и упадок экспортных отраслей промышленности вызывались в основном не этой дефляционной политикой, а целым рядом других обстоятельств: индустриализацией целого ряда других стран, оказавшихся способными конкурировать с Англией; вытеснением угля, являющегося основным богатством Англии, нефтью и «белым углем» (электроэнергия); исключительным ростом экономического могущества Соединенных Штатов со времени войны и т. д.

Самая тенденция к восстановлению золотого курса фунта стерлингов была естественна, поскольку только при этом условии Лондон мог бы выполнить свою традиционную роль регулятора мировой торговли; проистекшая отсюда задержка в развитии английского экспорта не могла особенно пугать лондонских финансистов консервативного направления, поскольку пассивность торгового баланса с лихвой перекрывалась в расчетном балансе Англии поступлениями от вложений английского капитала за границей, доходами от судостроения и прибылями банков от кредитования мировой торговли.

И не без некоторого основания мог Snowden еще 1 апреля этого года заявлять о финансовой мощи Англии и ссылаться на

результаты 1930 г., когда мощь эта казалась еще непоколебленной, несмотря на совершенно небывалый экономический кризис. Но пафос Сноудена уже тогда был фактически лебединой песней английского капитализма и его финансового могущества.

Уже в 1930 г. активное сальдо расчетного баланса Англии снизилось до 39 млн. фунтов стерлингов против 138 млн. фун. в 1929 г. и 137 млн. фун. в 1928 г. <sup>1)</sup> Но имеющиеся за 1931 г. данные позволяют с уверенностью говорить, что этот год даст впервые в XX столетии пассивное сальдо расчетного баланса Англии. Английский журнал «Economist» (см. № от 12 сент.), подсчитывая потери Англии в этом году (сокращение поступлений от судоходства ориентировочно на 25 млн. ф., потеря платежей от других стран в связи с мораторием Гувера на сумму 5½ млн. ф. и т. д.), приходит к заключению, что «расчетный баланс даст в этом году дефицит около 50 млн. ф». Это значит, резюмирует далее «Economist», что около 1 млн. фун. стерлингов еженедельно уплывает из Англии, так сказать, нормальным образом, независимо от тех катастрофических явлений, которые имели место в этом году в Германии и ряде других стран.

Но конечно этот еженедельный дефицит в 1 млн. ф. стерлингов является лишь показателем экономического неблагополучия английского капитализма, — сам по себе он лишь в ничтожной мере мог вызвать то «бегство от фунта», которое началось в августе текущего года и приняло грандиозные размеры в сентябре. Финансовый кризис в Англии явился результатом того, что на языке буржуазных экономистов называется «кризисом доверия», т. е. той паники в рядах мировой буржуазии, которая вызвана фактом бросающегося в глаза развала капиталистического мира. Эта паника оказалась настолько велика, что против нее не устояла и такая твердыня буржуазного строя, как английский фунт.

Позиция английского капитализма при наличии этой паники оказалась особенно слабой именно по тем причинам, по которым в т. н. «нормальные» периоды Лондон стяжал себе славу мирового банкира. Капиталистические предприятия всего мира, в том числе и крупнейшие банки всех стран, охотно вкладывали свои временно свободные средства в английские банки по самым низким процентам, ибо это было вернейшим размещением их капиталов. Имея неограниченный приток этих капиталов, получаемых на условиях низко оплачиваемого краткосрочного кредита, английские банки ссужали их менее «счастливым» странам в виде долгосрочных кредитов по гораздо более высоким ставкам. Лондон потому и был величайшим мировым денежным рынком, что мог позволить себе такого рода риск.

Но в «нормальный» с точки зрения капитализма период эта позиция была особенно опасной. Ибо даже при перевесе своего актива (т. е. английских капиталов, вложенных за границей) над пассивом (т. е. иностранными капиталами, вложенными в Англию) лондонские банки могли оказаться в затруднении при массовом истребовании кредитов, так как долгосрочные кредиты мобилизовать гораздо труднее, чем краткосрочные. Именно это обстоятельство и имело место, начиная со времени финансовой катастрофы в Германии. По вычислениям «Economist», вложенные в Англию на условиях краткосрочного кредита иностранные капиталы достигали к середине текущего года суммы свыше 1 миллиарда фунтов стерлингов. Из них уже за 8 недель — со второй недели июля до второй недели сентября — было изъято свыше 100 млн. ф., при чем Англии приходилось в значительной доле расплачиваться золотом из подвалов Английского банка. Если прибавить к этому, что мировая разруха сделала проблематичным получение тех 150 млн. ф., которые, по ориентировочному подсчету, «Economist», составляют годичную прибыль Англии от ее иностранных вложений, то угроза для устойчивости английского фунта оказалась весьма и весьма серьезной.

Она оказалась во всяком случае достаточно серьезной, чтобы заставить Макдональда пойти на образование «национального правительства» для спасения фунта путем режима экономии. «Economist» от 12 сент. вполне одобрил этот шаг и выразил глубокую уверенность, что положение фунта обеспечено. В передовой статье, сообщая о том, что его величество король и его высочество принц Уэльский сообразовали подать пример, согласившись на 10-процентное сокращение их гражданского листа, а премьер-министр пошел даже на урезку его жалованья на 20 проц., этот серьезнейший английский — и не только английский — буржуазный экономический орган писал: «Психологический эффект этих добровольных жертв будет в тысячу раз больше их денежного значения для казначейства».

Оказалось однако, что передовик «Economist» плохо знает психологию английского народа. Не только рабочие не захотели последовать примеру «его величества, его высочества и его превосходительства», не только учителя дружно протестовали против урезки их жалованья на целых 15% (почему-то именно на учителях Сноуден показал особый размах своего умения грабить трудящихся), но и матросы английского флота в Атлантическом океане забастовали, совсем непатриотически сорвав производившиеся как раз в этот момент маневры.

Эффект получился грандиозный. Вся английская печать единодушно усвоила себе тактику заговора молчания вокруг событий во флоте. Поддерживавший затею Макдональда «Economist» от 19 сент. сооб-

<sup>1)</sup> Подробнее о строении расчетного баланса Англии см. нашу статью «Английский тупик» в 4-й кв. «Нов. мира».

шил о событиях во флоте под невинным заголовком «протесты против режима экономии», при чем вся посвященная беспорядкам во флоте заметка не превышала 40 строк. Еженедельник «New Statesman and Nation», поддерживающий лебористов и левых либералов, пишет о «стачке» матросов в кавычках. А нарушившая заговор молчания коммунистическая газета «Daily Worker» подверглась полицейскому налету по обвинению в «подстрекательстве военнослужащих к неподчинению дисциплине».

Но заговор молчания не мог быть сохранен за пределами Англии. И мировая буржуазия — даже в странах, далеко не дружелюбно расположенных к Англии — с трепетом узнала, что английский флот, при помощи которого Британия «правит над морями», оказался слабой опорой существующего порядка и что английские моряки поставили свои классовые интересы выше престижа родины и спасения фунта.

Фунт без флота потерял значительную долю своей притягательной силы, и бегство от фунта приняло характер самой доподлинной паники. И через несколько дней Сноуден от имени «национального» правительства вынужден был заявить о том, что правительство отказывается (пока на шесть месяцев) от золотого стандарта в Англии. Один этап в деградации английского капитализма был завершен.

### Инфляция под флагом „конструктивного социализма“

Вместе с завершением этого этапа закончилась и лебористская карьера трех виднейших лидеров британской рабочей партии: Макдональда, Сноудена и Томаса. На предстоящих выборах они будут фигурировать уже в качестве кандидатов «национального блока», составным элементом которого явится консервативная партия. Обострение классовой борьбы в Англии и неудача попыток Макдональда спасти фунт стерлингов привели к тому, что его друзья — противники из лебористской партии — оказались вынужденными пожертвовать тремя своими светилами для того, чтобы не растерять свою рабочую клиентуру на выборах.

В тот момент, когда пишущие настоящие строки, Макдональд еще не сказал от имени правительства своего окончательного слова о сроке назначения новых выборов, но все партии лихорадочно готовятся к избирательной борьбе. Еще не выяснилась платформа «национального блока» и позиция идущей за Ллойд-Джорджем группы либералов, но основные установки всех партий определились уже с достаточной отчетливостью.

Для консерваторов панацеей от всех зол представляется введение покровительственных пошлин, которые вместе с самым фактом падения курса фунта стерлингов должны привести к сокращению импорта и

усилению английского экспорта, т. е. к оздоровлению торгового баланса Англии и сокращению безработицы. Для либералов центр тяжести лежит в отказе от золотого стандарта, т. е. фактически в питании промышленности за счет классических методов инфляционной политики. Лебористы же намерены пред лицом возбуждения, охватившего рабочий класс Англии, разыграть комедию борьбы за интересы рабочего класса.

Основы этой оппозиционной политики нашли своеобразное выражение на страницах журнала «New Statesman and Nation», выступающего сейчас в роли органа оппозиции. В помещенной в номере от 19 сент. статье «Политика оппозиции» (не подписанной) развивается широкая — на словах — программа изменения политики рабочей партии. «Если рабочая партия хочет иметь некоторый вес в предстоящие годы, она должна смотреть действительности прямо в глаза. Передовой либерализм и умеренный социализм в нашей стране довольствовались до сих пор перераспределением средств, получаемых от обложения доходов богатей. Они использовали эти излишки для расширения социального законодательства и предохранения бедняка и безработного от лишений. Но они никогда не пытались атаковать собственность в самом ее источнике или взять под контроль ее власть».

Эта политика, как признает орган оппозиции, обанкротилась. «Рабочая партия обанкротилась не потому, что она была слишком социалистической, а потому, что она забросила социализм, потому, что она никогда не осуществляла подлинно социалистической политики... Мы достигли предела отеческого, сентиментального социализма; мы стоим на грани, где начинается конструктивная социалистическая работа — таков урок кризиса».

Этот конструктивный социализм, по определению «New Statesman and Nation», состоит «в вовлечении государством всех безработных в производство, в реорганизации промышленности под контролем государства не в форме устаревшей национализации, а путем превращения основных отраслей производства и служб общественного значения в публично-правовые институты. Либеральная «Желтая книга» содержала в себе зародыш подлинно социалистической программы, целью которой должен быть общественный контроль над деятельностью банков и расцвет политики вложений национального капитала, и те же положения мы находим в лебористской «Труд и нация».<sup>1)</sup>

Уже тот факт, что этот «подлинный социализм» предусматривался либеральной программой, достаточно говорит о классовой природе его изобретателей. Вся эта про-

<sup>1)</sup> «Желтая книга» либеральной партии и «Труд и нация» лебористской партии были выпущены соответственно этими партиями к избирательной борьбе 1929 г.



грамма ни слова не говорит о революционной классовой борьбе, которая одна только может посягнуть на диктатуру банковского капитала, так рельефно выявившуюся во время развернувшихся в последние два месяца в Англии событий. Автор говорит об изменении программы, но не об изменении лебористской тактики, которая на деле определяет характер политики лидеров английского «официального» рабочего движения. Что же касается программы, то это лишь сборник туманных посулов, которыми лебористская партия имеет обыкновение прельщать рабочих избирателей.

Если же от этих посулов перейти к реальным вещам, то программа лебористов, также как и близкой к ним группы либералов, состоит в ставке на инфляцию. В этом их отличие от консерваторов. «Times», этот лейб-орган консерваторов и лондонского Сити, приветствует отказ «национального правительства» от золотого стандарта, но лишь как временную меру. «Когда национальное правительство внесет равновесие в государственный бюджет и устранил дефицитность торгового баланса, можно будет снова восстановить золотой курс фунта».

В противность этому лево-либеральная «Manchester Guardian» принципиально против установки на золотой стандарт. «Наша денежная политика со времени войны руководилась банкирами, чтобы не сказать — для банкиров. Она покоилась на предположке, что интересы того, что называют «Сити», стоят выше интересов промышленности, потому что Сити является как бы сердцем, от правильной пульсации которого зависит здоровье экономического организма страны. Но эта аналогия ошибочна. Сити отвечает потребностям заграницы не в меньшей, если не в большей, степени, чем интересам Англии». Предвидя далее, что Сити будет настаивать на том, чтобы отказ от золотого стандарта носил бы лишь временный характер, либеральная газета еще раз настаивает на том, чтобы «финансовая политика отвечала бы потребностям не только торгующей, но и индустриальной части нации».

С очень резкой статьей против правительственной политики «экономии» выступил в «New Statesman and Nation» (19 сент.) знаменитый английский экономист Кейнс. Он признал, что политика урезок жалования государственных служащих и в особенности 15-процентного снижения окладов учителей является «политикой Бедлама». Оздоровить бюджет таким образом невозможно. Если уж становиться на этот путь, то надо было бы провести «жесткое сокращение — минимум процентов на 30 — заработной платы всех рабочих и служащих... Но наступление против заработной платы привело бы нас к серьезным промышленным, конфликтам, в результате которых нам пришлось бы уже через несколько недель отказаться от золотого стандарта». События показали, что даже спондентовских урезок оказалось достаточно, что-

бы отказаться от золотого стандарта — по существу Кейнс был прав.

Но, отбрасывая политику экономии, Кейнс по существу не видит иной перспективы, кроме девальвации английской валюты.

Не трудно понять, почему отказ от золотого паритета встретил одобрение и со стороны лебористов. Они прекрасно учли, что инфляция является лучшим способом не бросающегося в глаза снижения заработной платы. Снижение курса фунта стерлинга на 15-20 процентов на мировой бирже поведет за собой в той или иной степени и снижение его покупательной силы на английском внутреннем рынке. А это будет означать и снижение реальной заработной платы при сохранении прежней его номинальной стоимости в фунтах стерлингов. Оптовые цены в Лондоне и Ливерпуле подыались немедленно вслед за падением курса фунта.

Для английского рабочего наступает период снижения его жизненного уровня, от которого он может предохранить себя только методами революционной классовой борьбы, направленной и против лондонского Сити, и против либеральных промышленников, от имени которых выступает манчестерская газета, и против лебористских глашатаев «конструктивного социализма».

С точки зрения международного пролетариата вступление Англии на путь инфляции означает обострение империалистических противоречий и углубление мирового кризиса. Французская и германская печать уже предвидят, что на основе инфляции, т. е. оплаты рабочей силы по более дешевой цене, Англия сделается более опасным конкурентом на мировом рынке. Они предвидят, что девальвация фунта приведет к сокращению импорта в Англию и увеличению английского экспорта. А это усложнит внутреннее положение и в Германии, и в особенности во Франции с ее дорогим франком.

Международное значение английской финансовой катастрофы огромно. Она привела уже к отмене золотого стандарта в ряде других стран и вызвала ряд банкротств, ибо нет ни одного банка в мире, который не держал бы в фунтах стерлингов часть своих капиталов. С полным правом пишет французская коммунистическая газета «Humanité»: «Английский финансовый кризис, происшедший через три месяца после такого же кризиса в Германии, является лишь эпизодом в развитии мирового кризиса. Каждый из ударов, который наносится этим кризисом капиталистическому зданию, расшатывает его все более и более и приближает час его крушения».

## Туман над Женевским озером

Финансовая катастрофа в Англии вызвала в империалистических кругах всего мира не меньшую тревогу, чем мятеж в английском флоте. Жозеф Кайо вызывает в парижской газете «Republique»: «Заставит

ли неожиданное испытание, постигшее великую нацию с неисчислимыми богатствами, оценить тревожность подбуждения, в который завели мир невежество, предрасудки, жадность и безумие людей? Поймут ли наконец повсюду и в особенности в нашей стране, которая погружена сейчас в блаженную дремоту, но которую завтра ждет, может быть, жестокое пробуждение, что теперь не время для борьбы партий и борьбы наций, что речь идет сейчас о том, чтобы спасти цивилизацию?»

Кайо, как и Кейнс, как и лебористы, говорит о новом международном соглашении, которое должно влить оздоравливающую струю в явно отказывающийся служить экономический и политический организм капиталистического мира.

Но в том учреждении, которое было создано именно для этой цели Версальским договором, в Лиге наций, нет отклика на эти отчаянные призывы. И французский еженедельник «Europe nouvelle», довольно тесно связанный с французскими дипломатическими кругами, меланхолично подводит итоги последнему циклу сессий комиссий, подкомиссий и пленумов этого достопочтенного учреждения: «Цикл женевских переговоров закончен. Работы протекали в атмосфере, которая слишком часто вызывала разочарование. На конференции отразился современный мир с его тревогами, его страстями, его беспорядком. Получается ощущение возможной катастрофы и, пожалуй, близкой. И кажется, что к этому ощущению уже привыкли, что страшного исхода ждут с чувством покорности роковой судьбе. Надо бы действовать,— вместо этого медлят».

В другой статье, носящей характерное название: «Туман над Женевским озером», тот же еженедельник пишет: «Что сталося с конструктивной программой, которую наша делегация внесла весной на обсуждение европейской комиссии? Куда делся проект гипотечного банка, в котором Восточная Европа ощущает такую нужду? Ничего не получается из бесчисленных комиссий, которые собираются в секретариате. Даже самый дворец Лиги наций никак не может подняться над уровнем земли. Какой символ!»

И, пытаясь отбросить то гнетущее впечатление, которое производило это бесплодие, французский еженедельник в статье, написанной еще в начале конференции, призывал: «Общественное мнение встревожено. Оно готово в Европе к мерам организационного характера во всех областях: военной, экономической, кредитной. Необходимо, чтобы государственные руководители Европы, собравшись в Женеве, имели бы волю к действию, имели бы смелость толкать своих экспертов и способность принимать решения, значение и неотложность которых они видят».

Но это была риторика. Не трудно показать, что именно французская делегация не только не внесла ни одного «организационного» предложения, но и саботировала

все конкретные мероприятия, исходящие от других наций. Германский делегат Курциус говорил о серьезности мирового экономического кризиса и призывал к решительным мерам.—Бриан почти совсем позабыл о существовании кризиса в своей речи. Итальянский делегат Гранди предложил до созыва конференции по разоружению отказаться от всякого нового увеличения вооруженных сил.—Франция не обнаружилась к этому никакого интереса и мелочной критикой сорвала это предложение. Китайский представитель взывал о помощи против разбойничьего нападения японских войск на Манчжурию.—французская делегация дала ясно понять, что ее сочувствие на стороне Японии, и Лига наций послушно санкционировала японский грабеж. И уж конечно похоронено было предложение тов. Литвинова о заключении международного пакта, воспрепятствующего экономической агрессии одного государства против другого, разумеется, опять-таки под давлением французской делегации.

Лига наций оказалась пустым местом не только с точки зрения исцеления капиталистического мира от нависшего над ним бедствия, но она потеряла даже свое значение ярмарки, в течение которой вершители судеб европейской политики на частных заседаниях сговаривались о своих выступлениях, подготавливали дипломатические комбинации и ковали свои союзы. Вместе с престижем английского флота и непоколебимостью фунта стерлингов отошла в область преданий и культивировавшаяся свыше десяти лет легенда о международном политическом органе. Рухнула еще одна ценность капиталистического мира.

И такова диалектика истории—Франция, которая создала и долго укрепляла Лигу наций в своих собственных политических целях, сама же погубила политическое значение Лиги, когда достигла в ней полного преобладания. «В первый раз Лига оказалась всецело в руках одной нации»—сказал корреспонденту «New Statesman and Nation» один из виднейших участников конференции. На сентябрьской конференции 1931 г. у Франции не было соперников. САСШ и СССР в Лигу не входят. Англия сейчас не до того, чтобы вести активную международную политику. Германия сознает свое бессилие и пахотилась к тому же во время конференции в выжидательном положении в связи с уже назначенным приездом французских министров в Берлин. И даже символ времени—итальянский минидел Гранди—не пожелал на этот раз по своему обыкновению насиловать английский язык и заговорил к удивлению делегатов по-французски.

Не достигнув руководства, Франция оказалась не в состоянии дать Лиге, если не мировую, то хотя бы европейскую положительную программу действий. Лига стала попросту не нужна, ибо для диктовки французских условий отдельным державам незачем ездить в Женеву. У Лавала

имелись другие маршруты. И собрания представителей нескольких десятков государств в Женеве превратились в скучную церемонию, которой даже газеты стали посвящать гораздо меньше места, чем обычно. Хаос в капиталистической экономике привел к такому же хаосу и в международной политике.

### Китай в тисках японского империализма

Именно этот момент всеобщей разрухи, когда миллионы людей производят переоценку всех ценностей капиталистического мира, когда взяты под сомнение фунт и доллар, когда оказался ненадежным британский флот, выбрала Япония для насильственного проведения в жизнь своих империалистических планов по отношению к Китаю.

В тот момент, когда участники пленума Лиги наций произносили речи о необходимости созыва конференции по разоружению и соперничали между собою в выражении своих «миролюбивых» настроений, получила в Женеве телеграмма, что японские войска заняли столицу Манчжурии Мукден, разоружили китайскую армию, захватили склады оружия и мукденский арсенал и приступили к планомерной оккупации всех железнодорожных веток, примыкающих к Южно-Манчжурской жел. дороге, остановившись лишь у границ Восточно-Китайской железной дороги.

Более классического примера международного разбоя нельзя себе было и вообразить. Но и это сообщение, явно указывающее, какова цена «миролюбивым» заявлениям империалистических держав, не могло вывести женевских заседателей из их сонного состояния. Как известно (мы не станем останавливаться на подробностях), совет Лиги наций фактически санкционировал захватнические действия Японии, приняв к сведению заявления японских делегатов о том, что по мере устранения опасности для японских подданных в Манчжурии японское командование выведет свои войска из оккупированных пунктов. Фактический захват трех богатейших провинций Китая был низведен до скромных размеров «инцидента», который должен быть исчерпан путем обычных дипломатических переговоров.

Почти вся империалистическая пресса с охотой изображает манчжурские события в японской версии и пестрит сообщениями о том, что почти все японские войска отведены обратно в район Южно-Манчжурской жел. дороги, где их присутствие разрешено в силу неравноправных договоров, навязанных Японией Китаю. Столь же серьезно сообщает империалистическая пресса и о том, что в тех районах, откуда японские войска выведены, образуются независимые правительства, в результате чего возможно в дальнейшем превращение Манчжурии в самостоятельное государство.

Советскому читателю не приходится раз'яснять, что все эти «независимые» правительства являются марионетками в руках японской военщины, тем более, что отделение Манчжурии от Китая является давнишней целью японской политики по отношению к Китаю. Пример Кореи, аннексированной Японией в 1910 г. после захвата Сеула вооруженной силой в 1894 г. и назначения затем нового правительства из ставленников японского империализма, показывает, какая судьба ожидает «независимую» Манчжурию с правительством, организованным в период японской оккупации.

Три вопроса возникают в связи с этим выступлением японских захватчиков: 1) каковы интересы Японии в Манчжурии; 2) почему она не довольствуется уже завоеванным ею положением в этой стране, где защита ее интересов гарантирована не только рядом неравноправных договоров, но и правом держать довольно значительные военные силы для охраны Южно-Манчжурской железной дороги; 3) каково отношение к агрессивным действиям японской военщины со стороны конкурирующих с Японией в Китае империалистических группировок.

По американским данным (см. специальную статью о вложениях иностранного капитала в Китае в американском журнале «Foreign affairs» за окт. 1931 г.), относящимся в основном к 1929 г., вложения японского капитала в Китае приблизительно соответствовали вложениям британского капитала, равняясь в круглых цифрах 1.250 млн. амер. долларов. Японские источники определяют цифру вложений Японии несколько выше: 1.265—1.270 млн. долларов. САСШ значительно уступают в этом отношении Британской империи и Японии, — их вложения не превышают 250 млн. долларов.

Значительно ближе подходят САСШ к Англии и Японии по размерам своей внешней торговли с Китаем, как это можно видеть из следующей таблицы (в млн. кит. таэлей по данным таможенного ведомства Китая):

	1927 г.	1928 г.	1929 г.
Британская империя	246 58	295 12	349 52
Гонконг	382 27	408 20	388 0
Япония	502 63	547 89	579 56
Корея	75 57	64 70	55 44
САСШ	288 54	332 74	368 67
Филиппины	10 63	11 62	12 59

Из этой таблицы вытекает, что на первом месте стоит Британская империя вместе с Гонконгом (английская колония), на втором — Япония с Кореей и на третьем — САСШ с Филиппинами. Причислять однако полностью торговые обороты Гонконга с Китаем к британским оборотам было бы неправильно, ибо Гонконг является своего рода распределителем, через который проходят товары из разных стран, направляемые в Кантон.

Эти абсолютные цифры не дают однако представления о степени заинтересованно-

сти трех главнейших империалистических держав — САСШ, Великобритании и Японии — в китайских делах. Ибо торговля Японии с Китаем составляет 24,4 проц. всего объема ее внешней торговли, тогда как для Великобритании значение торговых сношений с Китаем определяется тем, что объем их (при огромной абсолютной цифре) не превышает 3,5 проц. всей английской внешней торговли, для Соединенных Штатов соответствующая цифра составляет только 1,6 проц.

И дело не только в количественном соотношении. Японские империалисты очень любят говорить о том, что Япония задыхается на своих островах и что ей нужна территория на материке, которая могла бы поглотить избыток ее населения. Эти утверждения однако абсолютно ложны. «Стоящие от перенаселения» японские крестьяне и по сей день остаются в Японии, и число японских переселенцев в Корею и Манчжурию не превышает нескольких сотен тысяч человек при 65-миллионном населении Японии.

Но Манчжурия действительно нужна Японии, только не японским крестьянам, а японским капиталистам, получающим отсюда необходимое для их предпринимательской сноровки сырье и топливо. Достаточно сказать, что под японским контролем находился 91 проц. всего добываемого в Китае (включая Манчжурию) железа, при чем большая часть его потребляется японской промышленностью. Что касается угля, то Фушунские копи, принадлежащие Южно-Манчжурской жел. дороге (японская концессия), являются величайшими угольными месторождениями в мире (угольные запасы Манчжурии составляют 1.209 млн. т.) и обеспечивают топливом всю японскую промышленность на много лет вперед. Ежегодная добыча угля в Фушунских копях превышает 5 млн. тонн.

Если прибавить к этому, что Япония располагает в Манчжурии на концессионных началах целой сетью железных дорог с Южно-Манчжурской жел. дорогой во главе, что дороге этой принадлежат, помимо указанных выше Фушунских угольных копей, нефтяные промыслы в том же Фушунском районе, Аньшанские жел. рудники с огромным сталелитейным заводом, дававшим уже в 1928 г. до 150 тыс. т. стали (компания имеет в виду довести добычу до 1 млн. т. в год) и целый ряд других предприятий (пароходства, электростанции, газовые заводы), если учесть все эти обстоятельства, то заинтересованность японского капитала в Манчжурии становится достаточно наглядной.

Необходимо ответить теперь на второй вопрос: зачем понадобилась Японии оккупация Манчжурии, когда она и так имеет там преобладающее влияние?

В течение ряда лет Япония культивировала манчжурский сепаратизм, всячески

поддерживая манчжурских сатрапов в их борьбе с центральным китайским правительством. Всем известно, что Чжан Цзо-лин превратился из простого бандита в некоронованного короля Манчжурии при поддержке Японии, и что полковничий чин он получил впервые, когда организовал по указке японцев шайку хунхузов для борьбы с русскими войсками во время войны 1904-1905 г. Имея источником своей власти японскую поддержку, Чжан Цзо-лин естественно шел навстречу всем японским домогательствам в Манчжурии.

С течением времени положение однако изменилось. В Манчжурии создавалась собственная буржуазия, которая при поддержке американских и английских капиталов стала строить свои собственные предприятия, рассматривая японский капитал как конкурента. К тому же правительство Чжан Цзо-лина, а затем его сына Чжан Сюэ-ляна уже достаточно окрепло, чтобы пуждаться в японской поддержке против центрального китайского правительства. Наоборот, Чжан Сюэ-лян предпочел вступить в соглашение с Нанкином для борьбы против японских домогательств.

Надежды Японии на то, что она может создать в Манчжурии вассальное государство, оказались таким образом под угрозой. А когда в Манчжурии зашевелился иностранный капитал, особенно Американский, и местные власти решили приступить к постройке собственной сети жел. дорог и устройству китайского порта на Желтом море, японская военщина решила действовать, пока не поздно. Мировой кризис и разруха представляли для них в этом отношении благоприятный момент.

Политически и стратегически японская интервенция увенчалась полным успехом. Путь к «корейзации» Манчжурии в случае образования «независимых» правительств в Манчжурии и Монголии для Японии открыт. Но об окончательном исходе интервенции говорить пока преждевременно.

Трудность для Японии лежит в необходимости столкнуться с другими империалистическими державами, особенно с Америкой. Вашингтонское правительство отнеслось пока очень сдержанно к японской интервенции, но это не значит, что оно намерено предоставить Японии свободное поле деятельности в Китае. Американские капиталисты потребуют своей доли.

Но одно можно сказать с уверенностью. Усиление империалистического нажима на Китай усилит антиимпериалистическое революционное движение широких масс трудящихся Китая. Только это движение, которое сметет с лица земли все остатки феодальных отношений, сохраняющихся и под управлением гоминдановской буржуазии, будет той силой, которая освободит Китай от империалистического ига.

## Книжное обозрение

1. А. ЧИСТЯКОВ «Боковой ход». Т. Николаева.— 2. В. СТАВСКИЙ «Разбег». Я. Бучилов.— 3. В. ЦЫКУНОВ и Н. ЧЕРТОВА «Огненная земля». Борис Аннбад.— 4. ОСИП КОЛЫЧЕВ «Книга стихов». И. Поступальский.— 5. АНДРЕ ЖИД «Путешествие по Конго». Я. Фрид.— 6. Н. ТЕЛЕШЕВ «Литературные воспоминания». Н. Седов.

А. Чистяков — «Боковой ход». Роман. ГИХЛ. 1931 г. Стр. 296. Ц. 2 р. 25 к.

«Нельзя отставать от движения, ибо отстать — значит оторваться от масс. Но нельзя и забегать вперед, ибо забегать вперед — значит потерять связь с массами» (Сталин, «Головокружение от успехов»).

Эта выдержка из статьи т. Сталина, поставленная автором эпиграфом к своему роману, казалось, должна была послужить краеугольным камнем для авторских идейных построений, дать социальное обоснование событиям, показанным в романе. В действительности же эта острая политическая формула оказалась механическим придатком к чрезвычайно шаткому, незаконченному зданию романа. Взят предметом своих творческих изысканий большой и актуальный материал, — деревню в процессе социалистической перестройки, — автор оказался бессильным художественно переварить весь комплекс вопросов, связанных с этим процессом. Стянув все сюжетные нити вокруг главного героя романа, — деревенского парня Митьки Булды, сгруппировав вокруг него весь свой художественный материал, писатель тем самым предопределил свое задание — в лице этого героя, через его социальное поведение разрешить острые проблемы произведения. Но общее раскрыть в частном писателю не удалось. Митька Булда, являющийся в романе несомненно положительным типажом, дан в весьма нечеткой трактовке. Митька по социальному положению — бедняк, по психоидеологическому содержанию — двойственная, противоречивая натура. С одной стороны, это индивидуалист, зараженный анархическими настроениями, дебошир и т. д., с другой стороны — Булда дает правильные политические установки, его приходится рассматривать как союзника в борьбе за социалистическую реконструкцию старого уклада деревни. Но привести все противоречия к одному знаменателю — писателю не удалось. Чрезвычайно двусмысленным объяснением коллективистических тяготений Булды являет-

ся брошенная героем реплика: «Я пошел в артель только потому, что нельзя теперь жить богатым».

«Боковой ход», весь сложный процесс идеологических шатаний Булды дан по линии наименьшего художественного сопротивления. Уделив непропорционально много места самому герою, его любовным переживаниям, писатель не сумел включить все это в общий социальный план, органически связать с общественно-политическим окружением. Идеологической двойственности Булды автор не противопоставил четкой целеустремленности подлинных борцов за новые формы производственно-политических отношений в деревне.

Социального лица перестраивающейся деревни в романе мы не видим. Из поля зрения автора совершенно выпал один из важнейших моментов социалистического наступления в деревне — классовая борьба. Активизация кулацких элементов, процесс борьбы с кулаком не раскрыты методом художественного показа. Политическо-экономические конфликты не даны в свете задач марксистско-ленинского понимания социальных процессов.

Ряд острых злободневных проблем затронут писателем лишь вскользь, напр. теория мирного вранения кулака в социализм, проводимая секретарем сельячейки Ефимом, и др.

Несмотря следовательно на попытку поставить и разрешить ряд актуальных проблем сегодняшнего дня, роман надо признать беспомощным. Идеологическая беспомощность в свою очередь усугубляется слабой писательской техникой Чистякова. Слово еще не послушно молодому писателю. Речь спотыкается. Роман местами носит явные следы ученических изысканий. Синтаксис неряшливый. Формальные искания писателя нередко отмечены печатью доморощенной развязности и безвкусицы. Вот некоторые из этих перлов:

«Девушка выступала в белых туфельках и голубых чулочках такой воздушной,

стройной цыпочкой, что был один восторг на нее глядеть».

«Когда он для нее совсем пропал, она поняла, что любит его. Она не чувствовала на него обиды, она смирилась, он ее сломил. Теперь-то она была бы ему покорной, послушной, ласковой, и вот он ей изменил, оставив ее опозоренной и влюбленной. Да, он ей хорошо отомстил!».

Перед молодым писателем лежит еще большой путь серьезной творческой учебы.

*Т. Николаева.*

**В. Ставский.** — «Разбег» Изд. ГИХЛ. М. 1931. Стр. 239. Ц. 50 коп., пер. 20 коп.

«Такие книги, как ваша, помогают перестраивать деревню по-новому, по-социалистически» — так оценили книги В. Ставского бойцы Особой краснознаменной дальневосточной армии.

И действительно, художественно отобразить колоссальные по размаху и значению процессы, происходящие в деревне за последние годы,—задача трудная и благодарная.

В «Разбеге» автор рассказывает про кубанскую станицу 1929 года.

Размах и острота классовых борьбы, развернувшейся вокруг хлебозаготовок и коллективизации в станице, упорное сопротивление зажиточного казачества и кулаков, ошибки и промахи местных работников,—все это ярко и правдиво показано в «Разбеге».

Глубокий художественный анализ станичной действительности свидетельствует о том, что автор проник в самую толщу станичной жизни, с достаточной полнотой и серьезностью продумал ее.

Книга Ставского — не зарисовки на ходу, со стороны, не «созерцание» явлений, а партийный документ непосредственного участника перестройки старого социального уклада станицы. Вместе с тем книга Ставского является своеобразным «руководством к действию» и для наших дней, дней сплошной коллективизации.

Но ценность книги не только в общей классовой направленности. И со стороны художественной «Разбег» занимает далеко не последнее место в современной литературе. Правда здесь нет живописного пейзажа, нет кудрявых словопостроений, но это и не в плане данной книги. Зато такие образы, как образ бывшего атамана Шкаденко, колхозницы Грипчихи, середняка-казака Мусиенко и др. даны ярко, правдиво и убедительно. То же надо сказать и в отношении обрисовки партийных работников.

Творческий рост писателя особо заметен при сравнении «Разбега» с первой книгой автора — «Станица».

«Разбег» можно рассматривать как продолжение «Станицы». Здесь те же лица, то же место действия, но лишь изменившаяся (за год) обстановка.

Иногда даже автор повторяет сказанное в «Станице». Но вместе с тем «Разбег» по содержанию и по композиции значительно

выше «Станицы» — сборника очерков, отдельных зарисовок. В «Разбеге» все это художественно собрано и развертывается в широком плане станичной повести.

Таким образом вторая книга Ставского является преодолением недостатков первой книги и знаменует значительный шаг вперед пролетарского писателя, но книга не лишена ряда недостатков. Прежде всего некоторая спешка и торопливость имеются в ней.

Материал напирает с такой силой, что автор не успевает его дифференцировать, обработать; автор иногда повторяется, иногда не договаривает. Некоторые образы схематичны, недостаточно полно раскрыты (казак Кринский, партизнец Петров и др.).

*Я. Бучилов.*

**В. Цыкунов и Н. Чертова** — «Огненная земля». Изд. «Федерация» М. 1931. Стр. 235 Ц. 1 р. 70 к., пер. 45 к.

Эта книга возникла так: Цыкунов, командир, одного из партизанских отрядов, оперировавших против Колчака, написал воспоминания о партизанском движении в Алтайской губернии, участником и очевидцем которого он был. Благодаря его малограмотности для литературной обработки рукописи была привлечена Чертова, выступающая в качестве соавтора «Огненной земли».

Ценность этой книги — в ее непосредственности, в простоте, в том, что ее написал не присяжный литератор, а простой, малограмотный партизан, неискушенный в тонкостях поэтики, но обладающий дорого стоящим опытом, накопленным в обстановке классовых боев, под свистом белогвардейских пуль, в атмосфере постоянной опасности.

К недостаткам книги следует отнести ее калейдоскопичность, быстроту, но мало чем отличающуюся смену положений, благодаря чему одна глава сливается с другой. Это замечание в особенности относится к второй части книги, в которой переходы, наступления, отступления, бои сливаются в одно, непрерывно движущееся, но как за облаком пыли, неразличимое.

За этот недостаток, думается, должна нести ответственность Чертова, а не Цыкунов. Давая литературную обработку рукописи, она обязана была позаботиться о том, чтобы книга имела перспективу. Правда, ее задача была трудная, но трудности, если задание принято к исполнению, оправданном служить не могут, тем более для соавтора.

Было бы нелишним приложить к книге карту той местности, в которой оперировали описываемые Цыкуновым партизаны. Если для сибиряков расположение упоминаемых им опорных пунктов белых и партизан известно, то обитатели других областей СССР имеют о них лишь смутное представление, а о таких как села и деревни — и совсем никакого.

*Борис Анibal.*

**Осип Колычев.** — «Книга стихов». ГИХЛ. М.—Л. 1931 г. Стр. 94. Ц. 1 р. 75 к. в пер.

Две линии в книге Колычева. Прежде всего поэта интересует проблема «места под солнцем». Отсюда — густейшая биологичность многих тем в его книге, стихи о жизни как едином процессе (понятно впрочем не совсем верно). С другой стороны, в книге разработана лирическая летопись поэта.

«Фруктовые сады под Тирасполем», цикл «Трофеи», «Бессарабские виноделы», стих. «Рыжим полднем отвожу я душу», эти и другие вещи, открывающие книгу, относятся к первому замыслу. Пафос существования для нас не новость после поэзии Зенкевича, Тихопова и Багрицкого, но знакомые мотивы Колычев обновил введением «местного». Ширится «ветер размноженья», бабуны приобретают «сказочную величину», плод падает прямо в рот и т. д. Самым значительным в этом кругу кажется стих. о тираспольских садах.

Цикл «Детство», «Лавчонка» и некоторые другие вещи, продолжая ту же линию, одновременно утверждают и вторую тему Колычева, дают свод его ранних впечатлений, картины мелкобуржуазного еврейского бытия. Тут встречаем строки о «маме, обреченной картавить», хорошо написанный «Берег» и прочие автобиографические стихи. В «Лавчонке» характерен крик о «молоке матерей» и «крови дедов».

«И когда революция перешагнула черту... только отзвук в ушах, только привкус остался во рту от ванильного рая Эсфири». Автобиографическая справка уточняется не лишены значения стихотворением 1924 г., где поэт сообщает, что он «с котенком дрался под столом, когда дралась под Перекопом» и т. п.

При всем том «биологическое» в книге Колычева — основное. Пока поэт находится в кругу «природных» тем и личных воспоминаний, особенной бедности еще нет. Но сомнительная идилличность «Бессарабских виноделов», но неловко прилаженный идеологический хвост стих. «Голуби», но двойственные потки «Лавчонки» заставляют насторожиться. Серьезные же разногласия с Колычевым начинаются при чтении «Званки», «Беременности», «Октябрь», «Котовского в Баварии». Котовский дан в призмах вполне мелкобуржуазного сознания, в «шилловском» плахе. В «Званке» сильные стихи о Державине, неплохие о Волховстрое, но неприятно здесь этакое «полемическое» появление косного личного мирка («только я не расстанусь под патиском выюги совинной с керосиновой лампой — советницей зимой моей»). В стихах о беременности есть приподнятое ощущение жизни, но внутренне, это — стихи крайне односторонние; просто неясно, почему рождающийся малец именуется «большоголовым большевиком». «Октябрины» — сатира на нынешних обывателей, и сатира законная, но очень досадно, что всю незатронутость своего сына мещанством Колычев видит

только в том, что ребенок «не в лад с рагулявшейся ночью и в лад с весенним разливом орет спозаронок». Окончательно же типична поэмка об одесском резнике Яшке, сперва торговавшем, позднее находившемся в отряде комбрига, а еще позже появившем под расстрел за бандитизм. Заключение, возможно, не так уж плохо («вы — черная, шальная, гнилая кровь страны!..»), но в заключение ли дело, раз читатель видит, что ничего классового в облике Яшки Колычев не уловил.

В стих. «Конец толкучего рынка» поэт стягивает узел. Тут не только «модный» фламандизм, но и упоминания о революции, прогулявшейся по ярмаркам и рынкам. Разгром «лотошного мира» Колычев, пожалуй, в своей книге показал и на достаточное расстояние от разгромленного отошел.

Нынешний, «сплошь биологический», подход поэта к действительности может стать сильнейшим тормозом на творческом пути Колычева.

*И. Поступальский.*

**Андрэ Жид.** — «Путешествие по Конго». Под ред. С. В. Шервинского. Перев. с франц. А. Л. Вейрауб. Изд. «Федерация». 1931. Стр. 347. Ц. 2 р.

В 1925 г. по предложению французского правительства Андрэ Жид предпринял путешествие во Французскую Экваториальную Африку для обследования положения туземцев. В 1927—28 г. вышли в 2 томах его «Путевые записки», посвященные памяти Джозефа Конрада.

Основное достоинство записок — их обстоятельность. Писатель провел в Африке 10 месяцев и почти все время был в пути. День за днем фиксировал он пейзажи, бытовые детали, события, свои мысли. Читатель «Путешествия по Конго» с интересом присматривается не только к Конго, но и к путешественнику — маститому писателю, которого возят и носят, как римского патриция, в стране варваров и рабов и который отрывается от чтения Мильтона и Гете для обучения негритенка французскому языку. Не ограничиваясь описанием пейзажей, А. Жид с возмущением и настойчиво ведет счет злоупотреблениям колониальных чиновников и злостностям вымирающих туземцев. Конечно этот буржуазный писатель, прекрасно понимающий, какое место во французском колониальном государстве занимает Французская Экваториальная Африка, — не противник колониальной политики Франции. Но именно это понимание усиливает его протест против разнузданности «больших компаний» (акционерных обществ) и некоторых колониальных чиновников, истребляющих население Экваториальной Африки и таким образом, по его мысли, сводящих на-нет ценность этой колонии. А. Жид восстает против компаний и взывает к благодетельству и благоумию французского правительства, «обманутого» коварными компаниями. За ли-

тературным «восстанием» Жида вскоре последовало, как известно, восстание населения Экваториальной Африки, и автор «Фальшивомонетчиков» мог убедиться, насколько общи интересы и согласованы действия руководителей компаний и руководителей капиталистической Франции.

В издании «Федерации» сокращены оба тома «Путевых записок» — и «Путешествие по Конго», и особенно «Обратный путь от озера Чад». «Обратный путь» сокращен почти вдвое и не на всем протяжении удачно. Например: Перевод: «Это одно из наиболее удивительных мест нашего путешествия. Коро пришел бы в восторг от этой деревни». Подлинник: «Это одно из самых замечательных мест, посещенных нами. Полновесность форм, тонкость оттенков заставляют вспомнить о некоторых итальянских пейзажах Коро (в особенности я подражаю ему в вид Форума). Коро был бы восхищен этой деревней». Лучше совсем выбрасывать отрывки, чем так сокращать.

Издательство напрасно не поместило статью А. Жида «Бедственное состояние нашей Экваториальной Африки», которая помещена во 2-м томе в виде приложения, и в которой писатель выступает с документированным, подтверждаемым многочисленными фактами обвинением компаний и колониальной администрации в широком, открытом пользовании принудительным трудом, повседневном истязании и истреблении населения Экваториальной Африки.

*Я. Фрид.*

**Н. Телешев.** — «Литературные воспоминания». Изд. «Моск. т-во писателей». М. 1931 г. Стр. 170. Цена 1 р. 60 коп., пер. 20 к.

Воспоминания старого писателя Н. Телешева на редкость выдержаны в духе тех лет, которым они посвящены. Литературно-либеральная Москва 90-х и 900-х годов нашла в нем своего верного летописца. Это относится и к стилю воспоминаний. «Чистые волнения и те драгоценные слезы, которые может вызвать только возвышающее человека истинное искусство» — такая стилистика довольно часто встречается в книге. Да и о людях 90-х годов в ней говорится, что они были «скитальцами родной земли» и что «приветливые и доброжелательные» старики любили шутки «незловбивые»...

Умеренный радикализм, робкая критика действительности, верность «святым заветам» и т. п. — вот чем жили Златовратские, Соловьевы-Несмеловы, Д. Тихомировы и другие неудачники «веселой разновидности».

Современная молодежь многих из них не

знает даже по имени, а между тем среди них были кумиры и вожди своего времени. Автор этой рецензии например получил в подарок сочинения Соловьева-Несмелова...

Н. Телешев старается сохранить колорит тех времен в полной неприкосновенности, и это ему удается. Он не проявляет критцизма в оценке своих друзей-современников и не подводит хотя бы приблизительных итогов литературного движения, в котором он участвовал. Все в книге безмятежно, профессорски-корректно и в высшей степени доброжелательно. В этом смысле воспоминания Н. Телешева, но содержащие чего-либо особенного нового, в высшей степени документальны и, так сказать, аутентичны эпохе. Так или иначе, но Москва встает живой.

Наиболее ценное в книге: история и жизнь знаменитой литературной «Среды», через которую прошли почти все писатели-реалисты 900-х годов и в недрах которой зародились сборники «Знание» и «Книгоиздательство писателей». Символисты и вообще модернистские течения литературной жизни тех лет (кроме разве Леонида Андреева) даже не упоминаются в книге, — автор принадлежал к другому лагерю литературы, центральными фигурами которого были Серафимович, Бунин и другие.

Много в «Воспоминаниях» интересных встреч, фактов, инцидентов из жизни писателей (Чехов, Леонид Андреев, Горький и др.). Отведено в них место и описаниям отдельных попыток писательской общности высвободиться из кабалы издателей-коммерсантов и вообще издательскому делу (Сытин), почти не освещенному в мемуарной литературе. Здесь кстати стоит привести следующий случай: автор и его окружение «удивлялись», как могло в 1912 году пройти в печати публичное заявление «Книгоиздательства писателей» о том, что оно преследует цель избавить литераторов «от необходимости значительную часть дохода с издания отдавать издателям»... Автор увидел в этом как бы некоторое потрясение основ! А ведь это был год легальной большевистской печати!

В очень незначительной мемуарной литературе о московской литературной общности 900-х годов книга Н. Телешева займет едва ли не первое место. Специфический московский колорит смотрит с каждой страницы книги и особенно в теплых воспоминаниях о «Портном Белоусове и профессоре Грузинском». Несколько особенно выглядит глава о мешанском поэте Слюзове, в миниатюре повторившем судьбу многих и многих российских неудачников-самоучек, уже не «веселой» а «мрачной разновидности».

*Н. Седов.*

Издатель «Известия ЦИК СССР и ВЦИК».

Редакция:

**И. М. Гронский  
А. Г. Малышкин  
В. П. Полонский  
В. М. Соловьев**

Отв. редактор

**В. П. Полонский**